МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

РОМАН ГУЛЬ

«Я унес Россию. Апология русской эмиграции»

Том второй. «Россия в Америке»



Р. Б. Гуль

Я унес Россию

Том II. Россия во Франции



Москва
Берлин
2019

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6
Г94

Гуль, Р. Б.

Г94 Я унес Россию. Том II. Россия во Франции / Р. Б. Гуль. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 344 с.

ISBN 978-5-4475-9847-1

Автор этой книги видный деятель русского зарубежья, писатель и публицист Роман Борисович Гуль (1896–1986 гг.), чье творчество рассматривалось в советской печати исключительно как «чуждая идеология». Название мемуарной трилогии Р. Б. Гуля «Я унёс Россию», написанной им в последние годы жизни, говорит само за себя. «…я унес Россию. Так же, как и многие мои соотечественники, у кого Россия жила в памяти души и сердца. Отсюда и название этих моих предсмертных воспоминаний... Под занавес я хочу рассказать о моей более чем шестидесятилетней жизни за рубежом».

Вниманию читателей предлагается второй том трилогии, в который вошли разноплановые новеллы, не связанные общим стилистическим единством. В книге, как и в первом томе, много портретных зарисовок, посвященных современникам-эмигрантам, продолжен и рассказ об эмигрантских организациях, учебных заведениях, издательствах и журналах. Записи охватывают парижский период жизни писателя.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-4475-9847-1

Посвящаю памяти моей дорогой жены
Ольги Андреевны Гуль

От автора

«Россия во Франции», это – вторая книга моей трилогии «Я унес Россию». Меня охватывает грусть, когда я вижу, сколько материала я не мог вместить в эту книгу: личные записи, вырезки из газет, письма разных лиц, страницы из книг. Но повторяю, как и в предисловии к первому тому: «нельзя объять необъятное». Явление русской эмиграции столь велико и значительно. Это небывалое явление в новой истории. Остается надеяться, что найдутся люди, которые дополнят даваемую мной общую картину.

Хочу сердечно поблагодарить всех, кто помог мне в работе над «Россией во Франции» предоставлением печатных материалов и фотографий, указаниями на мои ошибки в датах, именах, фактах в тексте предварительно печатавшемся в «Новом Журнале».

Сердечно благодарю А. Р. Гурвича, кн. А. П. Щербатова, Ренэ Герра, М. С. Бернштама, Ю. Д. Кашкарова, Д. А. Левицкого, Н. Н. Рышкова-Карр, Е. Л. Магеровского, А. И. Натова, А. И. Опульского, В. А. Пирожкову, Ю. М. Тролль, Р. В. Плетнева, А. К. Раннита, М. А. Павлова, Б. В. Прянишникова, Томаса П. Витни, А. Седых, Женни Грей, М. В. Гардера, О. В. Радыш, В. В. Штейн, К. В. Леонтьеву, Е. Г. Карюк, О. Н. Анстей, Л. С. Рубанова, М. Э Гольдштейна, А. фон Шлиппе, А. Р. Небольсина, В. С. Левитову. Если кого-нибудь пропустил – прошу простить.

Р. Г.

Въезд в Париж

В Германии у нас было мало вещей. Это тут, в Америке, сами собой появились 15 пиджаков, 15 штанов, множество рубах, ботинок и никчемных (в сущности) разновидных галстуков. В Германии у меня был один костюм (и в коле и в мяле и в добрые люди), две рубахи – одна на мне, другая – на смену, одни ботинки. Олечка была не богаче. Так что перед отъездом из Фридрихсталя во Францию укладываться было легко. Разумеется, – рукописи, книги, фотографии, письма. И тут у нас с Олечкой произошло «недоразумение». Я увидел, что она берет с собой мои письма к ней из концлагеря.

– Олечка, ты хочешь взять их?

– А ты думаешь, я их брошу? – спокойно, но твердо (я эту «тихую твердость» знал) ответила Олечка.

– Но это же безумие, это же ни к чему! Эти открытки со штампом концлагеря нас могут на границе подвести! Ведь вещи же наверняка будут осматривать. И если гитлеровцы наткнутся на концлагерные письма, может произойти черт знает что, нас могут задержать для выяснения. Неужели ты этого не понимаешь?

Увы. Уговоры и доводы напрасны. Я знал, что есть случаи, когда Олечку не «переубедишь».

– Не волнуйся, пожалуйста, – ответила она, – никто их у меня не найдет.

– Куда ж ты их спрячешь?

– Куда? Да я их и не спрячу. Я просто положу их в свою сумку.

Я шумел. Убеждал. Ни к чему. И пришлось покориться. Мои концлагерные открытки были связаны и положены в ручную сумку (в т. н. «ридикюль»).

На германской границе наши вещи, конечно, осматривали, открывали чемоданы. Но Олечкина сумка так и осталась у

нее в руке без осмотра. И концлагерные открытки поехали с Олечкой дальше – в Ниццу.

Денег у нас никаких не было. Только – доехать. В Париже остановиться вдвоем было не на что. Да и одному мне – не на что. Поэтому Олечка ехала в Ниццу к её тёте – Ольге Львовне Азаревич («Бог дал – Бог и взял»). А я с двадцатью франками в кармане – в полную неизвестность – в Париж. Я, разумеется, понимал, что моё – *свободное!* – французское будущее будет очень трудным. Но ехал – на свободу! Единственный адрес, куда я мог ткнуться, был – Б. И. Николаевский. Всё должно было начаться с него.

И вот серый рассвет, мелкосеющий дождь, и пустоватый поезд несет меня к Парижу. Каруселью отбегают сиреневые домики, плещущие розами палисадники, как картонные вертятся серoствольные платаны, кудрявые девушки в пестрых платьях пролетают мимо, их застлали рекламные щиты коньяков, пудры, прованского масла. Неясным беспокойством ощущается близость Парижа.

Прикусив опушенную усиками верхнюю губу, черноглазая француженка пудрит плохо вымытое в вагонной уборной лицо, сурьмит выщипанные кукольные брови и толстым карандашом делает свой бледный рот похожим на красный рот слепого котенка. Париж уже близок. В это туманное утро, заволоченное дождливой мглой, кто-то встретит ее на вокзале и под локоть подсадит в дешевый автомобиль. Француз с подвитыми усами и молодо блещущими беззрачковыми глазами, в веселеньком галстуке, что-то напевает, укладывая чемодан. Он улыбается тоже, вероятно, парижской встрече. Даже лукавый, седорозовый аббат в ожидании Парижа закрыл молитвенник и сунул его в глубокий карман вороной сутаны.

Париж ждет их всех. А ведь всего несколько часов назад я не видел ни этих беспечных глаз, ни беззаботных движений,

ни беспричинно выходящих на губы улыбок. Ведь всего этого я не видел уже лет двадцать; с того самого дня, как из родного дома ушел на войну. А после войны – из окопов – возвращаться было почти некуда. А там – две гражданских войны и невольный вывоз в побежденную Германию. Но и в Германии я ничего подобного не видел.

Я совсем забыл даже, что где-то существует еще вот такая беспечная жизнь, с множеством дешевеньких колец на пальцах, с лакированными женскими ногтями, веселенькими галстуками, с затопляющей рекламной пестротой алкоголей. От этого отдохновенного, легковейного воздуха я отвык. А тут и от лукавого аббата и от темноглазой девушки, и от напевающего старичка, и от дамы с расфранченными куклятами-детьми, от всех французов, от всей Франции веет наслаждением жизнью (joi de vivre).

Вспотевший паровоз, отплевываясь белым паром, пробегает по мостам, насыпям, откосам, с приятным разговором перепрыгивает с рельс на рельсы и наконец, шипя, вплывает под стеклянный дымный колпак парижского вокзала.

Я себе так и представлял Париж. С низко опустившегося неба, как с потрепанной декорации, несет липкая сквозная мгла; тускло блестит грязнота асфальта. В этой сырости, кажется, не может быть солнца. Перед вокзалом я останавливаю, по воде с брызгами шуршащий, красножелтый, попугайный автомобиль и в этой мокрети, в общем потоке машин, я уже двигаюсь по улицам, «входя в жизнь Парижа». На него я гляжу с приготовленной русской любовью. Но, Боже мой, как заброшены эти седые улички, как грязны тупички, как нечистоплотен, сален великий город, какими дряхлыми проулками везет меня неизвестный француз, зарабатывающий на жизнь искусством шофера. На тротуарах из железных коробок вывален вонючий мусор, в стоках мостовой, как живые, распластались грязные тряпки, волну-

мые водой; какая-то ребрастая, подыхающая сука обнюхивает выставленные у молочной бидоны, и из-под открытых общественных уборных по мостовой текут ручьи. О, Париж! Вот он, дряхлый чаровник мира! Как же ты грязен, старичек, пока тебя еще не побрили и не сделали утреннего туалета.

Но вот вместе с потоком машин мы влетаем в широкую светлость улиц и Париж словно поворачивается другим боком. Это – Лувр, Тюильери, «батюшка Палэ-Руаяль», места «великих» французских волнений, священных безумий, убийств и смертей. Вот когда-то глотавшая головы гильотиной Площадь Согласия, как она хороша в это синее утро и как тиха через полтораста лет! От нее потянувшиеся утренние Елисейские Поля дышат прелестью французской деревни, на их каштанах поют птицы и за ночь взмокшую гладь мостовой, позевывая, подметают какие-то старички в смешных картузиках.

Резко мелькнула зеленоватая, мутноилистая Сена с белыми горбами ее мостов. И вдруг блеском ослепляет перспектива Площади Инвалидов, а за ней зеленые деревья и кусты Марсова Поля с поднявшейся воздушным кружевом состарившейся знаменитостью, старушкой Эйфелевой. И опять кварталы открытых базаров, шумливых лавченок, подозрительных кабачков, это опять тот же Париж, повернувшийся ко мне уж не знаю каким боком.

Наконец я приезжаю на улицу, где в ошеломительном Париже поселился Борис Иванович. Расплатившись с шофером новыми для меня монетами с изображением Марианны, поднимаюсь по лестнице. Знаю, что живет он у русских. Вот, думаю, сейчас мы с Б. И. и обговорим, куда же мне определиться в столице Франции.

На мой звонок дверь отворяет русская хозяйка квартиры и неприветливо-безразлично говорит, что Бориса Ивановича нет, он болен – в госпитале. Это был подлинный душ Шарко

большой силы. Я даже не спросил неприветливую даму, чем Б. И. болен и надолго ли в госпитале? С чемоданом в руке я вышел на улицу. Что же мне делать? В портмонэ чуть побольше десяти франков. Я был, как говорят, «на границе отчаяния». Но отчаиваться никому не советую, это худший «выход из положения». Я стоял на улице. Первое, что пришло мне в голову: может быть позвонить Владимиру Пименовичу Крымову – они переехали из Целлендорфа – в Шату, под Парижем. Я знал, что нацисты довольно нелюбезно налетели к Крымову ночью с обыском, вломились в виллу, все обыскали, искали что-то даже в саду какими-то приборами. Встретив его тогда, после обыска, я спросил, что же они у вас в саду-то искали? В. П. улыбаясь, говорит: «Не знаю, наверное, „царские бриллианты“». После такого налета-обыска оставаться Крымовым в Третьем Рейхе было не совсем подходяще. И они перекочевали в Париж, где В. П. тут же купил виллу в Шату, на берегу Сены, совсем под Парижем.

На мой звонок трубку берет Владимир Пименович. Я говорю, – Владимир Пименович, так и так, я приехал в Париж... Хотел рассказать, что Б. И. болен и мне некуда деться, но В. П. сразу же удивленно перебивает: – «Вы в Париже?! Прямо из концлагеря?! Чудесно! Приезжайте сейчас же к нам. У меня к завтраку будут интересные люди – Александр Иванович Гучков и Казембек, нам всем будет интересно вас послушать – о Германии, о концлагере...»

Я забыл, это было как раз воскресенье, а по воскресеньям у В. П. всегда завтракают «интересные люди». В. П. объяснил, как доехать поездом с Гар Сан-Лазар (кажется). Я его спросил, сколько стоит дорога? Он сказал. Вижу, на проезд хватит. – Хорошо, еду! – говорю. И тут же решил, что попрошу у В. П. разрешения на первое время у них остановиться, пока Б. И. выйдет из больницы.

Приехал в Шату, разыскал жилище Крымовых (3, авеню д’Эпремениль). Вилла чудесная. На самом берегу Сены, к ре-

ке спускается сад. В саду – розы, всякие цветы. Крымовы встретили меня радушно. Я рассказал им, что Б. И. болен и я попал в бездомное положение, и попросил разрешения на несколько дней остановиться у Крымовых. И Б. В. и В. П. сказали: – «Конечно, конечно, мы вас устроим в садовом домике». Крошечный садовый домик был мне очень кстати: один, никого не стесню. Домиков таких было два – у высокой стены – по углам сада. Вот я и расположился в одном из них. Умылся, привел себя, как мог, в порядок. С дороги, конечно, устал и хотелось мне, по правде сказать, только спать, но я понимал, что за завтраком для В. П. буду неким «аттракционом»: ведь я сейчас наверняка единственный человек в Европе, побывавший в гитлеровском кацете и, разумеется, меня будут расспрашивать о концлагере, о Германии. Мне есть, что рассказать. К завтраку я был готов «быть аттракционом».

Встреча с Казембеком мне была безразлична. Но встретиться с А. И. Гучковым – имя которого знала вся Россия – и по Государственной Думе и по Временному Правительству – я, разумеется, хотел. И не потому, что А. И. Гучков – всероссийская знаменитость. А потому, что это был политический деятель и человек, которому я сочувствовал. Меня притягивало, что Гучков был человек воли, действия, сторонник сильной власти и в то же время *народный* человек в хорошем понимании народности. Это председатель Третьей Государственной Думы А. И. Гучков, губя себя в мнении о нем царя и царицы, мужественно боролся с тупой, бескультурной дворцовой камарильей, неосмысленно толкавшей Россию к неминуемой гибели. Гучков публично называл камарилью «мерзавцами». Это Александр Иванович с Думской трибуны осмелился назвать Распутина «проходимцем, хлыстом, эротоманом, шарлатаном» и высказать негодование, что газетам в Петербурге и Москве запрещено что бы то ни было писать о Распутине. После этой его речи царица сказала: «Гучкова

мало повесить!» Но, увы, монархисту Гучкову (и Шульгину) было суждено привезти государю проект отречения. И всей России суждено было рухнуть. Я очень хотел встретиться с эмигрантом А. И. Гучковым.

Завтрак с А. И. Гучковым

В. П. Крымов был человек не обычный. Умный, сухой, к людям совершенно безразличный, без всяких сантиментов, только деловой, а целью «дел» были – деньги. Он рассказывал сам, как добивался в жизни богатства. И – добился. Впервые я встретил его в Берлине, в 1920 году, в редакции журнала «Жизнь». Разумеется, направление «Жизни» его никак не интересовало. Но, как старый журналист («Новое Время», «Столица и Усадьба»), он приехал познакомиться в редакцию единственного русского журнала в Берлине. Тогда В. П. только-только вернулся из кругосветного путешествия. Почему он попал – в кругосветное? Да потому, что в феврале 1917 года *во всей России* Крымов оказался единственным провидцем. Правда, по его рассказу, был еще кто-то второй (но, к сожалению, я забыл фамилию).

Провидчество В. П. Крымова состояло в том, что *в первый же день февральской революции*, когда во всей России царило *всенародное ликование* («Пойдем на весенние улицы! Пойдем в золотую метель!», писала Зинаида Гиппиус; Конст. Бальмонт вприсест создал гимн Свободной России, а Александр Тихонович Гречанинов положил его на музыку; даже идеолог русской контрреволюции в Зарубежье, Петр Струве в феврале был среди «приявших»), а Владимир Пименович (как он рассказывал) понял сразу, что *«всему конец!»* и *«все обрушится!»* И тут же сделал практические выводы: весь свой капитал быстро перевел в Швецию, а сам (с женой) выехал из России. Так как покинуть Россию можно было лишь в восточном направлении, В. П. в 1-м классе сибирского экспресса пересек

всю Сибирь и через Японию, не торопясь, отправился в кругосветное путешествие. Где он только ни побывал, каких только стран ни повидал в то время, как в России всё «углублялась» и «углублялась» революция. В книге «Барбадосы и Каракасы» В. П. рассказал о своем кругосветном путешествии. Он останавливался на многих экзотических островах, объехал всю Центральную Америку, пересек Атлантический океан, приплыл в Марокко в Казабланку и, наконец, в 1920 году прибыл в Европу. Приехал в Берлин. Война была давно кончена, в России шел ленинский развал.

В Германию В. П. въехал богатым, ни от кого независимым человеком. Будучи дальновидным и ловким дельцом, В. П. и здесь приумножил свой капитал. В Берлине он мне как-то рассказывал о «человеческой глупости». – «Многие, казалось бы, деловые люди, – говорил он, – боятся советских векселей, им всё кажется, что это «не настоящее», я же понимал, что советское правительство никогда не допустит опротестования ни одного своего самого ничтожного векселя. И стал скупать советские векселя». Этой скупкой В. П. приумножил свой капитал. В 1921 году он, было, купил у А. Гольдберга эмигрантскую газету «Голос России», но, вероятно, поняв, что это не «дело», вскоре с ней развязался. А потом – уж не знаю как – В. П. стал директором какого-то полусоветского общества «Промо», по закупке мелких предметов, не требующих лицензии Торгпредства. С приходом же Гитлера к власти (после ночного обыска гестаповцами его виллы) В. П. покинул Германию, поселившись под Парижем.

За всё это время «скрипкой Энгра» большого дельца В. П. Крымова была журналистика и литература. Свое писательство он очень любил. И как-то говорил, что «литература – наркоз, и кто его попробовал, никогда не в состоянии бросить». За рубежом В. П. издал много книг: «Монте Карло», «Барбадосы и Каракасы», «В царстве дураков», «Богомолы в

коробочке», «Бог и деньги», «Сидорово ученье», «Миллион», «Похождения графа Азара», «Фенька», «Детство Аристархова», «Хорошо жили в Петербурге», «Город Сфинкс». В. П. происходил из старообрядцев Прибалтики. Всего, я думаю, В. П. издал больше двадцати книг. И некоторые у читателей имели успех.

Но если сейчас книги Крымова не переиздаются и вряд ли когда-нибудь будут переизданы, то все же надо признать, что имя Крымова, как редактора-издателя журнала «Столица и Усадьба» долго не забудется. Уже давно комплект этого журнала стал редкостью и очень ценится. Помню, как В. П. рассказал мне и Б. И. Николаевскому почему и как он стал издавать этот, исторически ценный журнал. Отнюдь не из любви к истории и литературе.

Как я говорил, В. П. Крымов происходил из купцов-старообрядцев. Но никакие «обряды» – ни «новые», ни «старые» его не интересовали. А вот делатель денег он был «гениальный». Окончил В. П. Петровско-Разумовскую Академию в Москве. Но по сельскохозяйственной дороге не пошел. Там, кстати, он учился вместе с Ф. В. фон Шлиппе, позднее бывшим московским уездным предводителем дворянства: они были друзья, на «ты».

Когда В. П. стал работать в «Новом Времени», построчных ему было маловато. И он всегда «выдумывал» как бы и где бы заработать. Еще студентом, без всякого приглашения, он поехал в Ясную Поляну к Льву Толстому. Разумеется, Толстой его не принял. Но Крымов «блестяще» вышел из положения. Он написал довольно бульварную статью «Как меня выгнал Лев Толстой» и на ней хорошо заработал в нескольких газетах.

О зарождении «Столицы и Усадьбы» Крымов рассказывал так. В Петербурге, став сотрудником «Нового Времени», Крымову дозарезу хотелось вступить в члены «Английского Клуба» (опять-таки не из «чванства», а чтоб делать дела, завя-

зывая «великосветские знакомства»). И вот он выдумал обойти «высший свет», начав издавать великосветский, дорогой, с многокрасочной обложкой, на меловой бумаге, типографски сделанный безупречно великосветский журнал «Столица и Усадьба». Этот ежемесячный журнал был полон фотографий «усадеб» и архитектурных «красот» столицы и провинции: старинные усадьбы, старинные дома, портреты и фотографии семей их владельцев и, конечно, соответствующий текст.

В издании первого номера ему помогли такие связи, как дружба с Ф. В. фон Шлиппе и некоторыми другими людьми «высшего света». Но уже первый номер «Столицы и Усадьбы» имел большой успех в кругу «великосветья». Второй издавать было много легче, а дальше пошло, как по маслу: материалы (и очень ценные) повалили к редактору-издателю вместе с просьбами напечатать: фотографии, портреты и соответствующий текст. Таким образом, Крымов установил личные знакомства со многими великосветскими людьми, а с некоторыми и «подружился». И когда он почувствовал под собой почву, то и вступил-таки в «Английский клуб», да еще так, что против него не было ни одного «черного шара». А там вместе с связями начались и «новые дела» и новые доходы.

В другой раз меня и Бориса Ивановича подвыпивший за ужином Крымов спросил: «А знаете, как нововременские журналисты делали деньги?». Но откуда нам «интеллигентам-пролетариям» это знать? И Крымов рассказал (конечно, «не про себя», «упаси Боже!»): – «Вот узнает журналист, что у такого-то банка дела плоховаты или «рыльце в пушку», садится и пишет об этом статью, отдает в набор и с гранками едет в банк к директору. Ясно, что директор журналиста из «Нового Времени» принимает. Журналист «с сочувствием» говорит директору, что хочет предупредить его, какую статью получило «Новое Время» и что печатание ее надо как-то «предупредить». Директор не дурак, знает, что нужно сде-

лать для «предупреждения» и дает журналисту «известную сумму». А тот, приехав в типографию, приказывает рассыпать набор этих гранок, а гранки уничтожает.

Так как Крымов рассказывал «не про себя», я спросил его: – «Но неужели и Алексей Сергеевич Суворин знал о таких операциях?» – «Вы наивный человек, Р. Б. До Алексея Сергеевича было рукой не дотянуться, он занимался своими делами – «Дешевой Библиотекой», «Русским Календарем», «Всей Россией», переписывался с Чеховым, писал романы и пьесы...» Известно, что самые талантливые сотрудники «Нового Времени»: – В. В. Розанов, В. П. Буренин, М. О. Ментиков умерли в нищете, погибнув в революцию. Но они были не «дельцы», а *писатели*. Крымов же сделал себе большое состояние, ловко перевел его заграницу и тут приумножал его разными «операциями», какими только мог.

Помню, как однажды в Целлендорфе меня и Бориса Ивановича В. П. поставил в тупик. За обедом я сказал В. П. о том, какие разношерстные люди разделяют за его столом трапезу: и монархисты – С. А. Соколов-Кречетов, Ф. В. фон Шлиппе, сен. Бельгард, и меньшевики – Б. И. Николаевский, Ю. П. Денике, и А. Н. Толстой и К. Федин и мн. другие. – «Да, я люблю разных людей, – ответил В. П., – у меня даже товарищ Мефодий обедал». – «А кто это товарищ Мефодий?» – «А, Роман Борисович, много будете знать, скоро состаритесь».

Я, конечно, позабыл об этом «товарище Мефодии», но Борис Иванович был великий следопыт, и через несколько дней звонит мне по телефону. – «А знаете, Р. Б., ведь я установил, кто „товарищ Мефодий“». – «Кто же?» – «Товарищ Мефодий, это Дмитрий Захарович Мануильский». – Я обомлел. – «Как, говорю, этот коминтернщик?» – «Не только коминтернщик, но и секретарь ИККИ», говорит Б. И. – «Ну, слушайте, Б. И., это же невозможно. Что ж вы думаете, что Мануильский мог обедать у Крымова?» – «Я ничего не думаю,

я только знаю, что „товарищ Мефодий“ – одна из партийных кличек Мануильского. Вот и всё». – «Ну, знаете, я в следующий раз обязательно спрошу Крымова». – «Спросите...», засмеялся Б. И. И вот, когда мы опять сидели на той же веранде, я как бы невзначай говорю: – «В. П., а ведь я узнал, кто такой товарищ Мефодий». – И вдруг В. П. уставился на меня с выражением полного недоумения и непонимания. – «Какой такой товарищ Мефодий?» – «Да вы же нам в прошлый раз говорили, что у вас обедал товарищ Мефодий». – «Я? Говорил? Да что вы, Р. Б., вы на меня, как на мертвого! Никогда в жизни я вам не говорил ни про какого товарища Мефодия и такого не знаю. Вот Кирилла и Мефодия знаю, но, к сожалению, они у меня не обедали». – Я понял, что тему эту надо оставить. И оставил. Так и остался для меня загадкой «товарищ Мефодий».

Часов в одиннадцать из своего садового домика я пошел по дорожке в виллу. Пока Берта Владимировна хлопотала с завтраком, Владимир Пименович показал мне оба этажа. Очень хороши были комнаты, выходившие окнами в сад – окна широкие, высокие – сквозь них – сад, видна и река, на реке какие-то баркасы, баржи. Тишина. Своей виллой В. П. был явно доволен.

– А знаете, кому она раньше принадлежала? Мата Хари!

– Этой знаменитой шпионке, расстрелянной французами?

– Ну да. А потом – Максу Линдеру, Сесиль Сорель...

Но мне показалось, что знаменитые актеры-владельцы – не так «импонировали» В. П., как трагически кончившая жизнь авантюристка. Полагаю, что и у Мата Хари, и у Макса Линдера эта вилла была соответственно обставлена. Не то было у В. П. Конечно, диваны, кресла, стулья, столы, лампы – всё как надо, на месте, но всё это – с бору с сосенки – никакой приятной глазу, стильной и красивой мебели не было. Думаю, на это В. П. скупился. Так у него было и в Целлендорфе.

Первым из гостей пришел Александр Львович Казембек, «глава» партии младороссов. Когда он выступал с публичными докладами, десятка два младороссов выстраивались на эстраде шеренгой и при его появлении, подняв правую руку римским приветствием, скандировали: – «Глава! Глава! Глава!». По-моему, это было не очень умно. Но Казембеку должно быть нравилось. До его прихода В. П. спросил: – «Вы ничего не имеете против встречи с Казембеком?» – «Нет, говорю, решительно ничего. Я жаден до людей. Это только интересно».

Казембек был среднего роста, хорошего сложения, приятного облика, в лице – что-то отдаленно-восточное. Поздоровавшись, я спросил его, не родственник ли он пензенским Казембекам (со мной учились в гимназии два брата Казембека, сыновья прокурора). А. Л. сказал, что это его двоюродные братья, а сам он – казанский. Разговор пошел о том, о сем. «Глава» был человек хорошо воспитанный, явно неглупый, несмотря на все эти нелепые младоросские лозунги – «царь и советы!». Но, разумеется, ни о «царе», ни о «советах» мы тут не говорили.

Позже пришел Александр Иванович Гучков. Я на него глядел во все глаза. Пожилой, невысокий, с коротко подстриженной седоватой бородой, в очках, очень скромно одетый, чуть прихрамывал (от английской пули в бурскую войну), голос негромкий, приятного тембра. И это – не гипноз имени. Когда А. И. за столом заговорил, почувствовалось: и умен, и бывалый, большой человек.

Гучков сразу обратился ко мне с вопросами о Германии, о настроении немцев, об отношении их к Гитлеру, о концлагере. Расспрашивал с живым интересом. В сущности, он один и расспрашивал так настойчиво: Германия Гитлера видимо его интересовала. Крымов и Казембек задавали мелкие вопросы. Я рассказывал много, подробно. Александр Иванович, под-

тверждающе кивая головой, сказал: – «Да, да, у меня те же сведения, полученные по частным каналам». Я видел, мои рассказы Гучкову *нужны*. После завтрака он спросил: – «Вы, Р. Б., остаетесь в Париже? Я хотел бы, чтоб вы как-нибудь зашли ко мне. Вот мой телефон и адрес», – и дал адрес и телефон. Я поблагодарил, сказал, что непременно приду.

Тут политические разговоры кончились, ибо шумно и буйно вошел приехавший Николай Николаевич Евреинов со своей эффектной женой Анной Александровной. «Все кто знал Евреинова согласятся со мной, что для него самый подходящий эпитет – блистательный. Приходя в гости, он охотно брал на себя роль развлекателя. Для этой роли он был вооружен превосходно: фокусы, куплеты, каламбуры, анекдоты так и сыпались из него без конца. Он всегда чувствовал себя на эстраде... Без игры он не мог прожить ни одного дня», – так – совершенно правильно – характеризует Евреинова в своей «Чукоколе» Корней Чуковский. И тут, с места в карьер Николай Николаевич поднес Крымову свою новую книгу с дарственной надписью, прочтя которую Крымов засмеялся, и огласил гостям: – «Я хотел бы быть Владимиром Крымовым, если бы не был Николаем Евреиновым».

Знакомя меня с Евреиновым, Крымов, разумеется, не преминул сказать, что я «только что из гитлеровского концлагеря», но для Н. Н. политика, видимо, была мало интересна. В ответ он театрально пустил какой-то каламбур. И всё. По правде сказать, после дороги и «въезда в Париж» я хотел только спать в садовом домике. А тут надо сидеть и «поддерживать разговор».

Первым поднялся уходить А. И. Гучков. Прощаясь, он повторил, чтоб я обязательно позвонил и пришел поговорить. После его ухода, улучив удобную минуту, когда Н. Н. Евреинов рассказывал что-то «блистательное», я шепнул Берте Владимировне, что хочу уйти, и незаметно («по-английски») вышел в садовый домик и заснул там как мертвый.

В Шату у В. П. Крымова

За утренним завтраком В. П. меня поразил, неожиданно спросив: – «У вас, Р. Б., денег ведь нет? А вам нужны на поездки в Париж. Вот я вам даю 30 франков», – и протянул мне деньги. Зная скупость В. П., я удивился, поблагодарил, говорю: – «Большое спасибо. При первой же возможности я вам отдам...» «Нет, нет, – встрепенулся В. П., – пожалуйста не отдавайте!» Я удивился еще больше. – «Как, не отдавать? Почему?» – «Да потому, что если вы отдадите, то можете потом попросить большую сумму, а мне будет трудно и неловко вам отказать, лучше так... не отдавайте...». Самостраховка была оригинальна, но напрасна: не такие у меня были отношения с В. П., чтоб я мог попросить у него денег. Но 30 франков были кстати.

В Шату В. П. рассказывал мне много интересного. Так он рассказал, кто у него бывает. В. П. особенно любил сводить «полярных» людей. У него, например, завтракали вел. кн. Андрей Владимирович и известный лидер эсэров Николай Дмитриевич Авксентьев. За этими завтраками они очень сошлись. – «Если б мы раньше знали вас, если бы знали, ведь тогда бы ничего рокового и не произошло», говорил великий князь Авксентьеву, – «но ведь мы вас не знали...» Андрей Владимирович был прав: горе было в том, что придворная знать *не знала* толком ни интеллигенцию, ни народ, а жила псовыми охотами, кафешантанами, приемами, карьерами, балами в своем замкнутом кругу «великосветья».

Авксентьев был прекрасный рассказчик, – говорил В. П. За завтраком он как-то рассказал эпизод из времен, когда он был министром внутренних дел Временного Правительства. Однажды заседание было назначено в нижнем этаже Зимнего дворца. Авксентьев пришел первым, и как только раздавался звонок, спешил открыть пришедшему дверь. Отворил

раз, отворил два, а на третий старик дворецкий, прослуживший всю жизнь в Зимнем дворце, сердито отстранил его, наставительно сказав: – «Не на то вы сюда посажены, чтобы двери отворять...» Больше Авксентьев, конечно, на звонки уж не вскакивал.

Бывали в Шату Бунин, Ходасевич, Цветаева, многие писатели. О Цветаевой Крымов сказал: – «Ну, теперь Марина Ивановна совсем ведь другое пишет! Вы читали ее «Хвалу богатым»?

«И засим, с колокольной крыши
Объявляю, люблю богатых!»

Я читал «Хвалу» и теперь понял, что М. И. наверное читала ее в Шату, у Крымова. Но «совсем другого» в «Хвале» не было, ибо «богатым» там поэтически наговорено довольно много некомплиментарного. И написана «Хвала» в двадцатых годах.

О Ходасевиче В. П. рассказал хороший эпизод. Я знал, что В. П. всегда хотелось (очень хотелось) войти в «настоящую литературу». В Париже таковой были «Современные Записки». Но туда его не пускали, и как «нововременца», и как не писателя par exellence, а – дельца. Как-то сам В. П. говорил мне, что его приятель Аркадий Руманов (в свое время представитель «Русского Слова» в Петербурге), которого Зинаида Гиппиус прозвала «тротуарная орхидея», сказал старому знакомцу Крымову: – «Нет, В. П., нас с вами туда (в «Сов. Зап.») никогда не пустят, мы ведь *меченые*», – и В. П., рассказывая это, улыбался. Но все же он как-то попросил Ходасевича написать в «Современных Записках» отзыв о его книге «Сидорово ученье». Вскоре кто-то В. П. передал, будто Ходасевич говорил: – «За три тысячи франков – напишу». В. П. решил поймать на этом Ходасевича. И встретив его на рус-

ском литературном балу, здороваясь, сказал: – «Владислав Фелицианович, мне передали, что за рецензию обо мне вы хотите три тысячи франков?» На что Ходасевич спокойно ответил: – «Вам сказали неправду. Я хочу пять». Крымов весьма оценил это остроумие Ходасевича и, рассказывая, смеялся. Рецензии в «Совр. Зап.» так и не было.

О Бунине В. П. рассказал, что этого высокого гостя он угощал в Шату каким-то дорогим шампанским. В ведерке на стол подали две бутылки. Одну выпили, а другую Бунин сказал, что возьмет с собой, домой. И увез. Это было до Нобелевской премии, И. А. был тогда бедноват.

Как-то в эти дни в Шату В. П. спросил меня: – «А как же вся ваша семья, останется в Германии?» – «Нет, – сказал я, – я сделаю всё, чтобы их вытащить сюда». – «Сюда? – удивленно произнес В. П. – Роман Борисович, бросьте говорить детские вещи. Вот приехали вы один (даже жену не могли привезти с собой) и очутились, в сущности, на улице (это «на улице» богатый В. П. подчеркнул, что мне не понравилось). А семья в четыре человека?! Да вы знаете, что *богачи* (В. П. опять это подчеркнул) не могут сейчас достать визы из Германии...» – «И тем не менее, – сказал я, – я сделаю все, чтобы семью вытащить во Францию». Я видел, что моя бедняцкая категоричность раздражает богатого В. П. – «Ну, если вы, в вашем положении, достанете визы, тогда вам надо поставить памятник на Пляс де ля Конкорд!» (буквальные слова Крымова, Р. Г.), – с усмешкой сказал Крымов.

Через два года, когда с отчаянным напряжением я эти визы достал и вытащил всю семью во Францию, я был у Крымова и напомнил ему о памятнике. «Побежденный» В. П. признал, что я «совершил чудо». Это и было, если хотите, чудо, потому, что я встретил прекрасного, добрейшего, замечательного человека, французского адвоката, мэтра Александра Тимофеевича Руденко, который чудодейственно (без копейки денег,

конечно!), после моих тщетных двухлетних мытарств-хлопот *в один день* достал мне визы. Но об этом – рассказ особый.

Я был благодарен (и до сих пор благодарен) Б. В. и В. П. Крымовым, что при «въезде в Париж» они дали мне пристанище в садовом домике.[1] Но характер мой оставался моим характером. И когда однажды за утренним завтраком *мне показалось*, что В. П. как-то «элегантно», но все же хочет ткнуть меня мордой в мою бедность и в его богатство (а это было в его характере), я мгновенно решил покинуть Шату. В тот же день я сказал Б. В. и В. П., что переезжаю в Париж. Они удивились, удерживали, но я твердо решил уехать. И уехал в бедняцкий отель, в комнату незнакомого (рекомендованного мне письмом Олечки) шофера Жоржа Леонтьева.

«Золотая Лилия»

Отель, где жил Жорж Леонтьев, жестоко-иронически назывался «Золотая лилия». Улица, где цвела эта «лилия» – как кишка узкая, вонючая, грязная арабская толкучка: здесь жили уличные торговцы-арабы (алжирцы) и русские эмигранты-шоферы.

Когда я вошел в «Золотую лилию» меня охватило зловоние уборных, неубранных постелей, лука, чеснока. По узкой, как штопор, винтовой лестнице я вштопорился на второй

---

[1] Я рад, что судьба дала мне возможность отплатить Б. В. и В. П. Крымовым за «садовый домик». Во время войны, когда начался чудовищный «исход» из Парижа, я жил на юге Франции, в Гаскони с семьей на ферме. Чтобы выехать из Парижа во время «исхода», властями требовалось «приглашение-вызов» из свободной зоны Франции. И Крымов прислал мне просьбу возможно скорее выслать им «приглашение-вызов». Я поехал в Нерак (городок Генриха IV-го), около которого мы жили, полиция удостоверила мое «приглашение-вызов» и я его выслал Крымовым. «Приглашением» моим они не воспользовались – перерешили: остались под немцами. Но после войны, когда я был у них в Шату, В. П. меня поблагодарил, сказав: – «Это был настоящий дружеский жест».

этаж, постучал, услышал: «Войдите!» И вошел в грязноватую комнату с окном в веселеньких занавесочках, с двумя постелями и зеркалом между ними. Это, конечно, не Шату и никакая Мата Хари в таких «лилиях» не цвела. Но ничего. Это – вторая станция моей парижской бездомности.

Жорж Леонтьев оказался добрым малым, сильно заливавшим «пинаром» (красным вином) свою шоферскую жизнь. Он принял меня «с распростертыми объятиями», сказал, – очень рад познакомиться, читал мои книги и гостеприимно предложил «чувствовать себя, как дома». Его целый день нет и пустая постель и комната в моем распоряжении.

Утром Жорж ушел в гараж за своей машиной. А я пошел по Парижу. С утра Париж одет в голубоватую дымку. Я иду в подвижной парижской толпе, стучащей миллионами женских высоких каблуков, мелькающей женскими икрами в шелковых чулках. Париж отовсюду кричит ртом уличных торговцев; мясники в белоснежных, но чуть-чуть закровавленных передниках зазывают за мясом, арабы предлагают орешки, хрипят лотошники, продавая фрукты, овощи, запыленные конфеты, небритые газетчики выкликают клички газет, а у туннеля подземной дороги уличный певец с лицом бандита поет под гармонью песенку о любви, о Париже; и тут же неподалеку на улице стоят три козы, пастух и овчарка; слушая песню, пастух всё же не забывает предлагать прохожим козий сыр и козье молоко.

Мимо книжных лавок букинистов, где приколоты раскрашенные портреты каких-то генералов, великих людей, куртизанок, я выхожу к закопченным скалам Notre Dame. По зеленоватой Сене медленно плывут груженые диким камнем баржи, какие-то белые пароходики, баркасы и на оковавших реку гранитах полудремлют парижские лентяи-рыболовы, закинувшие удочки в муть Сены.

В голубой дымке под золотым солнцем, потоком, как будто беспечной и веселой, но страшной и напряженной жизни

течет беспощадный Париж. Он дробится во мне картиной кубиста. Я не привык к этой греческой свободе уличной жизни. И в шуме чужого языка, на чужих улицах, среди чужих жестов, в движении чужой стихии, тяжело быть инородным и совершенно свободным. Я это ощущаю, стоя у фонтана на площади Saint-Michel. Я гляжу на весь этот движущийся вокруг меня Париж и думаю: «да, какая это тягость, жить без своего неба, своего дома, своего крыльца». Это, конечно, слабая минута, это пройдет. Но сейчас никто не знает, как вблизи желто-черноватых стен Notre Dame, я в первый раз за всю свою бездомную жизнь завидую и этому неспешному старичку-французу в какой-то старомодной разлетайке, с седой бородкой Наполеона III-го, и седокам сгрудившихся у моста разноцветных автомобилей и пассажирам трясущихся зеленых автобусов, всем им, французам, только потому, что они у себя дома и у них дома, в Париже, очень хорошо.

Я иду к Люксембургскому саду. Все французы кажутся мне неживыми, ускользающими, движущимися сквозь затуманенный бинокль. Они весело обедают на открытых верандах ресторанов и кабачков, они смеются; едят со смаком устрицы, сыр, виноград, пьют вино. Я давно отвык и от этого обилия яств и от этого пиршественного веселья, для которого, вероятно, нужнее всего душевное спокойствие. О, у них его, до зависти, сколько угодно! Правда, мне чудится и иное, но это за мной, вероятно, идет тревожная тень Германии: а не опасно ли так уж ублажаться устрицами, вином, мясом, салатами и время ли так уж подолгу сидеть на этих чудесных, располагающих к лени и разговорам верандах кофеен? Ведь рядом, в Германии, встали беспощадные мифы XX-го века, там сейчас презирают и отдохновение, и свободу, и праздность, и изнеживающее обилие яств. Там едят грубо, работают без роздыха, создавая выносливых новых людей, которые будут безжалостны, если им придется разрушить с воздуха

этот хрупкий Париж и всю эту наслаждающуюся Францию, немогущую оторваться от хорошо приснившегося сна.

Вот он, Люксембургский сад, памятник Верлэну, памятник Бодлэру. На фоне зелени застыли в движении темные бегущие скульптуры. Над цветами, бассейнами, газонами, детьми играющими в мяч, и буржуа, стучащими молотками довоенной игры крокет, над всем чудесным садом, где в вакхической беспłановости разметаны желтые железные стулья, на которые многие положили ноги и, греясь на солнце, полудремлют, над всем изяществом этого нежного Люксембурга летит размягчающая душу и волю песенка гармониста о том, что мимо него проплыла любовь на речной шаланде и он тоскует об этой уплывшей любви. Конечно, может быть, вывезенное из Германии мое чувство тревоги и ложно; вероятно, я ничего не понимаю в этой светло-льющейся латинской стихии. Может быть, в последнюю минуту, в смертельном страхе за свой очаг хромоногий гармонист, забыв уплывшую любовь, и бросится храбрым солдатом к границам Франции. Я, беглец из двух тоталитарных стран, просто гуляю в Люксембургском саду и думаю. Я думаю даже о том, что бездомность иногда становится достоинством, давая и опыт, и облегченность пути, в котором ничего уж не остается для потерь. Так я хожу среди французов в музыкальном сумбуре Люксембургского сада, как в пустыне. Но начинает смеркаться, сторожа звонят, сад запирают и надо уходить. И я ухожу в «Золотую лилию».

Я был благодарен Жоржу Леонтьеву не только «за приют», но и за то, что он открыл мне мир русского шоферского Парижа. Когда поздно вечером мы шли обедать, моим Виргилием был Жорж. Вокруг Ля Мотт Пикэ в дешевых русских ресторанах и в грязноватых «бистро» сходилась русско-шоферская братия. Тут больше пили, чем ели. Пили много потому, что «замело тебя снегом, Россия...» И эту трагедию

«заливали пинаром». Конечно, не все русские шоферы пили вмертвую. Многие жили семейной жизнью. Многие выбились из шоферства, войдя во французскую жизнь, многие скопили деньги, купили свои машины. Из шоферов, например, вышел талантливый писатель Георгий Газданов, автор – «Вечер у Клэр», «Ночные дороги» и др. Многие, как следует, встали на ноги. Но Жорж-то показал мне тот русско-шоферский мир, который, пия, шел ко дну, не хотя никуда «выбиваться». «Хорошо, что никого / Хорошо, что ничего / Так черно и так мертво/ Что мертвее быть не может / И чернее не бывать / Что никто нам не поможет/ И не надо помогать». Эти строки Георгия Иванова как списаны с Жоржа и его собутыльников.

Жорж был из хорошей, военной семьи. Отец – кадровый офицер, близкий родственник генерала Ставки Ю. Данилова. По молодости лет в гражданскую войну Жорж попал с гимназической скамьи – вольнопером. А в Париже перед собой ничего кроме шоферства не видел. Собутыльниками Жоржа были и кадровые офицеры, и военного времени, все, кто, потеряв родную почву, не могли и не хотели «в этой растреклятой Франции» куда-то «выбиваться». Вот и «пили». Колоритной фигурой в этом мире пьяного паденья был ротмистр Бухарин. Жорж мне его показал. Ротмистр Бухарин – кадровый офицер из очень хорошей семьи, заслуженный боевой кавалерист, как говорили – незаменимый товарищ и безупречный джентльмен. Но, как парижский шофер, он пил и пил («И никто нам не поможет, и не надо помогать!»). Жорж говорил, что Бухарин дошел уже до невменяемого состояния. В этих ресторанчиках он мог сказать только одну фразу и неизменно ее произносил: – «Господину офицеру стакан красного вина!» Этот стакан ему подавали. И больше ротмистру Бухарину – не требовалось. Он был в таком градусе алкоголизма, что от одного стакана, поданного «господину

офицеру», пьянел. И кто-нибудь из друзей помогал ротмистру выйти на ночную парижскую улицу, чтоб добраться домой. Говорили, что умер ротмистр Бухарин страшно.

Жизнь из «слагаемых»

Не без труда, но из «Золотой лилии» я вырвался. И вскоре Олечка на драндулете (грузовичок времен царя Гороха) приехала из Ниццы. Мы вселились в пустовавшую меблированную квартиру (в одну комнату), ее подруги еще по России, К. В. Леонтьевой (двоюродной сестры Жоржа) на рю Олье в 15-м аррондисмане, оккупированном русскими эмигрантами. Переход из берлоги к нормальной (хотя бы по виду) жизни построился из многих слагаемых.

Б. И. Николаевский поправился. Мы встречались. Он меня слегка поддержал. Из «Союза русских писателей и журналистов» я получил некую допомогу. Вместе с Б. И. бывали у Алексея Грановского в роскошной квартире на Авеню Анри Мартэн. В сущности, у Грановского было две роскошных, ибо из своей роскошной он приказал пробить стену в соседнюю роскошную квартиру очень богатой женщины, г-жи Гудман, ставшей его женой.

Алексей Михайлович Грановский, бывший режиссер советского Государственного Еврейского Театра (ГОСЕТ), где он с успехом ставил «Три еврейских изюминки», «Вечер Шолом Алейхема», «200 тысяч» (и многое другое), в 1928 году, во время зарубежной гастрольной поездки – остался на Западе («выбрал свободу»). Я встречался с ним еще в Берлине. Прочтя моего «Азефа», Грановский попросил Б. И. Николаевского как-нибудь привести меня. И мы с Б. И. не раз у него бывали, причем в первый приход Грановский уверял, что я «вылитый Савинков». Думаю, это было так, «от нечего говорить», а м. б. – «режиссерское вдохновение». Грановский был приятный, барственный человек. Но в Берлине его театраль-

ные замыслы не удавались и в «некой тоске» он всё говорил: «Мне нужны *миллионы! миллионы!* Вот тогда бы я показал...» И миллионы не замедлили прийти в виде г-жи Гудман, красивой миллионерши.

В первую же парижскую встречу Грановский заказал мне «синопсис» для фильма «Тарас Бульба», который он готовил. И я тут же получил хороший аванс. Грановский был широк, а теперь в особенности. Такие «синопсисы» он заказал нескольким писателям – М. Алданову, М. Осоргину, кому-то еще. И когда получил все, говорил: «Удивительное дело, писатели совершенно не чувствуют кино, вот у меня шесть «синопсисов» и ни в одном ни одной фразы, которую можно было бы использовать для фильма». По-моему, имея миллионы Гудман, Грановский просто хотел дать подработать писателям. Это было в его духе.

Широту и барственность (пренебрежение к расходам) Грановский проявлял и при съемках фильма. На роль Тараса Бульбы пригласил за какой-то несметный гонорар знаменитого французского актера Гари Бора, статистами казаками взял русских эмигрантов казаков-джигитов. Вообще, русские эмигранты у него на «Тарасе Бульбе» подработали. Всё ставилось – на широкую ногу, чтоб «поразить мир злодейством». Но говорили, что бывало и так: – когда всё уже было готово к началу съёмок, и актеры, и статисты, и джигиты, и фотографы, и камермены, ждали только режиссера Грановского, он приезжал и говорил своему помощнику: «Распустите всех, я сегодня не в настроении...» И платили, и распускали.

Фильм «Тарас Бульба» был художественным и финансовым провалом. За ним – провалом был и второй «грандиозный» фильм «Король Позоль». Почему? По-моему, потому, что Грановский был уже болен. Он мне часто казался чрезмерно усталым, больным человеком. После своих двух филь-

мов он прожил недолго и умер от рака крови. А потерявшая на его фильмах свои миллионы г-жа Гудман покончила жизнь самоубийством. Я вспоминаю Алексея Грановского с самым добрым чувством. Он был одним из солидных «слагаемых» моего становления на ноги в Париже.

Поместил я в Париже кой-какие статьи в «Иллюстрированной жизни», вскоре закрывшейся, в «Иллюстрированной России». Из «Золотой лилии» я разыскивал друзей и знакомых парижан. Нашел Варю Левитову, сестру милосердия нашей 2-й роты Корниловского полка, с которой дружили еще по Ледяному походу. Варя (Васильева) и Таня (Кунделекова, убита под Орлом), молодые девушки, курсистки, в 1917 году пошли сестрами милосердия в Добровольческую армию. Обе были с нами в боях на Таганрогском фронте (под Чалтырем, под Хопрами). И обе ушли с нами в степи, в Ледяной поход, когда туча красной армии плотным кольцом окружила Ростов и у нас остался единственный узкий выход отступления из Ростова – в неизвестность, в степи. Возьму цитату из «Ледяного похода», написанного мной 64 года тому назад.

«Я подошел к нашим сестрам: Тане и Варе. Они стоят печальные, задумчивые. „Вот, посоветуйте, Рома, итти нам с вами или оставаться“, – говорит Варя, – „мама умоляет не итти, а я не могу, и Таня тоже“. – „Советую вам остаться: ну, куда мы идем? – неизвестно. Может быть нас на первом переулке пулеметом встретят? За что вы погибнете? За что принесете такую боль маме?“ – „А вы?“ – „Ну, что же мы? Мы пошли на это“. Варя и Таня задумались.

Совсем стемнело. Утихла стрельба. Мы строимся. Все тревожно молчат. На левом фланге второй роты в солдатских шинелях, папахах, с медицинскими сумками за плечами Таня и Варя.

– „Сестры, а вы куда?“, подходит к ним полковник Симановский. – „Мы с вами“. – „А взвесили ли вы всё? Знаете ли,

что нас ждет? Не раскаетесь?“ – „Нет, нет, мы всё обдумали и решили. Я уже послала письмо маме“, – взволнованно-тихо отвечает Варя.

Толпимся, выходим во двор. В дверях, прислуживавшие на кухне женщины плачут в голос: „Миленькие, да куда ж вы идёте, побьют вас всех! Господи!“».

В Париже, в один мой приход к Варе произошло нечто незабываемое. Пришел часа в четыре. Варя: – «Рома, вы обедали?» – «Конечно». Сели чай пить, разговоры о прошлом, о Ледяном походе – «бойцы вспоминают минувшие дни» – об убитых близких друзьях (Свиридов, Ващенко, князь Чичуа, мн. др.). Но удивляюсь, Варя смотрит на меня как-то странно: упорнопытливо. И вдруг – категорически: – «Рома, вы голодный!» – «Да что вы, Варя!» – «Да не притворяйтесь, я вижу! И сейчас сделаю вам котлеты!» Скоро котлеты действительно появились передо мной. Но что это были за котлеты! Самые вкусные в мире! Прошло полвека, а их вкус я всё помню. Даже недавно в письме к Варе из Нью-Йорка в Париж о них вспоминал.

Нашел я свою двоюродную сестру Лялю Гуль (дочь дяди Анатолия). Всё это были в том или ином виде «слагаемые». Но кто оказался очень существенным «слагаемым», так это берлинский друг, художник Лазарь Меерсон, превратившийся в Париже в фильмовую известность.

В Берлине Меерсон особенно дружил с Юрием Офросимовым, с которым одно время они вместе снимали комнату, превращая ее в какой-то «вертеп Венеры погребальной», ибо оба были неряхи-богемьены. В Париж Меерсон приехал года за четыре до меня. И попал не в «Золотую лилию», а под мост Александра III-го – ночной приют парижских «клошаров». Ночевал и на скамейках Булонского леса, пока по счастливой случайности не встретил актера Каминку, и тот его устроил писать декорации в киностудии своего дяди (кажет-

ся) Александра Каминка. Тут, уж не знаю как, Лазарь познакомился с тогда только что начинавшим кинорежиссером Ренэ Клэром (позднее – «бессмертным», академиком). Клэру понравились декорации Меерсона и он предложил ему работать в его фильме, который он как раз ставил – «Под крышами Парижа». Лазарь сделал декорации. Фильм прогремел на всю Францию, даже, пожалуй, на весь мир. Ренэ Клэр – тоже. И Лазарь Меерсон – стал известным кино-декоратором, продолжая работать с Ренэ Клэром. Спанье под мостом Александра III-го, скамейки Булонского леса, всё отошло в биографию. А в жизни появилась превосходная белая студия с громадным (во всю стену) окном на Парк Монсури.

Когда я позвонил Меерсону (мы уже жили на рю Олье), Лазарь пришел в восторг и тут же заявил мне, чтоб я ни о чем не беспокоился: на первое время он оплачивает и нашу квартиру и ежемесячно дает деньги на прожитие, пока я не встану на ноги. Это было великолепно! Но я-то знал, что Лазарь богемьен-невропат, что он сказал сегодня, может забыть завтра. И все-таки это было прекрасно!

Нашу встречу Лазарь назначил не где-нибудь на Монпарнасе за стаканом кофе, а в фешенебельном кафе «Рон Пуан дэ Шан з'Элизе». Ну, хорошо. Я приехал в этот «Рон Пуан». Меерсон – в прекрасном, дорогом костюме с каким-то невыразимым галстуком (хорошего тона), вообще будто никакого голодранства, скамеек Булонского леса и моста Александра III-го не было и в помине. Расспрашивал о том, о сем, о Юрии, о концлагере, пригласил нас с Олечкой к себе на обед. Он был женат на известной всему Монпарнасу, легендарной, эффектной Мэри, тоже русской эмигрантке. Рассказывали, что в кафе «Дом», где обычно сидела Мэри, к ее столику однажды подошел известный художник Оскар Кокошка, сказав: – «Мне говорили, что у вас самое красивое попо на Монпарнасе, я хочу вас написать». Увы, сеанс не состоялся.

На обеде у Меерсонов в большой белой студии, застланной пушистым белым бобриком, всё было «невыразимо изысканно». Стеклянный стол, стеклянная посуда, еда, вино, всяческие деликатесы, всё – лучшее, всё – дорогое. И все-таки самым сногсшибательным номером был лакей: – калмык в черных брюках, белой куртке и белоснежных перчатках. «Лазарь, что это за аттракцион?», спросил я. «Не знаю, это Мэри выдумала, спроси ее». Мэри объяснила, что через русских знакомых нашла этого калмыка и теперь не нарадуется: он научился всяким штукам, чудесно работает, подает, убирает. Думаю, и калмык таким «поворотом» судьбы был доволен.

Насчет «невропатии» Лазаря я, конечно, был прав. Два месяца он давал мне деньги на оплату квартиры, а потом «забыл», а я, разумеется, не напоминал, ибо и это было дружеской помощью. За это время и я кое-что заработал и Олечка нашла работу: брала вязанье у казачки Будариной – Олечка вязала ей шерстяные и шелковые дамские вещи для какого-то богатого французского «дома мод». Так мы и начали нашу свободную жизнь в Париже. Сделаю примечание: официально мы «права на работу во Франции» не имели. Визы были «без права работы», как у многих русских.

У А. И. Гучкова

С рю Олье я позвонил Александру Ивановичу. Он назначил мне встречу. Жил он неподалеку. Квартира в три комнаты, скромная, эмигрантская. В России А. И. знавал настоящее «хлопчатобумажное» богатство, но этим не интересовался, занят был: сначала войнами – в Южной Африке (с бурами) против англичан, на Балканах с македонцами против турок, в Манчьжурии против японцев, потом – в войну 1914–17 гг. – председатель Центрального Военно-Промышленного комитета. Параллельно – большая политика: председатель «Союза 17-го Октября», председатель Третьей Государственной

Думы. Вперемежку – несколько дуэлей, а под конец войны – заговоры – попытки дворцового переворота.

Принял меня А. И. радушно. Принес из кухни два стакана чая и какое-то печенье. В разговоре спросил, что я пишу. Я сказал, что закончил книгу о терроре – «Дзержинский», и хочу ее здесь издать. А. И. одобрил, заинтересовался, спросил – не могу ли я дать прочесть рукопись? Я сказал – с удовольствием принесу.[2]

– У меня, Р. Б., к вам есть дело, – проговорил Гучков, – в Париж приехала дама, побывавшая в советских концлагерях. Рассказывает потрясающие факты. Я просил ее все записать, но она не из пишущих. Не взялись ли бы вы записать ее рассказы? Дело – нужное.

Я согласился. С дамой встретился у А. И. Она действительно рассказывала много интересного, но записи так и не вышли: дама куда-то уехала.

Помню, в первый мой приход Гучков сетовал на Петра Струве за его статью о Николае II-м (напечатанную, запамятовал где).

– Струве пишет о царе, – говорил Гучков, – как о необыкновенном человеке, как о разумном правителе и т. д., но ведь Струве, так же как я, прекрасно знает, что это неправда. И все-таки пишет. Зачем? Такая неправда только вредна...

Я статьи Струве не читал, ничего сказать не мог. Разговор перешел на вопрос о монархии вообще. А. И. сказал, что он монархист. Я ответил, что монархия, по-моему, нужна там, где *в народной толще* есть потребность в ней, вот как в Англии – там народу нужна эта мистико-эстетическая институция, и я бы не хотел, чтоб Англия превратилась в

---

[2] Когда я рассказал Борису Ивановичу, что Гучков попросил рукопись «Дзержинского», великий следопыт Николаевский сказал: – «Это он для Лиги Обера». Для Николаевского Лига Обера была немного «контрой». Для меня нет. Я дал Гучкову рукопись «Дзержинского».

республику. Но в России ведь – к всеобщему нашему остолбенению – революция показала, что *в народе* никаких монархических традиций, никакой этой мистико-эстетической потребности, не было.

– Вы помните, А. И., – говорил я, – как в феврале в полках, в бараках солдаты в каком-то остервенении топтали портреты царя и царицы. И Михаил Александрович был, по-моему, прав, что не принял престол, да и уговаривал-то его принять престол один единственный Павел Николаевич Милюков, даже Родзянко был против. И Родзянко был прав. Ведь если б Михаил Александрович принял престол, в России пошла бы такая поножовщина и пугачевщина, что страшно себе представить.

– Да, я всё это знаю, – как-то уклончиво, нехотя сказал А. И., – и все-таки я – за монархию.

– Но, А. И., в теперешней России нет уж совершенно никаких корней для восстановления монархии...

– Не знаю, не знаю, всё бывает, – еще более уклончиво проговорил Гучков и добавил: – Я ведь и для Франции хотел бы монархии.

В устах умудренного политика это показалось мне какой-то «навязчивой идеей», ибо представить себе, что во Францию, перепаханную ее революциями, въезжает из Бельгии граф Парижский, становясь королем, – политически немыслимо.

А. И., продолжая разговор, сказал: – «Я ведь в демократической формуле Джефферсона-Линкольна – «всё для народа, всё через народ» – принимаю только первую часть – «всё для народа». Но не – «всё через народ». Я понял, что А. И. сторонник авторитарной власти. Конечно, авторитарная власть бывает неизбежна и нужна (например, генерал Франко, победивший московских чекистов), но быть ее сторонником, как таковой, навечно, мне казалось неправильным; авторитарные

правители неизбежно будут греховнее демократических, ибо – бесконтрольнее. Демократия – никакое не царствие небесное, но все ж лучшее из всего худшего, что у людей есть, все же больше возможностей ограничения греховности людской природы. Это я и высказал Александру Ивановичу. Но так мы и остались – каждый при своём.

В другой раз А. И. пригласил меня к чаю. Чай – в столовой, разливала дочь А. И. – Вера (по мужу, англичанину, кажется, Трэйл). Кроме меня был Кирилл Зайцев, автор книги о Бунине, книгу эту Бунин весьма одобрил. Позже Зайцев стал архимандритом Константином в Америке, в монастыре в Джорданвиле. Зайцев был человек острый, умный, образованный. За столом в общем разговоре он довольно остро «столкнулся» с Верой Гучковой. И неудивительно: Зайцев страстный антибольшевик, а Вера (как ни нелепо) – коммунистка (и ее муж – коммунист). Помню, я как-то удивился, зачем А. И. приглашает гостей-антибольшевиков и Веру. Вера – высокая, некрасивая, в манерах и разговоре резкая. «Коммунизм», «советизм» к ее резкости и манерам шел.

Во время чаепития А. И. пригласил меня и Зайцева (был еще кто-то, но не помню кто) на доклад финна Седерхольма, побывавшего в советских тюрьмах и концлагерях. Воспоминания Седерхольма позже вышли книгой в Риге. Я понял, что у А. И. есть некий небольшой кружок людей, с кем он общается, а иногда и устраивает закрытые собрания (по приглашениям).

На доклад Седерхольма мы пошли вместе с Борисом Ивановичем. Доклад был, по-моему, в Биотерапии (неком предприятии быв. народного социалиста А. А. Титова, богатого человека, химика по специальности). Там был зал, где происходили эмигрантские выступления. В дверях зала, у небольшого столика сидел пожилой господин, перед ним лист приглашенных и по предъявлении приглашения он ставил

отметку против фамилии. Господин этот привлек мое внимание своей внешностью. Хоть он и сидел, но явно был очень высокий, волосы не седые, а белые, лицо моложавое, костистое, красивое, крупных черт. Б. И. с ним поздоровался. В зале я спросил Б. И.: – «Кто это?» – «Не знаете? Это Сергей Николаевич Третьяков, товарищ министра торговли и промышленности Коновалова во Временном Правительстве», – произнес Б. И. с уважением к большому прошлому этого господина.

В зале было 30–40 приглашенных: социалисты – Ст. И. Португейс (крайне-правый потресовец), Г. Я. Аронсон, еще кто-то; были кадеты; были правые. Я мало кого знал. Но в первом ряду сразу узнал генерала Скоблина. В Ледяном походе, в Корниловском полку он был штабс-капитан и помощник командира полка полковника Неженцева.

Председательствовал А. И. Гучков. Седерхольм занял место рядом с ним. Доклад был интересен, изобиловал фактами ужасов советских концлагерей. После доклада А. И. спросил: нет ли у кого вопросов к докладчику? И тут же из первого ряда поднялся Скоблин, задав, как мне показалось, совершенно глупый вопрос: – «Скажите, пожалуйста, неужели среди заключенных, когда они стояли в строю перед чекистом, бившим их товарища, никого не нашлось, кто бы бросился на этого мерзавца?» Не помню, что ответил докладчик. Помню, я подумал: «какой дурак Скоблин...» Но после похищения ген. Миллера, когда выяснилось, что бежавший в СССР Скоблин предал его чекистам, я вспомнил вопрос и понял, что вопрос был вовсе не так уж глуп: провокатору надо было лишний раз *публично подчеркнуть* свою совершенную «непримиримость к коммунизму». А позднее, во время войны, когда немцы в Смоленском архиве НКВД нашли документы, изобличавшие С. Н. Третьякова, как советского агента (немцы расстреляли его), я понял, что кружок

А. И. Гучкова и он сам были под двойным стеклянным колпаком НКВД: Скоблин в первом ряду, Третьяков – у входа. К тому ж – в придачу – дочь и зять коммунисты.

Как-то А. И. позвал меня поговорить о прочтенной им моей рукописи «Дзержинский». Поговорили. А. И. рукопись весьма одобрил. А когда я собрался уходить, А. И., взглянув на часы, проговорил: – «Подождите, Р. Б., до четырех. В четыре ко мне должен притти Александр Федорович Керенский. Вы не знакомы?» – «Нет». – «Ну, вот и познакомитесь и тогда пойдете. У меня с ним есть кой-какой разговор».

Я остался. И разговор, естественно, перешел на А. Ф. Керенского. Я спросил А. И., как он расценивает его? – «Герой не моего романа, – махнув рукой, проговорил А. И., – лично, конечно, человек честный, но слабый, совершенно слабый. Всё только – актёрство, жесты, эффекты! А на этом в политике далеко не уедешь... Вот Савинков, – продолжал А. И., – совсем другое дело. Это был человек действия. За Савинкова я бы десять Керенских отдал...»

В это время раздался звонок. Я встал, простился. Мы вышли в переднюю. А. И. открыл дверь и в дверь не вошел, а как-то ворвался Александр Федорович Керенский. Наружность Керенского – всероссийски известна. Но сейчас, перевалив за 50, Керенский был уж не тот. Лицо землистое, в глубоких складках-морщинах, какое-то обвислое. Я стоял, чтоб уйти...

– Александр Федорович, вы не знакомы? Это – писатель Роман Борисович Гуль, приехал из Германии...

И тут произошло нечто меня потрясшее. А. Ф. Керенский круто, словно на каблуках, повернулся ко мне, выхватив из жилета лорнет на широкой черной ленте и, приставив к глазам, стал меня рассматривать. Этим лорнетом на черной ленте я был ошарашен. Керенский, конечно, меня по имени знал, я кое-что писал о нем не очень лестное. Посему, вероят-

но, и рассматривал. Затем, оторвав лорнет от глаз, Александр Федорович протянул руку, громко, отрывисто сказав:

– Здравствуйте! – голос у А. Ф. – прекрасный баритон.

– Здравствуйте, Александр Федорович, – ответил я.

Поздоровавшись с Керенским, я вышел. «Господи, – спускаясь по лестнице, думал я, – но почему же именно лорнет? Да еще на черной широкой ленте? Почему не очки, не пенснэ, не монокль наконец (вставить при случае). А то ведь это же какая-то графиня из «Пиковой дамы», а никак не вождь февральской революции».

А. Ф. Керенский

Думаю, будет лучше, если я, отступив от хронологии «России во Франции», расскажу всё об А. Ф. Керенском: о наших встречах, разговорах, о некоторой близости (одно время, в Америке). Многое будет – из «России в Америке», но зато тема – А. Ф. Керенский – будет дана полнее.

Вторично я увидел Керенского на улице, на Авеню де Версай. Он меня не заметил. Думаю, он никого заметить не мог. Во-первых, – сильно близорук, ходил с палочкой. Во-вторых, Керенский не шел, как обычно ходят люди по улице, а почти бежал, и на согнутых в коленях ногах, что было необычно и некрасиво. На голове никакого головного убора. Керенский по улице ходил с непокрытой головой, как молодые. Волосы – седоватый бобрик, без всякого намека на ленинскую лысину.

И вот, когда Керенский однажды так «бёг» по парижской улице (он любил моцион, гулять), какая-то русская дама, шедшая с девочкой, остановилась и громко сказала девочке, показывая пальцем на Керенского, – «Вот, вот, Таня, смотри, смотри, этот человек погубил Россию!»

Мне об этом рассказывал Владимир Михайлович Зензинов, ближайший друг Керенского, и добавлял, что на Алек-

сандра Федоровича «слова этой дамы подействовали ужасно, он несколько дней был сам не свой».

Когда я ближе узнал А. Ф., я, конечно, никогда о «загублении» им России не говорил, но не раз чувствовал, что эту тему он воспринимает болезненно. Вероятно, потому, что наедине с собой чувствовал, что в чем-то, где-то (несмотря на всеобщий всероссийский развал, на всеобщее российское окаянство) он все-таки как-то перед Россией виноват своей слабостью. Ведь необычайно любившая его Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (известная бабушка русской революции), называвшая Керенского не иначе, как «Саша», подавала ему *истинно-государственный совет* спасения России. Она говорила Саше, что он должен арестовать головку большевиков, как предателей, посадить их на баржи и *потопить.* «Я говорила ему: „возьми Ленина!“ А он не хотел, все хотел по закону. Разве это было возможно тогда? И разве можно так управлять людьми?... Посадить бы их на баржи с пробками, вывезти в море – и пробки открыть. Иначе ничего не сделаешь. Это как звери дикие, как змеи – их можно и должно уничтожить. Страшное это дело, но необходимое и неизбежное».

Но Саша о такой *действительно государственной мере* (я говорю это всерьез) и слышать не хотел: перед ним «сияла звезда социализма». Эта фраза о «звезде социализма» была в воспоминаниях Е. К. Брешковской, которые мы напечатали в «Новом журнале» (кн. 38). Но близкий друг А. Ф., тогда редактор журнала, Михаил Михайлович Карпович сказал мне, секретарю редакции, обычно правившему рукописи: – «Знаете что, Р. Б., эту «звезду социализма» давайте вычеркнем, она Александру Федоровичу теперь будет очень неприятна!» И вычеркнули. Михаил Михайлович был прав. Заграницей, эмигрант А. Ф. Керенский, по-моему, никаким социалистом не был. Ну, может быть самым крайне-крайне-правым, и то

не мировоззренчески, а – в смысле нужности социальных реформ. Помню, как-то, сидя у нас в квартире на 113 улице в Нью-Йорке, А. Ф. проговорил: – «Ведь они, они меня погубили!», – и указывал при этом на противоположную сторону улицы, где (прямо напротив) жили лидер меньшевиков и бывший влиятельный член Совета Рабочих Депутатов Р. А. Абрамович (Рейн) и некоторые другие меньшевики. Заграничный Керенский, по-моему, был куда больше националист, чем социалист, поэтому-то его и недолюбливали (весьма!) меньшевики, оставшиеся твердокаменными. А официальные националисты считали его «предателем». Так что политически Керенский заграницей был в неком «безвоздушном пространстве».

Е. К. Брешковская всю жизнь была верующей христианкой. Был ли в былом А. Ф. Керенский верующим – не знаю. Но заграницей А. Ф. был церковным православным человеком, посещавшим церковь и выстаивавшим службы от начала до конца, во время великого поста ни одной службы не пропускавшим, исповедывавшимся и причащавшимся. Это я видел собственными глазами в Нью-Йорке в Свято-Серафимовской церкви у о. А. Киселева.

Третий раз в Париже я встретил А. Ф. Керенского (прилетевшего из Нью-Йорка) на вокзале на Площади Инвалидов. Б. И. Николаевский известил меня из Америки, прося встретить А. Ф. Дело в том, что А. Ф. был членом создавшейся в Нью-Йорке «Лиги Борьбы за Народную Свободу», председателем которой был избран Б. И. Николаевский, я же был неким представителем этой обще-демократической организации в Париже. Я редактировал тогда журнал «Народная Правда», сбив вокруг него небольшую группу, назвавшуюся «Народное Движение», входившую в Лигу.

Александра Федоровича я встретил в конце длинного туннеля на Площади Инвалидов. Он также быстро шел, вид бод-

рый, улыбающийся. Поздоровались уже, как знакомые (члены же ведь одной организации! Почти что «партийные товарищи»!). А. Ф. сказал, что поедет прямо к своему другу Михаилу Матвеевичу Тер-Погосяну, предложив ехать с ним вместе. Тер-Погосян был эсэр, верный «оруженосец» Александра Федоровича. Тер-Погосян Керенского просто-таки «обожал». Я с М. М. был знаком, бывал у него, но знакомство поверхностное. И считая нетактичным мое появление при встрече близких друзей, я сказал, что лучше позвоню А. Ф. завтра и мы условимся, когда встретиться.

А. Ф. Керенскому было небезынтересно встретиться и со мной, ибо я только что вернулся из поездки по Германии (Мюнхен, Гамбург, Ганновер и опять Мюнхен, я расскажу о поездке отдельно), где от имени Лиги вел переговоры с представителями организаций новой, послевоенной эмиграции. Но, конечно, особенно интересна Александру Федоровичу была встреча с живым представителем этой, советской эмиграции, с одним из лидеров СБОНР'а (власовцев), с Юрием Васильевичем Диковым. Ему я выхлопотал приезд в Париж на неделю. И поселил в отеле неподалеку от нас.

Между первой и второй эмиграциями прошло больше 30 лет, и человечески, и политически обеим встреча друг с другом была важна и интересна. Не знаю, прав ли я, но мне казалось, что А. Ф. Керенскому хотелось «примериться»: – поймут ли его – бывшего «главу» Февраля – новые, советские люди? Думаю, что я в этом прав. Первая эмиграция (в большинстве белая армия) к нему относилась враждебно. Ведь даже верховное командование Белой Армии в свое время в приказе упоминало о нем, как о «предателе», со всеми вытекающими отсюда «последствиями», в случае его появления в районе армии. В первой эмиграции А. Ф. Керенский был «полуодинок».

Встреча состоялась на другой же день. А. Ф. Керенский пригласил на обед меня с Олечкой и Ю. В. Дикова в *свой* ре-

сторан на Пляс Пасси (неподалеку от метро), где хозяин и лакеи, многолетне его знавшие, называли А. Ф. не иначе, как «Monsieur le President». Перед войной А. Ф жил тут и был частым посетителем ресторана. За обедом разговор – как всегда при первом знакомстве – перемежался и житейскими и политическими темами. Ю. В. Диков, адъютант ген. В. Ф. Малышкина, производил приятное, выгодное впечатление: умный, тактичный, демократ по взглядам, прошел через советский концлагерь, работал в штабе ген. А. А. Власова, так что многое из того, что он говорил, было очень интересно. В отношении Керенского Диков держался почтительно-тактично. И встреча с ним А. Ф. Керенскому была явно приятна и интересна. На другой день А. Ф. меня за нее благодарил. В этом же ресторане мы завтракали втроем: Керенский, я, Борис Суварин, и – Керенский, я и П. А. Берлин (известный публицист, экономист, раньше работавший в Торгпредстве, но «выбравший свободу»).

Наших встреч – втроем – А. Ф., я и Ю. В. Диков было здесь несколько. На последней А. Ф. сказал, что хорошо бы, если Ю. В. Диков познакомился с В. А. Маклаковым. Я понял, что Керенский с Маклаковым об этом уже говорил. Ю. В. согласился. И в условленный час мы приехали на квартиру В. А. Маклакова. Диков, по-моему, слегка волновался, ибо не знал, как у него, власовца, сложится встреча с Маклаковым, ходившим с группой эмигрантов на прием к советскому послу Богомолову, и, разумеется, вполне далекому от «власовства».

К Маклакову в кабинет мы вошли последними. У него уже были – А. Ф. Керенский, М. М. Тер-Погосян, А. С. Альперин, А. А. Титов. Для нас обоих это было неожиданностью. Тер-Погосян (эсэр), Альперин (энэс), Титов (энэс) были как раз из той эмигрантской группы, которая вместе с Маклаковым путешествовала к совпослу Богомолову и выражала там патри-

отические чувства. Все они, конечно, были анти-власовцы. Я с ними был знаком. Керенский представил Ю. В. Дикова. Все уселись в просторном кабинете. Маклаков – за письменным столом.

Первыми стали задавать вопросы Дикову – Тер-Погосян, Альперин, Титов. Хоть и были они люди воспитанные, резкостей не говорили, но в вопросах все же чувствовалось полное «неприятие» власовства. Диков отвечал умно. Без уверток. Маклаков молчал. Керенский сказал какие-то «смягчающие» слова о «новых людях» и «новой демократии». Последним заговорил Маклаков.

Сразу – с первых же фраз – почувствовалось, насколько В. А. «головой выше» всех присутствовавших. Умнее. Мудрее. Глубже. Речь была простая, ясная, умная, логичная, легко воспринимаемая. То, что сказал Маклаков, по-моему, для всех присутствовавших (в особенности, для компаньонов по путешествию к Богомолову) было неожиданностью. Обращаясь только к Ю. В. Дикову, Маклаков говорил тепло, очень дружески (по-русски душевно). В. А. сказал, что вполне понимает *что* Ю. В. и другие русские люди пережили и перенесли, живя под террором коммунизма, поэтому его нисколько не удивляет, что в Германии сложилось антисоветское, власовское движение. – «В своем антисталинизме вы были искренни, у вас была своя правда, и вам и вашим товарищам совершенно не перед кем и не в чем, Юрий Васильевич, извиняться. Вы должны ходить так же как все, с высоко поднятой головой», – так закончил Маклаков.

Патентованные анти-власовцы молчали, но я видел, что таких слов от В. А. Маклакова они «никак не ожидали». Керенский довольно улыбался, глядя, как Маклаков пожимает руку Дикову. Ну, а больше всех поражен был, конечно, «власовец» Диков. Пожимая руку Маклакова, он говорил ему какие-то слова благодарности.

Когда мы с Ю. В. вышли на улицу, чтобы ехать к нам, домой, Диков был вне себя от радости и возбуждения. – «Ну, этого я никак не ожидал! – говорил он, – И какой блестящий человек! Да я таких просто и не видел никогда! Вот бы нам такого!».

Но «таких» – по блеску, по уму, по дару речи – во всей России было не очень много. Керенский перед Маклаковым казался «маленьким» и косноязычным.

В последний раз в Париже я встретился с А. Ф. Керенским на его докладе в Биотерапии. Доклад устраивала, кажется, наша группа «Народной Правды» (не уверен). В Биотерапии зал, человек на полтораста, был, конечно, битком. Имя Керенского всегда «делало сборы». А. Ф. говорил о современном международном положении, о задачах эмиграции, о Лиге, о русских в Америке. Я несколько раз слышал красноречие Керенского. Он, конечно, был подлинный оратор, но «не моего романа». В противоположность Маклакову красноречие Керенского было крайне эмоционально, даже, я сказал бы, «пифично» (от слова «пифия»). Иногда на большом подъеме Керенский уже не говорил, а как-то отрывочно выкрикивал. Мне это не нравилось. Как-то (уже в Нью-Йорке), сидя у нас, А. Ф. рассказал о себе интересный эпизод, характеризующий, по-моему, весь стиль его ораторского дара. А. Ф. рассказал, как, однажды, еще до революции, когда он выступал на каком-то процессе защитником, после заседания, в перерыве, председатель суда попросил его (для удобства председателя), чтобы А. Ф. вкратце набросал ему содержание его речи. – «Этого я сделать не могу», – ответил Керенский. – «Почему?» – удивился председатель. – «Да, потому, что когда я выступаю, я не знаю *что* я скажу. А когда я кончил, я не помню *что* я сказал». Рассказывая это, А. Ф. улыбался своему рассказу. А я не улыбался. Тут-то именно я и подумал: «Что ж, ста-

ло быть, ты говоришь, как пифия, не зная сам, что скажешь и не помня, что сказал?»

Но в Биотерапии, помню, был момент, когда Керенский захватил весь зал. Он рассказывал, что как-то ехал по Канаде и как Канада напомнила ему Россию – те ж сосновые леса, те ж широкие реки – и какое он почувствовал вдруг отчаянье, что вот в Канаде люди живут в полной свободе, в полном довольстве, а Россия – почему же Россия?! – полонена этой страшной трагедией неожиданного рабства и хозяйственного развала. Ведь Россия могла быть такой же Канадой! Это А. Ф. говорил искренне и все почувствовали его настоящую любовь к России! Зал проводил Александра Федоровича шумными аплодисментами.

Больше во Франции я Керенского не встречал. Назавтра он улетел в Нью-Йорк.

В Нью-Йорке, где мы жили с женой с 1950 года, я часто встречался с Керенским на заседаниях Лиги Борьбы за Народную Свободу. Заседания Лиги обычно были в нашей квартире на 506 Вест 113 стрит. Но ни о Лиге, ни о Керенском в связи с Лигой, я говорить сейчас не буду. Это материал третьего тома – «Россия в Америке». Я скажу только о личных встречах и запомнившихся разговорах.

В Нью-Йорке А. Ф. Керенский жил в фешенебельном районе, в прекрасном особняке г-жи Симеон, на 91 улице Ист. Муж ее, конгрессмен, республиканец, был другом Керенского. И Симсоны предложили Керенскому жить у них. А. Ф. занимал на втором этаже две небольшие комнаты. Но мог пользоваться всем помещением. Особняк был барский. Особенно хорош был просторный кабинет – по стенам в шкафах книги, камин, удобные кресла, стильная мебель. Керенский принимал здесь гостей. Иногда устраивал «парти». Прислуживали в особняке японцы – муж и жена. Мистер

Симеон вскоре умер, осталась вдова. Но положение Керенского, в смысле обитания в особняке, не изменилось.

Помню, как-то я был у А. Ф. Сидели мы, как всегда, в большом кабинете. И к Керенскому пришел один новый советский эмигрант, недавно приехавший из Германии. Не буду называть его фамилию, Бог с ним. Несколько позднее, когда он был у меня, я выгнал его из квартиры. Назовем его – господин Х. Его приход показал мне, как Керенский был падок на лесть. Конечно, все мы, более-менее, любим лесть. Но разница, по-моему, должна быть в градусе правдоподобия лести, чтобы лесть не переходила в ложь. Керенский этих градусов не чувствовал.

На меня господин Х. сразу произвел ненадежное впечатление. С места в карьер он стал говорить Керенскому стопудовые комплименты, явно не чувствуя пропорций лжи. Он говорил, что в СССР весь народ помнит Керенского, что его имя для народа свято, что весь народ чтит его. Лесть была невыносимо груба, по-моему, просто оскорбительна. И я был поражен, что Керенский от рассказов этого господина – расцветал и улыбался. Этой вульгарной лжи он явно хотел верить и (я видел), что верит.

Когда наглый господин Х. наконец ушел, Керенский мне в разговоре бросает: – «Симпатичный человек, правда?» – Я говорю: – «По-моему, нет». Керенский удивленно: – «Почему?». Я говорю: – «По-моему он был неискренен во всем, что говорил, и этим на меня произвел неприятное впечатление». Керенский вдруг недовольно оборвал: – «Ну, не будем об этом говорить!». И мы перешли к делу, для которого я пришел.

Мы с Керенским довольно часто завтракали в ресторанах. И часто он рассказывал интересно. Но иногда замыкался, когда тема была не по душе. Как-то раз я заговорил о Николае II-м. Керенский ответил коротко, что Николай II-й, как человек, производил на него положительное впечатле-

ние. И, помолчав, добавил, что когда впервые он, со своим окружением, приехал на свидание с бывшим государем, первый момент для него был страшно труден: как поздороваться с арестованным бывшим монархом? Протянуть руку? Не протянуть? И Керенский, «не обращая внимания на свое окружение», в последнюю секунду решил, конечно, протянуть.

– «Я протянул ему руку, государь тоже протянул – мы поздоровались».

Мне хотелось выжать из Керенского побольше рассказов о государе. Но Керенский этому внутренно сопротивлялся. Однажды, будто что-то вспомнив, сказал: – «Об интимной жизни государя мне много рассказывала статс-дама Нарышкина». – «Что же она рассказывала?», спросил я. – «А этого я вам не скажу так же, как не говорил никогда и никому!». И после краткой паузы: – «Это уйдет со мной – туда», – Керенский указал пальцем в пол, – «... в могилу...». Мне это понравилось. Нигде, никогда, ничего неприятного для памяти государя Керенский не писал и не говорил.

Другой разговор в каком-то роскошнейшем ресторане, где нас обслуживала целая вереница лакеев со всех сторон, для Керенского был неприятен. На этот завтрак нас обоих пригласил очень богатый человек Владимир Николаевич Башкиров.

Ресторан был «потрясающий»: и блюда, и вина, и услуги. И всё шло превосходно: я сидел против А. Ф., Башкиров с краю стола (стол на троих). Башкиров происходил из очень богатой купеческой семьи, он давно знал Керенского еще по России и во времена Временного Правительства играл не последнюю роль. Он, кажется, был товарищем министра, заведуя вопросами продовольствия. Во всяком случае всё продовольствие Петрограда было в ведении Башкирова.

За завтраком Башкиров выпивал, смеялся, предавался воспоминаниям о прошлом. И вдруг говорит: – «А помните,

Александр Федорович, как перед корниловскими днями вы мне отдали распоряжение приготовить фураж и продовольствие для идущей на Петроград Дикой дивизии и корниловских отрядов...», и Башкиров в связи с этим хотел что-то рассказать. Но лицо Керенского было передо мной. Оно изменилось почти в гнев и на весь ресторан (Керенский всегда-то говорил громко, а тут), металлически отчеканивая каждое слово, проговорил: – «Ни-ког-да ни-ка-ко-го та-ко-го рас-по-ря-же-ния я вам не отдавал! Я та-ко-го рас-по-ря-же-ния не от-давал», – повторял он, отчеканивая каждый слог и глядя в упор на Башкирова. Но Башкиров с дружеской улыбкой: – «Да что вы, Александр Федорович, Роман Борисович свой человек, наш друг, при нем можно всё говорить!» – Этот ответ еще больше раздражил Керенского. Лицо всегда землистое, по-моему, даже побледнело. И тем же металлическим голосом, с той же деревянной интонацией он опять отчеканил: – «Я ни-ког-да та-ко-го рас-по-ря-же-ния вам не отдавал!»

Конечно, я понял, что причиной «подавляемого возмущения» Керенского был я. Я не был для Керенского ни «свой человек», ни «наш друг». И Башкиров, разумеется, сделал необъяснимый гаф. После трижды «отчеканенной фразы» он это почувствовал. И разговор оборвался, перешли на что-то другое.

Но я видел (понял), что Башкиров говорит сущую правду. И если Керенский отдавал ему, заведующему продовольствием Петрограда, распоряжение приготовить фураж и продовольствие для выступивших против Петрограда корниловцев, то ясно, что Керенский – на первом этапе – с этим политически-безнадежно-нелепым восстанием ген. Корнилова был связан.

Впрочем, это уже и было «секретом Полишинеля», это подтверждали многие, в частности, быв. министр Временного Правительства Ираклий Георгиевич Церетели (о чем я еще

скажу; Церетели резко-отрицательно относился к Керенскому, Р. Г.). А Б. И. Николаевский, с которым в *Лиге* у А. Ф. Керенского были плохие отношения, однажды на заседании бюро *Лиги*, когда Керенский по какому-то поводу что-то сказал о морали, вдруг резко пробормотал: «После дела Корнилова у вас нет права говорить о морали». Со стороны Николаевского это было и «верхом бестактности» и грубостью. Я был удивлен, что Керенский никак не реагировал, промолчал.

Помню, как однажды у нас за чаем, оставшись после заседания *Лиги*, Керенский в разговоре о мировой войне, рассказал, как его «целовала целая дивизия». Это было в разгар его всероссийской славы. Он приехал на фронт не в окопы, конечно, а в расположение дивизии и произнес перед ней речь, стоя в своем автомобиле. После речи вся, «наэлектризованная» им, дивизия, сломав строй, смяв охрану и кордон, окружавший автомобиль военного министра, ринулась к нему и тут-то и началось «целование целой дивизией». Керенский говорил: – «Знаете, это было черт знает что, я был в полной уверенности, что через полчаса окажусь трупом...»

Как-то, прохаживаясь у нас по большой комнате, Керенский вдруг пропел три слова известного романса – «Задремал тихий сад...» Голос – приятный, сильный баритон. – «Александр Федорович, – говорю, – да у вас чудесный голос!» Он засмеялся. – «Когда-то учился пенью, играл на рояле, потом все бросил...» И после паузы: «И вот, чем все кончилось...» Я понял это так, что Керенский внутренне упрекает кого-то, может быть, «всю Россию», которая «подвела» его, а он ей отдал все таланты. Потом я спросил А. Ф., не имеет ли он отношения к городу Керенску, где я провел свое детство? А. Ф. подтвердил, что имеет. Его дед (м. б. прадед, точно не помню) был протопопом в керенском соборе. – «А вы знаете, что большевики переименовали Керенск? Он же теперь – Ва-

дек», – сказал А. Ф. Да, я знал, что большевики назвали этот старый уездный городок – Вадек, по реке Вад, на которой он стоит. Переименование, конечно, глупое, но большевикам надо же стереть всякое напоминание о Феврале, о Керенском.

Как-то, когда зашел разговор о моем романе «Азеф» и о боевой организации партии эсэров, Керенский, улыбаясь, сказал, что в молодости хотел стать террористом и войти в Боевую, но на приеме у Азефа – «провалился». Азеф его не принял.

В 1974 году я напечатал в «Новом Журнале» (кн. 114) записку О. Д. Добровольской (жены последнего царского министра юстиции), которая рассказывала об отношении А. Ф. Керенского к арестованному государю, о его положительном отзыве о государе и т. д. Но в рассказе Добровольской меня больше всего заинтересовало, что почти каждый вечер (а иногда и ночью) к совершенно измученному за день Керенскому приходили два близких ему человека, с которыми он вместе ужинал, обсуждая «текущие дела». Два человека были: – граф Орлов-Давыдов, до революции один из богатейших людей России, его я встречал в Париже и об этом еще расскажу; другой друг Керенского был великий князь Николай Михайлович, историк. Их ежевечерние (или еженощные) приходы к А. Ф. меня интриговали: зачем? почему? И как-то за ужином у общих знакомых я спросил А. Ф. о записке Добровольской и действительно ли приходил к нему вел. кн. Николай Михайлович? О записке Керенский отозвался, как о правдивой, сказал, что Добровольская жила в казенной квартире министра юстиции, и, въехав в эту квартиру, как министр юстиции Временного Правительства, он, разумеется, ее не выселил, а оставил жить, как жила, заняв только кабинет и одну комнату. О вел. кн. Николае Михайловиче Керенский с доброй улыбкой сказал: – «Да, это верно. Он приходил ко мне *как Никодим*».

Общеизвестно, что вел. кн. Николай Михайлович, политически весьма разумный человек, в дни распутинщины и сухомлиновщины подавал царю записки, предупреждавшие о катастрофе. Но его записки (как и других Романовых) на царя никак не действовали. Династия погибла. Россия рухнула. Ленин расстрелял Николая Михайловича вместе с другими великими князьями. О их освобождении тщетно хлопотал М. Горький. Но Ленин, по Нечаеву, хладнокровно уничтожал всю «великую ектенью». В этих убийствах ему помогал «глава Советского Государства и партаппарата» Яков Свердлов, распорядитель убийства царской семьи. Троцкий пишет, когда он узнал от Свердлова о свершении запланированного убийства, у него, якобы, невольно вырвалось: – «Как, всех?» – «Ну, конечно, всех... в чем дело?» – ответил Свердлов. Это свердловское – «в чем дело?» – остается в истории образцом непревзойденного большевицкого зверства.

Однажды, будучи в гостях у Керенского, я спросил, как ему удалось бежать из Гатчинского дворца, окруженного бушевавшей большевицкой матросней и солдатней, когда казаки ген. Краснова «проголосовали» выдать Керенского большевикам в обмен на свободный пропуск их на Дон. Об этом «бегстве» существовали разные «сплетни», будто Керенский переоделся в костюм сестры милосердия и пр. Керенский рассказал, что этот побег для него самого был неожиданностью. В последнюю минуту к нему в комнату дворца внезапно вошел В. Фабрикант (эсэр) и принес матросскую форму. Не помню, но сам Фабрикант тоже, кажется, был в матросском. Фабрикант торопил Керенского с переодеванием, ибо всякое «промедление» было действительно «смерти подобно». Переодевшись в матросскую форму, Керенский и Фабрикант (с большим риском для жизни) вышли из дворца, сквозь обольшевиченную толпу прошли на улицу, добрались до Китайских ворот и уехали на приготовленном

Фабрикантом автомобиле в приготовленное им же «подполье» – дом в лесу. В эмиграции Фабрикант жил в Нью-Йорке, был связан с американскими рабочими организациями. Умер 92-х лет.

В другой раз я спросил Керенского: – «А. Ф., а где вы были во время открытия Учредительного Собрания?» Керенский помолчал (таинственно), потом сказал: – «в Петрограде, в подполье». Рассказал, что из «подполья» он хотел загримированный по фальшивому пропуску пройти в Таврический дворец на открытие Учредительного Собрания и выступить там открыто с речью против большевиков. «Связным» между ЦК партии эсэров и Керенским был Владимир Михайлович Зензинов. Он приходил к Керенскому на конспиративную квартиру. И в ответ на настойчивое желание Керенского пройти в Учредительное Собрание, чтоб выступить там – последовало категорическое «нет» ЦК партии. Эту категоричность отвода столь сенсационного выступления Керенского за свободу России – с речью на весь мир – ЦК партии эсэров мотивировал тем, что большевицкая солдатня и матросня, якобы, «охраняющая» Учредительное Собрание, в таком случае могла просто открыть сплошной огонь и по Керенскому, и по всем депутатам эсэрам (их было большинство). И Учредительное Собрание кончилось бы «кровавой баней».

Помню, на Монпарнасе в литературной компании поэт Георгий Иванов как-то сказал, что через сто лет – Керенский – это тема для большой драмы. Не знаю. Так как все «кончилось» – эмиграцией и смертью «при нотариусе и враче» – темы для драмы, по-моему, нет. А вот если бы Керенский умер в Таврическом дворце, на открытии Учредительного Собрания, во время героической речи за свободу России – от пуль большевицкой сволочи – тема была бы. И даже раньше, чем через сто лет. Но, как известно, всё кончилось довольно позорно и даже, пожалуй, «ридикюльно», без героизма. Пред-

седатель Всероссийского Учредительного Собрания Виктор Михайлович Чернов и товарищи эсэры вместе с большевиками пропели «Интернационал». А потом матрос Железняк предложил Чернову убираться к чертовой матери. Так Всероссийское Учредительное Собрание исторически и превратилось в «Учредилку».

Наших дедов мечта невозможная,
Наших героев жертва острожная,
Наша молитва устами несмелыми,
Наша надежда и воздыхание, –
– Учредительное Собрание, –
Что мы с ним сделали...?

Граждански-верно писала Зинаида Николаевна Гиппиус.

И. Г. Церетели и А. Ф. Керенский

С воспоминаниями об А. Ф. Керенском у меня невольно сплетается И. Г. Церетели. Потому ли, что оба были главными «действующими лицами» трагедии – «Февраль-Октябрь 1917 года»? Потому ли, что И. Г. часто говорил о Керенском (всегда резко-отрицательно)? Не знаю. Но я чувствую (писательски), что должен сейчас дать очерк об Ираклии Георгиевиче (после Керенского). И нарушая вновь хронологию «России во Франции», дам, что помню о Церетели (и во Франции, и в Америке).[3]

В «России в Германии» я писал о встрече с И. Г. Церетели в Берлине у Станкевичей в 1920 годах. Дал некий набросок его внешности и производимого им впечатления. Высокий, скромно, всегда аккуратно одетый (темно-синий костюм,

[3] Но сейчас дам только те разговоры, которые так или иначе были «политическими», а всё «человеческое» об И. Г. Церетели пойдет в III части трилогии (в «России в Америке»).

темно-красный галстук), красивый, с правильно-грузинскими чертами лица, говор с легким (приятным) кавказским акцентом, Ираклий Георгиевич был немного из тех, о ком Верховенский говорил Ставрогину: «аристократ, когда идет в демодемократию, обаятелен». В Церетели обаяние было, хоть он и не был большим аристократом. И. Г. происходил из небогатого, старинного грузинского дворянского рода. Но «хорошее рождение» и хорошее воспитание в нем чувствовались сразу. В противоположность «бесу» Ставрогину, «к добру и злу постыдно равнодушному», И. Г. добро от зла отличал и этически и эстетически, он был каким-то «цельным», не приемлющим никаких компромиссов. В этом смысле, по-моему, И. Г. был даже как-то труден, чрезмерно ригористичен, что политикам обычно не свойственно.

Может быть именно поэтому в своей зарубежной жизни (около 30 лет) эмигрантской политикой, ни русской, ни грузинской, И. Г. не занимался. В самом начале еще выступал, как представитель независимой Грузии, но скоро оборвалось. Уже этой политической «отстраненностью» Церетели был своеобразен. В конце 20-х гг. он поступил студентом на юридический факультет Парижского Университета и в 1932 году его окончил. Ему было тогда 50 лет.

В Париже с И. Г. я встречался в 1946–48 гг. Первый раз он пришел к нам в квартиру (из одной комнаты) на 253 рю Лекурб, на 5-м этаже, без лифта. Пришел по какой-то просьбе Б. И. Николаевского из Америки. С Николаевским я был в постоянной переписке. А Церетели и Николаевский были давние друзья. Но их дружба, по-моему, была неравная. Церетели хорошо, дружески относился к Б. И., как к верному другу. Николаевский же необычайно заботливо и трогательно любил «Ираклия» (как его всегда называл). Это была высокая дружба. Как рыдал Б. И., когда в Нью-Йорке Ираклий Георгиевич умер!

На рю Лекурб Церетели заходил к нам довольно часто. Мы сошлись. Ираклий Георгиевич особенно хорошо относился к Олечке, вероятно, чувствуя схожую с ним прямолинейность характера («в одну краску»). В те годы я и Олечка, как могли, помогали советским, послевоенным эмигрантам: и материально и морально, кой-кому даже помогли бежать из Европы. Помощь шла из Америки через Николаевского и Зензинова: одежда, кое-какие деньги. И часто наша однокомнатная квартира (и крохотная кухня) были полны этими новыми людьми. И. Г. знал это, но никак этому не сочувствовал. – «Ну, что вы, Р. Б., с этими новыми возитесь? Я уверен, что из них половина провокаторов, я и Б. И. об этом писал», – не то серьезно, не то в полушутку говорил И. Г. Но ни я, ни Б. И. с ним согласны тут не были.

В эти приходы к нам – за чаем – И. Г. рассказывал иногда очень интересно. Как-то он рассказал, как его всячески обхаживали, чтоб он вместе с Маклаковым пошел на прием («на поклон») к советскому послу Богомолову. Известно, что тогда – после победы – русскую парижскую эмиграцию охватил восторг патриотизма. И, естественно, советское посольство бесовски эти русские чувства пыталось использовать (я думаю, по линии КГБ, главным образом). На Ираклия Георгиевича шла особая атака всяких советских патриотов. Это было и понятно. Уговорить пойти на прием к советскому послу И. Г., известного лидера русских и грузинских социалистов, члена II Интернационала, друга Каутского, Ренаделя, Рамадье, Блюма, было куда заманчивей, чем приход правого кадета Маклакова или главы РОВСа, монархиста адмирала Кедрова, которые эту «Каноссу» проделали в феврале 1945 года.

Лобовую атаку на И. Г. Церетели, атаку уговоров, так сказать, сдать свою прямолинейную, ригористическую антибольшевицкую позицию и переступить порог советского

посольства Николаевский в письме ко мне считал проводимой «по личному указанию товарища Сталина». Предположение вполне допустимое. Но Церетели был тверд, как камень. Как-то я спросил его:

– Ираклий Георгиевич, это правда, что пойти на прием к Богомолову вас уговаривал сам Маклаков?

– Правда, – чуть улыбаясь, сказал И. Г., – Но так как я никуда ехать на разговоры не хотел, Маклаков приехал ко мне. И развернул все свои красноречивые доводы, чтобы я вместе с ним отправился на рю де Гренель. Но успеха он, к сожалению, у меня не имел, – улыбался И. Г. – Я спросил его: – Кого же вы будете представлять? Маклаков ответил: – Самого себя. На это я сказал, что представлять Богомолову «самого себя» я не собираюсь...

– И все-таки на вас и после страшно наседали. Мне говорили, будто из СССР приезжал даже какой-то грузин, ваш бывший знакомый?

– Верно. Приезжал. Но успеха тоже не имел...

Тут я заметил, что о визите этого грузина И. Г. не хочет рассказывать. Но именно этот «грузинский визит» и дал Николаевскому повод предположить, что в дело вмешался «лично товарищ Сталин».

– А вы знаете, кто ко мне еще приезжал по этому делу? – с какой-то улыбкой и смеха и полу презренья сказал И. Г., – Георгий Адамович...

Я обмер: – Георгий Адамович?

– Да, да, вот этот самый литературный критик...

Обмер я потому, что такой «глупости» никак не ожидал ни от Адамовича (человека весьма неглупого), ни от тех, кто его подталкивал ехать к совершенно незнакомому И. Г. Церетели с какими-то доводами о «примирении с Россией». Известно, именно в Ге годы Адамович был советским патриотом, сотрудничал в просоветских парижских газетах,

издал весьма просоветскую книгу по-французски «Д'отр патри». Все это так. Но чтобы Адамович, по самой природе своей человек совершенно не политический, решился на роль давателя политических советов – кому? – И. Г. Церетели, известному, опытному политическому деятелю, это могло восприниматься только как комизм. Так это и было воспринято И. Г. На мое крайнее удивление И. Г. продолжал полуиронически, полупрезрительно: – «Да, да, литературный критик Адамович, которого я никогда в жизни не видал, приехал – представьте себе – ко мне с теми же доводами о необходимости „примирения с Россией"»...

– Не убедил? – спросил я, смеясь.

– Увы, нет, – засмеялся и И. Г.

И. Г. любил остроумие. И сам был остроумен. Верхи французской социалистической партии его хорошо знали, и как лидера русских социал-демократов в 1917 году, и как кратковременного представителя Независимой Грузии. И вот как-то на съезд французской социалистической партии И. Г. пригласили как гостя. Считая его, вероятно, гостем почетным, председатель объявил, что среди нас присутствует «наш друг, известный русский и грузинский социалист Ираклий Церетели», и предложил И. Г. выступить с приветствием съезду. Раздались аплодисменты. Для И. Г. предложение было неожиданно. Но председатель жестом предлагает ему выйти на трибуну. Делать нечего. И. Г. поднялся на трибуну. Аплодисменты сильнее. А когда наконец стихли, И. Г. сказал (он хорошо говорил по-французски):

– Дорогие товарищи, я очень польщен (и т. д.)... Но я уже погубил две страны – Россию и Грузию, неужели вы хотите, чтоб я погубил еще третью – Францию...

Говорят, зал буквально взорвался от бури хохота и аплодисментов (французы любят остроумие и умеют его ценить). Под шум всеобщего «восторга», смешанного из смеха и апло-

дисментов, Ираклий Георгиевич и сошел с трибуны. (Сейчас «шутку» Церетели взялся выполнять президент-социалист Миттеран. И, как Бог свят, выполнит.)

Конечно, И. Г. был и оставался социалистом («безработным»). Этого мундира не снимал, сам от себя не отрекался, но в выступлении на съезде было, по-моему, не только «остроумие». Как мне кажется, под остроумием лежало глубокое разочарование и в революции и в революционерах. Помню, как при Николаевском И. Г. как-то мне говорил: – «Роман Борисович, да не слушайте, ради Бога, вы этих меньшевиков! Ведь всех меньшевиков нянька в детстве на голову уронила...»

И Николаевский, и я смеялись. Но и под этой шуткой я чувствовал нечто тоже не совсем шуточное. Недаром И. Г. не сотрудничал в меньшевицком «Социалистическом вестнике», а о некоторых меньшевиках, как например, о Дане отзывался весьма неодобрительно. С Даном у И. Г. дело дошло до разрыва отношений и опубликования открытого письма в «Воле России» (орган эсэров), ибо «Соц. Вестник» письмо Церетели отказывался напечатать.

Известно, что в июльские дни 1917 года резолюцию о возможности вооруженного подавления большевицкого выступления «Совет Рабочих Депутатов» принял под давлением главного из лидеров – И. Г. Церетели. Как-то мы говорили об этом. И. Г. рассказал, как психологически трудно было провести такую резолюцию.

– «Ведь в Совете многие еще считали большевиков товарищами, пусть «заблуждающимися», но товарищами. И вот когда мы (небольшое число членов Совета) убедили принять эту резолюцию, Либер тоже выступил за эту резолюцию, но после с ним произошла истерика, настоящий истерический припадок, он рыдал, как ребенок, говоря, что никогда не мог себе представить, чтоб ему, социалисту, пришлось воору-

женной силой подавлять выступление своих же товарищей-социалистов и рабочих...»[4]

Какова же судьба этого хрупкого (и честного) социалиста Либера при диктатуре его «все-таки товарищей»? Сначала Сталин сослал Либера в Сибирь, а потом – *без всякой истерики!* – расстрелял. Тем «социализм» Либера и кончился. Его судьба (и его истерика) характерны для многих русских и нерусских (иностранных) социалистов. Это их почти религиозная слепота. И *их* судьба быть расстрелянными «своими же товарищами».

В эти годы в Париже я дружил и с Николаем Владиславовичем Вольским (Валентиновым). Н. В. был очень интересным человеком и блестящим писателем. Его книги: «Встречи с Лениным», «Малознакомый Ленин» и др. О нем я буду говорить особо. Но Вольский не любил Церетели, а И. Г. не любил Вольского, отзываясь о нем не иначе, как «человек с нечистой совестью». Почему? Не знаю. Говорят, когда-то, на собеседовании у Бунакова-Фондаминского, между ними произошла какая-то острая стычка. И вот однажды, когда я был у Вольских, он дал мне прочесть свою запись бесед с Плехановым в 1917 году в Москве, когда Плеханов приехал на Государственное Совещание и жил у Вольских. В записи были резкие отзывы Плеханова о Церетели. Приведу их. Вольский

---

[4] В своих «Воспоминаниях о февральской революции» (которые И. Г. так и не окончил) об истерике Либера И. Г., разумеется, не пишет. Но пишет, что во время речи Либера Ю. О. Мартов с места крикнул Либеру: «версалец!». Это было 76 лет тому назад! И теперь такой выкрик (характерный в Совете 1917 г.) представляется совершенно юмористическим. Приклеить социалисту-бундовцу Либеру кличку «версальца» 1871 года, которые под командой генерала Гастона де Галлиффе подавили (слава Богу!) Парижскую Коммуну, было «немножко несоразмерно». Впрочем, когда несколько позже Ленин просто выбросил из Совета Рабочих Депутатов всех меньшевиков с Ю. О. Мартовым во главе, Мартов тоже кричал какие-то «исторические» слова, но они у большевиков истерики не вызвали.

писал: «Говоря о меньшевиках, Плеханов с особенной резкостью относился к Церетели. Он делал это с таким раздражением, что меня, хотя Церетели совсем не был моим героем, – просто коробило. У меня даже мысль промелькнула, уж не завидует ли Плеханов славе Церетели, в то время притягивавшего к себе внимание несомненно больше чем Плеханов. После одной из резких фраз Плеханова по адресу Церетели, я не выдержал и заметил:

– Георгий Валентинович, к Церетели вы очень несправедливы!

Это замечание прямо вздернуло Плеханова на дыбы.

– Обижать Церетели не входит в мои задачи. Его называют талантливым выразителем взглядов меньшевиков, и я, делая *уступку* общественному мнению, тоже называю его талантливым деятелем. Пусть будет так. Престиж Церетели, как видите, внешне поддерживаю. Это очень хорошо, когда нас, стариков, заменяют молодые товарищи. Но я все-таки не вижу, в чем талантливость Церетели? Достаточно ли он образован, чтобы в наше ответственное время играть роль, которую видимо он себе отводит. Я интересовался узнать, в чем и когда Церетели проявил свои теоретические познания – никто не мог на это мне ничего указать. За всю жизнь он не написал, кажется, даже малюсенькой статьи. Никакой теоретической серьезной марксистской подготовки у него повидимому нет. Можно ли теперь без теоретического компаса плавать на российском океане? *А Церетели плавает и паруса его корабля раздувают только Циммервальд-Кинтальский ветер и большие аплодисменты, которыми награждает его невзыскательная аудитория.* На Государственном Совещании мы видели эффектную сцену – выразитель торгово-промышленных кругов Бубликов, под гром аплодисментов, пожимал руку Церетели, выразителю взглядов меньшевиков. Я с Бубликовым после этого говорил, он ясно отдает себе отчет в смысле

и значении этой политической сцены. Но понимал ли ее Церетели – в том имею все основания сомневаться. Продуманности у Церетели нет. Есть только *кавказская декламация*, а с ней одной нельзя понимать ход исторических событий и ими управлять. Если из молодых общественных деятелей, выдвинувшихся в последнее время, взять, например, Савинкова и Церетели, то скажу вам: – за одного Савинкова, понимающего, что Россия гибнет и что нужно для ее спасения, – я *десять Церетели отдам.* Понимания того, что нужно делать, у него нет». (Весь абзац о Церетели отчеркнут Вольским и его рукой написано: «Самая точная передача»! *Р. Г.*)

Дальше Н. В. Вольский писал: – «Будучи у нас Плеханов написал три статьи – одну на тему – Россия гибнет, другую о значении Московского совещания и третью о Церетели. У меня под руками нет сейчас ни одной из них, не помню и их названий, но хорошо помню, что в появившейся в «Единстве» статье о Церетели не было и *сотой доли* тех язвительных суждений, которыми Плеханов его осыпал. Особая злоба, с которой он о нем отзывался, для меня и по сей день непонятна. Не было ли в ней какого-то личного момента? Было бы полезно (для истории) спросить об этом Церетели».

Зная эту запись Николая Владиславовича, я как-то и спросил Церетели, было ли что-нибудь личное в неприязни, с которой иногда выступал против него Плеханов? – «Ну, конечно, было», сказал И. Г. И рассказал следующее (после ухода Церетели я, как всегда, его рассказ записал. *Р. Г.*): – «Плеханов ко мне относился до 1917 года необычайно хорошо. И так он обо мне и писал в книге «Тернии без роз». Там он писал обо мне чрезвычайно лестно и высказывал личные симпатии, что у Плеханова было редко. Встретились мы в 1917 году очень дружески. Я к нему часто заходил. Плеханов сам заговорил со мной о том, что он бы хотел быть введен в Исполнительное Бюро Совета, как и другие известные социа-

листы, с правом совещательного голоса. Сказал об этом Плеханов мне после моего доклада о войне в апреле месяце, когда была принята моя резолюция о необходимости продолжения войны. Я сказал Плеханову, что, конечно, его вступление в Совет чрезвычайно желательно. Но Плеханов тут же мне сказал, что он только не хочет быть оторванным от товарищей, с которыми работал во время войны заграницей, и просит также о введении на тех же основаниях Григория Алексинского. Я ему ответил, что лично у меня к Алексинскому сердце не лежит, объяснил почему и сказал сразу, что это, вероятно, встретит большие затруднения. Но Плеханов стоял на своем очень твердо. Я сказал – хорошо, я передам ваше предложение и ничего не сделаю сам против него, но все-таки думаю, что оно вряд ли пройдет. Когда я об этом сказал в Совете – поднялась целая буря. Дан, Гоц, Чхеидзе и другие и слышать не хотели о вводе Алексинского и его ввод был категорически отклонен. Несколько дней я не звонил Плеханову, он мне позвонил сам. Мы встретились. Я ему сказал, как дело было. И вот тут он обиделся насмерть и обвинил меня в том, что я не хотел этого, он говорил: – «Если б вы поставили вопрос об Алексинском ультимативно, он прошел бы, а вы этого не хотели сделать». Это было началом большой обиды, ибо Плеханов из-за этого не вошел в Совет. После этого Плеханов прекратил мне звонить. Вторым фактом, осложнившим наши отношения, была история с Робертом Гриммом. Плеханов был резко против всех циммервальдцев. Когда Гримм был разоблачен, как грязная личность, я потребовал от правительства его высылки из России. Плеханов это очень приветствовал, но обвинил меня в том, что я не воспользовался историей с Гриммом и не ударил по циммервальдцам вообще. Тут Плеханов написал свою резкую статью обо мне. Но основной обидой был факт неввода Плеханова в Исполнительное Бюро Совета, причем Плеханов приписывал это „нежеланию Церетели“».

Отмечу, кстати, что в этой же записи Н. В. Вольский пишет о Плеханове так: «Плеханов несомненно был человеком злопамятным...» Думаю, эта злопамятность была и в отношении к И. Г. Церетели. Когда И. Г. кончил свой рассказ, я сказал:

– А все-таки очень жаль, что так вышло с Плехановым. Ведь его имя, как «отца русской социал-демократии», его широкие связи в социалистических кругах Запада поддержали бы в Совете разумное, оборонческое крыло.

– Конечно жаль. Но Плеханов сам виноват в этом... – ответил И. Г.

Скажу несколько слов о «ненависти» социалистов к Алексинскому. Ее я наблюдал сам при общении и с эс-деками и с эсэрами. Например, такой, казалось бы, мирный и благожелательный к людям человек, как С. М. Шварц, один из «столпов» «Социалистического Вестника» приходил в совершенный раж при разговоре об Алексинском. Такой, казалось бы, принципиальнейший антибольшевик «при всех обстоятельствах», как М. В. Вишняк, приходил в такое же состояние, когда я говорил с ним об Алексинском. Почему же почти у всех русских социалистов имя Г. А. Алексинского вызывало такую тотальную неприязнь? Я думаю, потому, что Алексинский один из первых обнародовал о связи Ленина с Парвусом и с деньгами немецкого генерального штаба. И эта неприязнь к Алексинскому, по-моему, говорила о том, что где-то в самой глубине глубин *социалистам* было неприятно и компрометантно эдакое чудовищное разоблачение *социалиста* Ленина, как получение им денег от кайзера. Странно? Для меня это было странно. Но у социалистов тут обнаруживалась (несмотря на их непримиримость к большевизму, на их идейную борьбу, на расстрелы, на кровь) какая-то *подсознательная социалистическая* круговая порука. «А все-таки наш».

Разумеется, не у 100%. У Плеханова, Потресова, Чайковского, Бурцева, Брешковской этого не было.

Помню, И. Г. интересно рассказывал о его пути из Сибири, из ссылки – в Петроград, когда началась революция 1917 года. Известно, что революция для всех была неожиданностью. Не только для эмигранта Ленина, но и для россиян внутри страны. Конечно, многие видели, чувствовали всякие неладности в России, ощущали разложение, бессилие власти. И все ж революция была, как снег на голову. Особенно для ссыльно-поселенцев, каким был Церетели в Сибири, оторванных от нормальной жизни.

И вот в один день сногсшибательная весть – в Петрограде переворот... революция... И из столицы от революционного министра юстиции Керенского в Сибирь летят телеграммы, освобождая политических заключенных и ссыльных, а многих именитых из них, как Церетели, Брешковскую и др., превращая в героев. Вчерашние власти (исправники, прокуроры, губернаторы) обязываются оказывать им всяческое содействие в спешном приезде в революционную столицу – в Петроград.

И. Г. Церетели говорил, что путь был длинен и утомителен, ибо на каждой большой станции их встречали революционные толпы, красные знамена, цветы, приветственные речи, на которые надо было отвечать речью. Не помню точно где, кажется, в Томске ссыльных встретила несметная радостная революционная толпа и какой-то прапорщик, местный лидер, зная, что Церетели противник войны, доложил ему, что они тоже «против войны», и давно уже задержали отправку целого поезда с снарядами для фронта. Прапорщик просил у Церетели его одобрения-распоряжения.

– Это был первый случай, когда я был поставлен лицом к лицу с реальной жизнью. И понял, что обязан взять на себя ответственность. Конечно, верно, я как социалист, был против

войны, но я понимал, что произойдет на фронте, если на каждой российской станции начнут останавливать поезда с снарядами. Пришлось выступить перед толпой и перед ее делегацией, сказав, что такие самовольные задержки поездов с снарядами – вещь невозможная. А вы подумали, товарищи, о том, что может произойти на фронте с нашими братьями в окопах, если мы лишим их снарядов? Ведь немцы этим воспользуются.

И делегация и толпа поняли. И революционный прапорщик «отрапортовал» Церетели, что поезд с снарядами будет немедленно отправлен по назначению[5].

– Вообще наше положение социалистов, членов Совета, психологически оказалось очень трудным, – говорил И. Г. – Ведь вся наша жизнь была борьбой с правительством, с существующим государственным строем, с государственной властью и вдруг в один день революция поставила нас почти что на место правителей государства. Но правители государства обычно люди совершенно иной природы и иной психологии. В среде революционеров было всегда естественное отталкивание от «государства», от «власти». И среди нас не было людей с психологией «государственных деятелей». Этим и объясняется, что Керенский, изображавший из себя «государственника», плавал на поверхности, на этом и играл, не будучи вовсе годным для подлинно государственной работы. К тому же наше положение в Совете было психологически трудно и тем, что – помните, какая вырвалась тогда из народных глубин страшная стихия ненависти, мести, разрушения. Мы – большинство Совета – были, разумеется, против нее и пытались ввести ее в какие-то берега революционной законности и порядка. А вот Ленин, наоборот, всячески разнуздывал эту стихию, чтобы на ее волнах прийти к власти. Разумеется, его путь был не труден, но это был не наш путь.

---

[5] В своих «Воспоминаниях о Февральской революции» И. Г. рассказывает о подобном же случае в Иркутске.

И. Г. рассказывал, как, приехав из Сибири в Петроград, он вскоре был у Керенского: – «В этом разговоре Керенский рассказал мне следующее. Знаете, говорил он, меня всегда губили друзья. Когда начались волнения в Петрограде, у меня была *интуиция* (И. Г. подчеркивает это слово, действительно характерное для Керенского, часто его употреблявшего. Р. Г.), что петроградские волнения перейдут в революцию и солдаты обязательно придут к Государственной Думе. И я хотел пойти в казармы, чтоб *самому* вывести солдат на улицу и привести их к Думе. Но друзья (Керенский был близок тогда с Н. Н. Сухановым /Гиммером/, с Н. Д. Соколовым, Р. Г.) меня от этого отговорили, они не верили в революцию. А вы понимаете, ведь было бы совершенно иное дело, если бы *я лично* (подчеркнуто в рассказе Церетели, Р. Г.) привел солдат к Думе!»

Церетели говорил, что в первую встречу этим рассказом Керенский вызвал в нем чувство «презрения» (буквальные слова Церетели, Р. Г.), ибо он увидел, что «у него *всё* вертится вокруг него самого». – «Ведь у него за душой ничего нет, гроша ломаного, – говорил Церетели. – Он – и ничего больше. Вот у Корнилова была идея, была Россия, за нее он и погиб. А у Керенского – ничего. Паяц».

Известно, что Милюков, Плеханов, Гучков, Набоков (управляющий делами Временного Правительства) и многие политики относились к Керенскому отрицательно. И все же мне казалось, что Церетели как-то уж слишком «нажимает педаль», столь уничтожительно трактуя Керенского. Когда он назвал его «паяцом», я сказал: – «Стало-быть, вы согласны с стихотворением Зинаиды Гиппиус?» – «А я его не знаю». – Я привел: «Проклятой памяти безвольник / И не герой, и не злодей / Пьеро, болтун, порочный школьник / Провинциальный лицедей». – «Вполне», – ответил Церетели.

Гораздо больше разговоров о Керенском у нас было в Нью-Йорке, в скромной квартире И. Г. Церетели на Бродвее

3605 (около 148 улицы). Приходя домой, я записывал рассказы, так же как и в Париже. Как-то я спросил И. Г. об отношении Совета Рабочих Депутатов к Керенскому. Церетели сказал: – «Там у него не было никакого влияния, там его, в сущности, *все* презирали, а поддерживали только потому, что никого другого на роль «заложника» во Временном Правительстве найти было нельзя. Поэтому Керенского и терпели. И со стороны кадетов к нему было такое же отношение (особенно у Набокова и Милюкова), но им Керенский был тоже нужен по той же причине, другого «заложника» и у них не было. Приходилось его терпеть. Вот он и болтался, делая свои «жесты».

Как-то заговорили о заговоре Корнилова и о роли в нем Керенского и Савинкова. Церетели сказал: – «Савинков не играл двойной роли, все мы знали, что он с Корниловым, но у них были расхождения. Савинков поддерживал Корнилова в его восстании против революционной демократии, но не поддерживал его действий против Временного Правительства, тут они расходились. Во время восстания Корнилова я у Савинкова был (Савинков в то время был назначен Керенским – генерал-губернатором Петрограда. Р. Г.) и прямо его спросил: за кого он? И будет ли он честно выполнять свои обязанности борьбы против Корнилова? Надо сказать, что в это время Савинков уже заискивал перед большинством Совета, и он дал мне слово, что будет действовать *честно*. У Керенского же, – продолжал Церетели, – была подлинно двойная игра. Он вел с Корниловым переговоры, но хотел сам возглавить восстание. Корнилов же этой роли ему не давал. Из-за первой роли произошел разрыв. Когда Керенский увидел, что Корнилов первой роли ему никогда не даст, а может быть и расправится в конце концов с ним самим, Керенский и переметнулся к революционной демократии. Я виделся с Керенским во время восстания Корнилова. На него

было жалко и противно смотреть. Это был совершенно потерянный человек. Он мне сказал: – Некрасова и Терещенко я уже не вижу два дня. Меня все покинули. Все. – И вдруг он отодвигает ящик письменного стола, вынимает револьвер и прикладывает к виску с какой-то жалкой, глупой и деланной улыбкой. Он, вероятно, думал, что этот плохой актерский жест произведет на меня впечатление. Но на меня это не произвело решительно никакого впечатления, кроме чувства презрения и гадливости. Он мне тогда был просто противен. И, вероятно, почувствовав это, он как-то неловко отнял револьвер от виска и спрятал его в стол. Зато, когда Корниловское выступление было подавлено, Керенский распушил хвост и вел себя так, будто это он подавил. Он вел себя опять, как «вождь». На самом же деле во время выступления Корнилова Керенский был совершенно жалок. А после Корниловского выступления и правые (кадеты) и левые (Совет) настолько презирали Керенского, что встал вопрос о его смещении. Для этой цели начались переговоры (негласные). От кадетов в них участвовали Набоков и Аджемов, а от Совета – я».

Церетели говорит, что об этом Набоков пишет в своих мемуарах, но не пишет об одном разговоре, самом интересном. У Церетели была мысль вместо Керенского выдвинуть В. В. Руднева[6] или ген. Верховского или же, как он сказал, «на худой конец» Авксентьева. Но при переговорах с Набоковым все это провалилось, ибо Набоков, выслушав Церетели, сказал: – «Одним словом вы хотите вести вашу политику через человека более сильного, более подходящего, дабы ваша политика была более удачной. Но мы этого не хотим. Ведь вы же не согласитесь на наших кандидатов? Например, на Ми-

[6] В. В. Руднев в 1917 г. был избран городским головой Москвы, а в эмиграции – редактор «Современных Записок». Я Вадима Викторовича хорошо знал и буду о нем писать ***Р. Г.***

люкова?». – Церетели сказал: – «Конечно, нет». – «На Алексеева?». – «Тоже нет». – «Так, как же? Вы знаете, как я отношусь к Керенскому. (Набоков относился к Керенскому с полным презрением, – буквальные слова Церетели. Р. Г.). Но пусть уж он остается, мы предпочитаем, чтоб он как-нибудь дотянул до Учредительного Собрания. Лучших руководителей мы не хотим». – «Так все и осталось», – говорил И. Г.

Церетели говорил даже, что в возможности подавления восстания большевиков это отталкиванье от Керенского сыграло «некоторую роль». «Поддерживать Керенского» не хотели ни правые, ни левые, а этим пользовались большевики. Правильно писал один мемуарист, что победой над Корниловым «Керенский наголову разбил самого себя и тем похоронил „Февраль“».

Помню, Н. В. Вольский (под своим псевдонимом «Юрьевский») напечатал в «Соц. Вестнике» (окт. 1953) статью о московском Государственном Совещании и об известной речи на нем А. Ф. Керенского. По-моему, не желая портить личных отношений с Керенским, Вольский завуалировал многое из этой речи, представив Керенского в образе «Алеши Карамазова». Н. В. писал, что во время речи в заседании царило «страшное напряжение»: съезд увидел перед собой «Алешу Карамазова». Церетели этой статьей возмутился до крайности: – «Статья Юрьевского просто глупая, «страшное напряжение» было, но вовсе не оттого, что съезд увидел перед собой Алешу Карамазова, а оттого, что все увидели в Керенском – дешевого актера, Гамлета Щигровского уезда, от этого все себя так и чувствовали».

Когда я спросил И. Г., неужто в речи Керенского действительно было всё это: – «я растопчу цветы души моей», «я замкну сердце и брошу ключ в море», Церетели махнул рукой, сказав: – «Ну, конечно, все это было. И еще худшее было. Я правил стенограмму речей для печати. Из его речи я выбро-

сил множество этих ужасающих глупостей, но всех выбросить, конечно, не мог и то, что появилось в печати – точно и верно. Эта его речь была убийственна не только для него, как политического деятеля, но и для всего Временного Правительства, ибо все увидели, кто стоит во главе страны...»

В упоминавшейся записи Н. В. Вольского о его разговоре с Плехановым в августе 1917 года есть отзыв Плеханова и об этой речи Керенского: – «Плеханов мне мрачно заявил, что никогда он не мог предположить, что Керенский захочет поставить себя в такое смешное и жалкое положение. – «Что такое Керенский? Ведь он не только русский министр, а глава власти, созданной революцией. Слезливый Ламартин был всегда мне противен, но Керенский даже не Ламартин, а Ламартинка, он не лицо мужского пола, а скорее женского пола. Его речь достойна какой-нибудь Сарры Бернар из Царевококшайска. Керенский это девица, которая в первую брачную ночь так боится лишиться невинности, что истерически кричит: мама, не уходи, я боюсь с ним остаться!» (Весь абзац подчеркнут Вольским и его рукой написано: «абсолютно точная передача!» Р. Г.).

Признаюсь, мне неприятно приводить эти жестокие отзывы об А. Ф. Керенском потому, что Керенский, как политический деятель (несмотря на все недостатки), никогда не был «человеком Зла». «Людьми Зла» были Ленин, Троцкий, Зиновьев, Сталин, которым было «наплевать на Россию», «плевать на народ». Керенский был, конечно, «человеком Добра». Он любил Россию, любил народ и хотел ему добра. Но я привожу цитаты потому, что это – *история.* И от нее никуда не уйти.

Сейчас я нарочно возьму отзыв друга Керенского, Федора Августовича Степуна, который до конца жизни относился к Керенскому дружественно, а в 1917 г. был у Керенского начальником политического отдела военного министерства.

Вот что пишет Ф. А. о той же речи Керенского на Государственном Совещании: – «...Керенский угрожал темным силам, с которыми всё время боролся и от которых искал защиты у собравшихся в Большом Театре. Заговорив со своими невидимыми врагами, Керенский, и без того замученный и затравленный, вдруг потерял всякое самообладание. Его сильный, выносливый голос стал то и дело срываться, переходя минутами в какой-то зловещий шопот. Чувство меры и точность слов, которые никогда не были сильными сторонами ораторского дарования Керенского, начали изменять ему. С каждой фразой объективный смысл его речи всё больше и больше поглощался беспредельным личным волнением. Зал слушал с напряженным вниманием, но и с недоумением. Я сидел на эстраде совсем близко от стола президиума. По лицу Керенского было видно, до чего он замучен и, тем не менее, в его позе и в стиле его речи чувствовалась некоторая нарочитость; несколько театрально прозвучали слова о цветах, которые он вырвет из своей души и о камне, в который он превратит свое сердце... Но вдруг тон Керенского снова изменился и до меня донеслись на всю мою жизнь запомнившиеся слова: «Какая мука всё видеть, всё понимать, знать, что надо делать и сделать этого не сметь!» Более точно определить раздвоенную душу «Февраля» невозможно. Керенский говорил долго, гораздо дольше чем то было нужно и возможно. К самому концу в его речи слышалась не только агония воли, но и его личности. Словно желая прекратить его муку, зал на какой-то случайной точке оборвал оратора бурными аплодисментами. Керенский почти замертво упал в кресло».

Уже это описание речи Керенского Ф. А. Степуном подтверждает, что отзывы И. Г. Церетели были объективно правдивы.

Однажды в Нью-Йорке Керенский, (я думаю) зная об отношении к нему Церетели, и зная, что я хорош с И. Г. и встречаюсь с ним, как бы обронил в разговоре: – «Не понимаю, почему мои отношения с Ираклием в Нью-Йорке както испортились, в Париже у нас были дружеские отношения». Я понял, это говорится для того, чтоб я передал Церетели. Я передал. На что И. Г. ответил: – «Всё он по обыкновению врёт. Никогда у меня с ним хороших личных отношений не было. В Париже он передо мной заискивал потому, что у меня были дружеские отношения с видными французскими социалистами – Пьером Реноделем, Рамадье и другими. А у него никакой связи с ними не было. Вот он и хотел, чтобы я его с ними свел».

В 1951 году в Нью-Йорк из Германии приехал Николай Владимирович Воронович. Воронович – военный, с красочной биографией. В прошлом – камер-паж вдовствующей императрицы Марии Федоровны[7]. В 1917 году (можно сказать) – «камер-паж» Александра Федоровича Керенского. Примкнув к эсэрам в революцию, Воронович остался верен Керенскому (и близок) до смерти: и в революцию и в эмиграции. В гражданской войне Воронович был ни красным, ни белым, а «зеленым» («зеленая армия, кустарный батальон») и командовал «зелеными» где-то в горах Крыма. Это он интересно описал («Меж двух огней», «Архив русской революции», № 7).

И вот как-то у нас на 113 улице в Нью-Йорке Н. В. рассказал мне историю, в которую я спервоначала не очень поверил. Воронович говорил, что когда государь с семьей был отправлен из Царского в Тобольск, в Петрограде создалась группа офицеров, поставившая задачей организацию побега царской семьи из Тобольска. У Вороновича с этой группой

[7] См. книгу Вороновича «Записки камер-пажа императрицы». Н. И. 1952.

была связь. И он сказал мне, что на подготовку побега государя с семьей он (Воронович) передал этой группе офицеров два миллиона рублей, полученных им (Вороновичем) от А. Ф. Керенского из «секретных фондов».

Несколько ошеломленный рассказом, я спросил Николая Владимировича: – «Ну, а почему ж эта попытка не удалась?» – «Почему? Да потому, что офицеры разворовали деньги и пропили». И добавил: – «Если б я это только мог предвидеть, я сам бы взялся за это дело». Одну фамилию из офицерской группы он называл – ротмистр Марков.

Тому, что деньги «разворовали и пропили» я не удивился. Революция ведь разложила вовсе не только солдат, но и офицеров (и даже генералов!). На эту тему можно было бы написать документально-исторический труд. К сожалению, он не написан. О таком же разворовании денег рассказывает монархист полковник Ф. В. Винберг[8] (член Рейхенгальского монархического съезда) в книге «В плену у обезьян. Записки контрреволюционера». Оказывается, суммы, полученные группой офицеров на поднятие восстания в Петрограде в дни корниловского мятежа, были растрачены и пропиты. Глава заговора Гейман решающую ночь пьянствовал в «Вилла Родэ», а главные заговорщики полк. Сидорин и де Симитьер оказались «в нетях».

Через несколько дней после рассказа Вороновича я завтракал с А. Ф. Керенским на Ист Сайд в его любимом скромном ресторане. Я сказал ему о рассказе Вороновича и спросил: правда ли это? Керенский недовольно насупился и отрывисто пробормотал: «Не знаю, не знаю, ничего не могу сказать... После моей смерти мой архив будет опублико-

---

[8] С полковником Ф. В. Винбергом я вместе сидел в Киевском Педагогическом Музее под арестом у петлюровцев в декабре 1918 года. Должен сказать, что при переговорах с петлюровцами в музее Ф. В. Винберг держал себя с исключительным достоинством.

ван», – и быстро перешел к другим темам. Про себя я подумал: Керенский не опроверг? А то, что не хочет мне говорить – понятно. Я решил спросить Церетели. И. Г. мог и слышать об этом, и во всяком случае знал тогдашнюю обстановку.

Вскоре, сидя у Церетели, я рассказал ему и о рассказе мне Вороновича, и об ответе Керенского на мой вопрос. – «Как вы думаете, И. Г., это могло быть?», – спросил я. Я ждал, что И. Г. засмеется, махнет рукой и скажет: «Какая болтовня! Какая чепуха!». Но этого не последовало. И. Г. задумался, у него иногда это бывало: прежде чем ответить на к. н. вопрос, он довольно долго молчал. Потом И. Г. спокойно и серьезно сказал, подчеркивая каждое слово: – «Это вполне могло быть, это вполне в духе Керенского, в его стиле». По ответу Керенского и по ответу Церетели я понял, что Воронович сказал мне правду: – Керенский ему эти деньги дал!

Русский Париж

Собственно, в Париж я приехал к шапочному разбору. Через шесть лет началась «странная войнишка» («drôle de guerre»;. А вскоре ее «странность» перешла в страшность. Под военные марши немцы «вмаршировали» в Париж. Въехало, разумеется, и Гестапо. А за ним и сам Гитлер. Русский Париж приказал долго жить. Его расцвет (даже блеск!) приходился на конец 1920-х годов. Чего тогда и кого тогда тут не было! Новее ж в 1933-м году я еще захватил «отблеск» этого потрясающего русского Парижа, этой замечательной «унесенной России».

Читателю, конечно, придется (как и при описании русского Берлина) на нескольких страницах зевнуть, ибо говоря культурной, общественной, политической, литературной жизни русского Парижа я должен дать много «сухих перечней»: русских знатных лиц, русских культурных организаций,

русских православных церквей, русских газет, журналов, русских театров (оперы, драмы, балета). Этих «декораций» требует моя главная тема – «унесенной России». Кстати, когда первый том моей трилогии давно уже печатался, я наткнулся в «Вестнике РХД» на опубликование неизвестных стихотворных черновиков Влад. Ходасевича. Среди них: «А я с собой мою Россию / В дорожном уношу мешке». Прочтя, я ощутил совпадение чувств. Стало-быть у Ходасевича тоже было ощущение «уноса» подлинной России, навсегда и необратимо канувшей в Лету, как былая Эллада. Ведь в СССР[9] у большинства населения разрушена память о прошлой России, отняты ее традиции, отнята мысль, слово и духовно советское население омертвело: «мертвые молчат и живые молчат, как мертвые». Все вышло по «Бесам» Достоевского: «...всё к одному знаменателю... полное послушание, полная безличность!», говорит Верховенский. И Бердяев в «Новом Средневековье» правильно подтверждает: – «Советское строительство ужаснее и кошмарнее советского разрушения. Это система Шигалева, система скотоводства, примененная к людям». Умно сказал о советских людях один видный советский ученый, побывавший в командировке на Западе, своему старому другу-эмигранту: «Мы как собаки, всё видим, всё понимаем, а сказать ничего не можем».

Итак! Русский Париж!

Православные церкви

В царствование императора Александра II-го, как раз в год освобождения крестьян, в Париже на рю Дарю был построен прекрасный, русско-византийского зодчества собор Св. Александра Невского. Так он и стоял единственный русский пра-

[9] Я развертываю эти инициалы, как «СОЮЗ СУКИНЫХ СЫНОВ РЕВОЛЮЦИИ», но это не «ругань», а «суть дела».

вославный храм в Париже до лет всероссийского потопа и революционного развала России. После гражданской войны Франция и (особенно) Париж наводнились русскими эмигрантами «всех прав и состояний», от крестьян до князей. Сколько их приехало во Францию не знаю. Думаю две-три сотни тысяч. Ведь всего в мире российских эмигрантов оказалось тогда больше двух миллионов.

И когда я въехал в Париж православных храмов в нем было уже больше тридцати. Укажу только те, что знаю: – церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (15-й аррондисман), Свято-Серафимо-Покровский храм (15-й), храм Знамения Божьей Матери (16-й), храм Всех Святых в Земле Российской Просиявших (16-й), храм Сергиевского Подворья (19-й), Галлиполийская церковь (16-й), церковь Покрова Пресвятой Богородицы (15-й), церковь Всех Скорбящих Радости (5-й), церковь Трех Святителей (15-й). Всех в районе «большого Парижа» перечислить не могу. Знаю, что в двадцатых годах в епархии митрополита Евлогия (Георгиевского), возглавлявшего русскую православную церковь в Зап. Европе, было больше 100 приходов. Так что эмиграция, унесшая Россию, унесла с собой и свою православную церковь.

Высшие учебные заведения[10]

В Париже было семь русских высших учебных заведений. При Парижском Университете на трех факультетах были открыты русские отделения. Привлечено – больше сорока русских ученых. Отмечу лишь некоторых. На юридическом – международное право – Б. Э. Нольде, А. А. Пиленко; полити-

[10] Мои перечни учреждений, лиц и указания на книги далеко не полны. Я уже говорил, что не пишу ни историю эмиграции, ни библиографию эмигрантских изданий. Я делаю только некий *набросок* русской культурной жизни в Париже, который дал бы примерное о ней представление. *Р. Г.*

ческая экономия – А. Н. Анцыферов, М. А. Бунатян; государственное право – А. Л. Байков, В. Н. Сперанский, П. П. Гронский; финансовое право – М. В. Бернацкий, А. М. Михельсон; гражданское право – В. Б. Эльяшевич; история государственных учреждений – Д. М. Одинец; уголовное право – В. Д. Кузьмин-Караваев. На физико-математическом – Д. П. Рябушинский, С. И. Метальников, Э. Г. Когбетлианц, С. Н. Виноградский и др. На историко-филологическом: – Н. К. Кульман (русская литература), А. В. Карташев (история русской церкви), М. Л. Гофман (пушкинист), А. Левинсон, Г. Лозинский, К. Мочульский и др.

Франко-Русский Институт (высшая школа социальных, политических и юридических наук, дипломы которой были равны дипломам французских факультетов). Этот Институт имел целью «подготовку молодых кадров для общественной деятельности на родине». Увы, сие «не состоялось» и «молодые кадры» осели во Франции, став французами. Председателем Франко-Русского Института был известный социолог Гастон Жез, председателем совета профессоров П. Н. Милюков.

На Сергиевском Подворье – на частные эмигрантские пожертвования со всего света – создался Православный Богословский Институт. Преподаватели – видные философы и богословы, авторы многих трудов: А. В. Карташев («Очерки по истории русской церкви», «Воссоздание Святой Руси», «Вселенские соборы» и др.), о. С. Булгаков («Православие», «Карл Маркс, как религиозный тип», «Икона и иконопочитание» и др.), В. В. Зеньковский («Русские мыслители и Европа», «История русской философии» 2 тома, «Основы христианской философии» и др.), Г. В. Флоровский («Пути русского богословия»), С. Л. Франк («Духовные основы общества», «Непостижимое», «Свет во тьме», «С нами Бог» и др.), арх. Киприан (Керн – «Евхаристия», «Патрология IV века», «Антропология св. Григория Паламы» и др.),

С. С. Безобразов (еп. Кассиан), («Христос и первое христианское поколение», «Царство Кесаря перед судом Нового Завета»), В. Н. Ильин («Мистицизм и мистерия», «Шесть дней творения» и др.), Г. П. Федотов («Святые Древней Руси», «Св. Филипп, митрополит Московский» и др.), Н. С. Арсеньев («Безбрежное сияние» и др.). О работе Богословского Института есть английская книга, большого друга русской эмиграции, Дональда (Ивановича) Лаури «Св. Сергий в Париже», Лондон, 1954.

Земско-городской Союз открыл Русский Коммерческий Институт. Профессора – А. П. Марков, Л. Г. Барац, М. В. Бернацкий, К. О. Зайцев, Я. М. Шефтель, А. А. Титов, П. Н. Апостол, В. Ф. Сологуб, А. М. Михельсон и др. Земгору же вместе с Русской Академической Группой принадлежит создание Русского Народного Университета с многими разнообразными отделениями. Существовал и Русский Политехнический Институт, имевший заочные курсы, которые помогли многим эмигрантам приобрести нужную техническую квалификацию.

ИМКА помогла созданию Русского Высшего Технического Института. Председатель – П. Ф. Андерсон, помощник – проф. П. Паскаль. Совет профессоров – проф. П. Ф. Козловский, проф. Н. Т. Беляев, проф. Д. П. Рябушинский и др.

И наконец существующая доныне (можно сказать «знаменитая») – Русская Консерватория имени С. В. Рахманинова, помещающаяся в приятном особняке на авеню де Нью-Йорк (в мои времена – авеню де Токио). Ее создало Русское Музыкальное Общество. Классы – рояля, скрипки, виолончели, пения, духовых инструментов, теории музыки, вокального ансамбля, дикции, декламации, балетная студия. Директор – Н. Н. Черепнин. Преподаватели – Вл. И. Поль, О. Н. Конюс, С. Мелик-Беглярова, Б. Зак, А. Ян-Рубан, А. А. Бернарди, Н. Н. Кедров, В. И. Страхов, В. Вальтер, Ю. Конюс, Г. В. Око-

роков, Ф. Гартман, Е. Гунст, П. Видаль, Н. Н. Черепнин, кн. С. М. Волконский, А. И. Лабинский, Н. А. Шамье, С. М. Лифарь и др.

Упомяну еще (хоть и не дававшие никаких дипломов) – Высшие Военные Курсы генерала генерального штаба Н. Н. Головина, автора ценного многотомного труда «Российская контр-революция в 1917–18 гг.»

Ученые, философы, писатели

Говоря о русских культурных силах за рубежом нельзя обойти выдающихся русских ученых, работавших во французских научных учреждениях. Так, в Пастеровском Институте – всемирно-известный академик Сергей Николаевич Виноградский стоял во главе отдела по исследованию микробиологии почв. Для него было куплено специальное владение, где были построены лаборатории. С. Н. проработал там 30 лет, после его смерти заместителя не нашлось и лаборатории закрылись. В Пастеровском же Институте работали проф. С. И. Метальников, д-р И. И. Манухин, проф. А. Безредка (бывший еще сотрудником Пастера;. Работали доктора – В. Н. Крылов, П. Н. Грабарь, Л. И. Кепинов, А. М. Гелен (рожд. Щедрина), К. Туманов, В. Шорин, В. М. Зернов, М. А. Волконский и др. Во французском Аэродинамическом Институте – всемирно известный в научных кругах проф. Дмитрий Павлович Рябушинский. В лабораториях Коллеж де Франс – знаменитый химик Алексей Евгеньевич Чичибабин, одна из лабораторий там так и называлась «Лаборатория Чичибабина». Большую работу во Франции проделал известный зоолог К. Н. Давыдов, член Французской Академии, автор свыше 50 научных работ.

Перейду к вольным философам. В Кламаре (пригород Парижа) в двухэтажном особнячке жил, высланный из большевицкой России, Н. А. Бердяев. «Кламарский мудрец». Этот

особняк подарила Бердяеву какая-то состоятельная иностранка, поклонница его «персонализма». За годы изгнания Бердяев написал множество (подчас противоречивых) книг: «Миросозерцание Достоевского», «Смысл истории», «Философия неравенства», «Новое средневековье», «Философия свободного духа», «Христианство и классовая борьба», «О назначении человека», «Судьба человека в современном мире», «Самопознание», «О рабстве и свободе» и др. Бердяев был, конечно, глубокий, интересный писатель. Здесь не место о нем говорить по существу. Но меня у Бердяева всегда как-то коробили его страстные «филиппики» против, так называемой, «формальной демократии»: – «Этому умиранию демократии нужно только радоваться, так как демократия ведет к «небытию» и основана не на истине, а на формальном праве избирать какую угодно истину или ложь» («Новое средневековье»). То же было и у о. Сергия Булгакова: «Религиозно-революционное, апоклипсическое ощущение «прерывности» роднит меня неразрывно с революцией, даже – horribile dictu с русским большевизмом. Отрицая всеми силами души революционность, как мировоззрение и программу, я остаюсь и, вероятно, навсегда останусь «революционером» в смысле мироощущения» («Автобиографические заметки»). А я, грешный, пройдя сквозь ту же революцию, на старости лет думаю, что экзистенциально оправданней и мудрее бытие самого что ни на есть распоследнего «обывателя» чем какого-то там «революционера», указующего «путь человечеству». «Смирись, гордый человек!»

Мне был странен самый простой *жизненный факт*: заушаемая Бердяевым «формальная демократия» (пусть со всеми ее недостатками, зависимостью от обывателя, политическими плутнями, демагогией!) дала Бердяеву (и Булгакову) возможность в течение десятилетий полностью проявить себя, свои творческие силы, свою недюжинную личность («персо-

нальность»). Живя в «формальной демократии» Бердяев спокойно мыслил, свободно написал множество книг (с поношениями «формальной демократии»!) и незадолго до смерти получил высокое признание: – доктор honoris causa знаменитого Кембриджского Университета (как известно, Великобритания – колыбель и цитадель «формальной демократии»), чего за всю семисотлетнюю историю Кембриджа из русских удостоились лишь Чайковский и Милюков. И умер Бердяев в своем «кламарском уединении» (подаренном ему «недорезанной буржуйкой») спокойно, окруженный заботами близких. Ну, а если бы он не был «выслан», а как отец Павел Флоренский остался бы жить там, в отечественной сатанократии, которой под конец жизни Бердяев неожиданно стал слать «воздушные поцелуи». Об этом Бердяеве хорошо написал Г. П. Федотов: «ослепший орел, облепленный советскими патриотами». Нет никакого сомнения, что в СССР Бердяев был бы уничтожен на Архипелаге ГУЛАГ, как и автор «Столпа и утверждения истины» о. П. Флоренский, которого В. В. Розанов считал «умнейшим человеком России». Погиб о. П. Флоренский где-то на каторге в районе Соловков. Вероятно, Бердяев был бы уничтожен даже много раньше, ибо отец Павел был не только христианский мыслитель, но и выдающийся математик и физик, и большевицкая мафия долго эксплоатировала этот его гений. Бердяев же ничего подобного дать мафии не мог и уничтожение его (как множества других представителей русской культуры) наверняка произошло бы «ускоренным темпом». Поэтому, читая книги Бердяева с всяческими (разумеется, «сверхмудро», «духовно» обоснованными) выпадами против «формальной демократии», я всегда думал: – слава Богу – как хорошо – что Бердяев живет-таки в «формальной демократии».

Вровень Бердяеву в смысле философского международного влияния, стоял Лев Шестов («Добро в учении Толстого и

Ницше», «Достоевский и Ницше», «Власть ключей», «На весах Иова», «Афины и Иерусалим», «Киркегард и экзистенциальная философия», «Умозрение и откровение» и др.). Другие русские философы, связанные с Парижем: – Ф. А. Степун («Жизнь и творчество», «Лик России и лицо революции», «Достоевский и Толстой», «Мистическое мировоззрение» и др.); Б. П. Вышеславцев («Русская стихия у Достоевского», «Этика преображенного эроса», «Трагизм возвышенного и спекуляция на понижение», «Вечное в русской философии» и др.); попавший после войны в лапы советов и трагически погибший в концлагере Л. П. Карсавин («Философия истории», «О сомнениях в науке и в вере», «Церковь, личность и государство», «Джордано Бруно» и др.).

Блестяще была представлена русская художественная проза и поэзия. После большевицкого переворота (не ошибусь, если скажу) большинство русских известных прозаиков ушло в эмиграцию. Остались второстепенные – Телешов, Новиков, Серафимович и др. Среди эмигрантов были и «старики», как П. Д. Боборыкин («Китай-город», «Дельцы», «Жертва Вечерняя» и др.); Вас. Ив. Немирович-Данченко («Страна холода», «Плевна и Шипка», «Соловки», «Цари биржи» и др.). В отрочестве от родителей я слышал его фамилию «измененной» на «Не в меру Вранченко». Так, оказывается, его прозвали давным давно за корреспонденции с театра военных действий (1877–78). Но оба старейшины русской прозы не попали в Париж. Боборыкин поселился в Швейцарии, где и умер. Немирович-Данченко – в Праге. Не в Париже умерли и Леонид Андреев (Финляндия), Александр Амфитеатров (Италия), Евг. Н. Чириков (Прага), А. Аверченко (Прага).

В Париже жили – И. А. Бунин («Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», «Лика», «Окаянные дни», полн. собр. сочинений), А. И. Куприн («Юнкера», «Елань», «Храбрые беглецы» и др.), Б. К. Зайцев («Анна», «Дом в Пасси», «Путешествие

Глеба», «Золотой узор», «Древо жизни» и др.), И. С. Шмелев («Солнце мертвых», «Пути небесные», «Неупиваемая чаша», «Лето Господне» и др.), А. М. Ремизов («В розовом блеске», «Взвихренная Русь», «Огненная Земля», «Посолонь», «Звезда Надзвездная» и др.), Д. С. Мережковский («Рождение Богов», «Наполеон», «Тайна Запада», «Иисус Неизвестный», «Франциск Ассизский», «Данте» и др.), М. А. Осоргин (Ильин) («Сивцев вражек», «Вольный каменщик», «Свидетель истории», «Книга о концах» и др.), Н. Н. Евреинов («Театр вечной войны», «Шаги Немезиды», «Чему нет имени», «История русского театра» и др.), П. П. Муратов («Образы Италии», «Эгерия», «Магические рассказы» и др.), В. В. Вейдле («Умирание искусства», «Вечерний день», «Задача России» и др.), М. А. Алданов (Ландау) («Св. Елена», «Девятое Термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Ключ», «Бегство», «Истоки» и др.), Тэффи («Восток», «Черный ирис», «Стамбул и солнце», «Тихая заводь», «Городок», «Воспоминания» и др.), Б. Темирязев (Ю. Анненков) («Сны», «Тяжести», «Рваная эпопея» и др.), С. С. Юшкевич («Вышла из круга», «Дудка», «Голубиное царство», «Автомобиль» и др., умер до моего въезда, в 1927 г.). Пропустил – В. П. Крымова, С. Р. Минцлова, Ив. Наживина, Илью Сургучева. Но это все – «боги второй величины».

Русская поэзия была представлена хорошо: К. Д. Бальмонт, З. Н. Гиппиус, И. А. Бунин, И. В. Одоевцева, В. Ф. Ходасевич, С. К. Маковский (быв. редактор «Аполлона»), М. И. Цветаева, Г. И. Иванов, Г. В. Адамович, С. А. Соколов-Кречетов, Н. А. Оцуп. Из больших поэтов – Вяч. Иванов жил в Риме и редко наезжал в Париж.

К моему въезду в Париж уже создалась и чисто-эмигрантская, молодая, интересная проза и поэзия: Я. Горбов, Г. Газданов, В. Набоков, И. Лукаш, Л. Зуров, Г. Кузнецова, Г. Евангулов, А. Седых, В. Варшавский, В. Яновский,

Ю. Фельзен, А. Ладинский, В. Корвин-Пиотровский, Б. Поплавский, В. Смоленский, Г. Раевский, Мих. Струве, А. Штейгер, Е. Таубер, Ю. Терапиано, А. Гингер, Д. Шаховской, З. Шаховская, Б. Божнев, Д. Кнут, А. Присманова, А. Головина, П. Ставров и мн. др. Тоже, вероятно, кого-нибудь пропустил.

Были в эмигрантской литературе сатирики, юмористы. Но главным образом «старорежимные»: П. Потемкин, Саша Черный, Тэффи, Дон Аминадо, Вл. Азов, Валентин Горянский. Одно время петербургские «сатириконцы», со старым своим издателем Н. Корнфельдом, начали даже издавать «Сатирикон». Но дело не пошло. А участвовали талантливые писатели и художники (Ю. Анненков, В. Шухаев, А. Бенуа, А. Яковлев, К. Терешкович, З. Серебрякова и др.). Приведу кое-что из парижского «Сатирикона»:

Рисунок: «Похоронная процессия, за гробом идут две равнодушные фигуры и одна другую спрашивает: – Как вы думаете, попадет он в Царствие Небесное? – Не думаю... для этого он слишком застенчив...»

Или: – «*Современная Клеопатра.* Голая, жирная, розовая, глаза прищурены, в ателье пусто и неуютно. Под рисунком подпись: – „Какая тоска... Ни Цезаря, ни Антония – одни художники“...»

Прекрасную сатирическую прозу писала Н. А. Тэффи (ур. Лохвицкая, сестра поэтессы Мирры Лохвицкой, дочь петербургского профессора). Ее знаменитый рассказ «Городок» начинался так: – «Городок был русский и протекала через него речка, которая называлась Сеной. Поэтому жители городка так и говорили: живем худо, как собаки на Сене...». Еще лучше был прославивший Тэффи рассказ «Кэ-Фер». Приехал в Париж русский эмигрант, отставной генерал. Друзья повезли его – показать «красоты Парижа». Привезли на Площадь Согласия с знаменитым египетским Луксорским

обелиском и изумительной перспективой Елисейских Полей, уходящей до самой Этуали. Конечно, друзья спрашивают: – Ну, как, хорошо?... Нравится? – «Хорошо-то хорошо... очень даже хорошо... но Que faire? Фер-то-кэ?». Это «Фер-то-кэ» так и врезалось в жизнь парижских эмигрантов.

Запоминающиеся сатиры в стихах писал Дон Аминадо (А. П. Шполянский). Люблю его «Писаную торбу» – о неисправимых демократах-доктринерах.

«Могу ли ждать от тучных генералов,
Чтоб каждый раз в пороховом дыму
Они своих гражданских идеалов
Являли блеск и в Омске и в Крыму.
Когда в поход уходит полк казацкий,
Могу ль желать, чтоб каждый на коне
Припоминал, что думал Златовратский
О пользе грамоты в безграмотной стране.
Ах, милые! Вам надо дозарезу,
Я говорю об этом не смеясь,
Чтоб даже лошадь ржала Марсельезу
В кавалерийскую атаку уносясь».

Говорят, за это стихотворение автору «влетело по первое число» от редактора «Последних Новостей» П. Н. Милюкова, где Дон Аминадо постоянно сотрудничал. Но у русско-парижского широкого читателя Аминад Петрович был в чести, очень популярен.

Гораздо более лиричен и «тих» был другой старый «сатириконец», талантливый Петр Петрович Потемкин, до революции привлекший к себе внимание сборником «Герань». В Париже Потемкин был настроен весьма ностальгически.

«В утреннем рождающемся блеске
Солнечная трепыхалась рань...

На кисейном фоне занавески
Расцветала алая герань.
Сердце жило, кто его осудит:
Заплатило злу и благу дань...
Сердцу мило то, чего не будет,
То, что было – русская герань».

Потемкин умер рано. До моего «въезда» в Париж. В 1926 году его похоронили на кладбище Пер-Лашез. К этой же группе поэтов надо отнести (известного тоже еще по России) Лоло (Л. Г. Мунштейна). Две его «ностальгические» строки так навсегда и запомнились: «Пыль Москвы на ленте старой шляпы / Я как символ свято берегу». (Умер Л. Г. в Париже в 1947 году).

Общественные организации

Русских организаций было много. «Президентом» русской эмиграции во Франции надо, конечно, считать быв. посла Временного Правительства во Франции, Василия Алексеевича Маклакова. Он был представителем, так называемого, «Центрального офиса по делам русских беженцев», учреждения, с помощью которого начиналась жизнь всякого русского эмигранта в Париже. На этом посту В. А. бессменно пробыл с 1925 года до немецкой оккупации, когда его арестовало Гестапо и он из «офиса» переехал в тюрьму Шерш Миди (и довольно надолго).

Наиболее многочисленной из русских организаций в Париже был, конечно, «РОВС» (Русский Общевоинский Союз), основанный в двадцатых годах ген. П. Н. Врангелем. Многочисленность была естественна, ибо русская эмиграция во Франции (в противоположность таковой в Германии) была преимущественно военной. Здесь нашли оседлость остатки Белой Армии. Увы, в истории эмиграции РОВС заслужил

недобрую славу, во-первых, созданием внутри союза пресловутой «Внутренней линии», насквозь пронизанной советскими агентами, и, во-вторых, похищением чекистами двух его возглавителей – ген. П. Кутепова (1930) и ген. Н. Миллера (1937). Провокатором-наводчиком похищений и возглавителем «Внутренней линии» был ген. Н. Скоблин. Об этих грустных и гнусных делах подробно-документально рассказывает Б. В. Прянишников в замечательной книге «Незримая паутина». Надо уточнить, РОВС, в сущности, не был «общественной» организацией, это была воинская организация, по военной структуре и построенная.

Крупной общественной организацией попервоначалу был «Земско-Городской Союз» во главе с его основателем, быв. председателем «Временного Правительства» (первого состава) кн. Г. Е. Львовым (вскоре умер), быв. министром Вр. Прав. А. И. Коноваловым, быв. министром Вр. Прав. Н. Д. Авксентьевым, быв. городским головой Москвы В. В. Рудневым, ростовским адвокатом В. Ф. Зеелером, Др. Н. С. Долгополовым и др. В годы расцвета Земгор вел очень большую работу, поддерживая 65 различных русских культурных и благотворительных учреждений, выдавая стипендии русским студентам, поступавшим в высшие учебные заведения Франции. Когда я въехал в Париж, по главе Земгора стоял Николай Саввич Долгополов, у которого я даже одно время работал (после второй мировой войны).

Были в Париже: «Русская Академическая группа» – проф. Е. В. Аничков, проф. П. П. Гронский, проф. С. И. Метальников, акад. М. И. Ростовцев, акад. Н. И. Андрусов, проф. Кузьмин-Караваев и мн. др.; «Русское Христианское Студенческое Движение», опиравшееся на Сергиевское Подворье; «Союз Русских Адвокатов» во главе с известными петербургскими, московскими, киевскими присяжными поверенными – О. С. Трахтерев, И. А. Кистяковский, Вяч. Н. Новиков,

М. Г. Казаринов, Н. В. Тесленко, М. С. Маргулиес, Д. Н. Григорович-Барский и мн. др.; «Союз быв. деятелей русского судебного ведомства» – сен. Н. Н. Таганцев, Е. М. Киселевский, П. А. Старицкий и др.; «Российский Торгово-Промышленный и финансовый союз» – Н. Х. Денисов, С. Г. Лианозов, Г. Л. Нобель и др.; «Федерация русских инженеров заграницей» – П. Н. Финисов, А. П. Аршаумов, Э. В. Войновский-Кригер, В. А. Кравцов и мн. др.; «Объединение русских врачей заграницей» – И. П. Алексинский, В. Л. Яковцов, А. О. Маршак, В. Г. Барац, В. Д. Айтов, К. С. Агаджанян; эти врачи создали «Русский госпиталь», где работали большие русские специалисты во главе с известным московским профессором В. Н. Сиротининым; госпиталь обслуживал ежегодно больше 500 человек больных; «Красный крест» – гр. П. Н. Игнатьев, Б. Е. Иваницкий, бар. Б. Э. Нольде, д-р. И. П. Алексинский и др.; при «Красном Кресте» – бесплатная амбулатория; «Общество русских химиков» во главе с А. А. Титовым; «Русская гимназия» – директор, быв. директор московской Медведниковской гимназии, В. П. Недачин, его сменил Б. А. Дуров. За годы существования гимназия выдала больше 900 аттестатов зрелости, признававшихся во Франции; «Национальная Организация русских скаутов» во главе с известным «старшим русским скаутом», основателем русского скаутизма еще в России О. И. Пантюховым; «Национальная организация' русских витязей»; «Союз русских инвалидов», «Казачий Союз», «Русские соколы», «Общество ревнителей русской старины», «Общество охранения русских культурных ценностей», «Православное дело», основанное матерью Марией (Е. Ю. Скобцовой, мученически погибшей в гитлеровском концлагере), «Союз русских сестер милосердия», «Союз русских шоферов» (1200 членов) – кто только в Париже не сидел тогда за рулем: генералы, адвокаты, инженеры, но масса – белое офицерство. Были землячества (московское, петербургское, киевское,

харьковское и др.); существовали объединения лицеистов, правоведов, кадетов, полковые объединения, казачьи станицы (донцов, кубанцев, терцев), всех тех, кого «как казаков», *как таковых*, уже в 1919 году глава советского государства и глава партаппарата Яков Свердлов предписал «уничтожить» и их уничтожили на 80–90% (Постановление Бюро ЦК РКП(б) об уничтожении казачества). Как видим, «массовое уничтожение» людей, как метод властвования, началось задолго до Адольфа Гитлера.

Вот некий перечень русских организаций. Для «наброска» общей картины русской парижской общественной жизни, думаю, он достаточен. Да, забыл – «Союз русских дворян», вызывавший кой у кого улыбку сострадания своей «археологичностью». Но, по-моему, а почему бы и нет? Люди вправе создавать любые «союзы», по любым признакам, хотя бы по цвету волос или глаз: «союз блондинов», «союз брюнетов», «общество голубоглазых», «объединение зеленоглазых». У человеков мало утешений в мире. И если что-нибудь утешает – и слава Богу! «Союз дворян» занимался, кажется, установлением генеалогий и, говорят, «не всегда достоверных». И в этом ничего страшного нет, если это кого-нибудь утешало. Сам претендент на французский престол, граф Парижский в интервью с журналом «Матч» сказал: «В мире есть две вещи, которые всегда можно легко подделать – родословную и баланс».

Пресса и издательства

О русских газетах и журналах в Париже надо сказать, что именно здесь – в Париже – десятилетиями было главное сосредоточие изданий свободного слова русской эмиграции. С начала 1920-х годов и до второй мировой войны (1940 год) в Париже выходили две большие ежедневные газеты – «Последние Новости» и «Возрождение», ничем не уступавшие

французской столичной печати (даже тиражом: «П. Н.» доходили до 40.000 экземпляров).

«Последние Новости» – республиканско-демократическая газета под ред. П. Н. Милюкова. В своих статьях Милюков защищал положение, созданного им «Республиканско-демократического объединения»: – «сохранение пафоса неприятия советской власти и борьба с ней, а следовательно и революционное к ней отношение и отрицание всякого рода примиренчества». В «П. Н.» писали многие известные политические, общественные деятели и журналисты: П. Н. Милюков (передовицы), Е. Д. Кускова, ген. А. И. Деникин, кн. В. А. Оболенский, М. Осоргин, С. А. Поляков-Литовцев, С. Н. Прокопович, фельетоны (в стихах и в прозе) – Дон Аминадо, литературную критику – Г. В. Адамович, политический репортаж – Андрей Седых (будущий редактор ежедневной газеты в Нью-Йорке «Новое Русское Слово»), о театре – быв. директор Императорских театров кн. С. М. Волконский, о балете – известный балетный критик Андрей Левинсон, о музыке – Б. Шлецер, о живописи – Александр Бенуа, всех сотрудников перечислить не могу.

«Возрождение» была «органом русской национальной мысли», издавал ее богатый человек А. О. Гукасов, редактировал первоначально П. Б. Струве, затем – Ю. Ф. Семенов. Сотрудничали: Н. С. Тимашев (передовицы), социолог с международным именем, позднее, в Америке, член редколлегии «Нового Журнала», Ив. А. Ильин, высланный большевиками, мой бывший профессор юридического факультета Московского Университета, в эмиграции автор многих ценных книг. После прихода Гитлера к власти И. А., как и некоторые другие русские националисты, увидел в гитлеризме «спасение России от большевизма» и писал в «Возрождении»: – «мы не должны смотреть на национал-социализм глазами евреев». Но довольно скоро гитлеровцы показали

Ивану Александровичу, что его «русский национализм» им не только не нужен, но и неподходящ. Ранним берлинским утром гестаповцы арестовали И. А., на полицейском грузовике доставив на допрос в Гестапо. После этого «камуфлета» разочарованный И. А. оставил пределы Третьего Рейха, уехав в Швейцарию, откуда глядел на гитлеризм по всей вероятности все-таки уже некими «глазами евреев». Писал в «Возрождении» Георгий Мейер, автор глубоких, своеобразных статей о Достоевском. Литературным критиком был Владислав Ходасевич. Острым и лютым фельетонистом был А. Ренников (Андрей Митрофанович Селитренников), старый сотрудник петербургского «Нового Времени». Помню, полемизируя с эсэрами М. В. Вишняком и С. М. Соловейчиком, Ренников писал: – «Вишняк в цвету, Соловейчик заливается». Писал в «Возрождении» талантливый былой «сатириконец» Валентин Горянский (Валентин Иванович Иванов), писал Илья Сургучев («Осенние скрипки» в МХТ'е), Иван Наживин, всех не перечислить, обрываю.

Надо сказать, что художественная литература (проза и поэзия) в обеих газетах была представлена превосходно: И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, Д. С. Мережковский, А. И. Куприн, И. С. Шмелев, М. А. Алданов, А. В. Амфитеатров, Н. А. Тэффи, З. Н. Гиппиус, К. Бальмонт, И. В. Одоевцева, М. И. Цветаева и многие из молодых (уже эмигрантских) писателей.

До моего въезда в Париже выходила еще третья ежедневная (эсэровская) газета «Дни» под ред. А. Ф. Керенского, а до нее четвертая – «Общее дело» под ред. Вл. Л. Бурцева. Позже выходили многие еженедельные и ежемесячные издания: – «Россия и Славянство» (П. Б. Струве), «Евразия» (С. Эфрон, Артур Лурье, друг Маяковского, кого Маяковский рекламировал так: «тот дурье, кто не знает Лурье», Д. Святополк-Мирский, П. Сувчинский, П. Малевич-Малевский), «Звено» (М. Кантор),. «Бодрость» (младороссы), «Борьба за Россию»

(В. Бурцев, С. Мельгунов, А. Карташев, М. Федоров, П. Рысс, этот журнал предназначался для переброски в СССР), «Младоросская искра», «Новая Россия» (А. Ф. Керенский), «Версты» (Д. Святополк-Мирский, М. Цветаева и др.), «Социалистический Вестник» (Ф. И. Дан), «Иллюстрированная Россия» (М. П. Миронов), дававшая подписчикам прекрасные приложения, например, известную книгу ген. Н. Н. Головина «Русская контрреволюция, 1917-18 гг.». Выходили: – «Военная быль» под ред. А. Геринга, «Морские записки», казачий журнал «Родимый Край», интересный литературный журнал «Числа» под ред. Н. Оцупа, вокруг которого группировалась эмигрантская писательская молодежь, так называемая «парижская нота», «Завтра» («утвержденцы», Ширинский-Шихматов), «Костер» (солидаристы), «Еврейская трибуна», «Вестник Русского Студенческого Христианского Движения», «Православное дело» (мать Мария, К. Мочульский и др.), «Часовой», орган связи русского воинства, под ред. В. В. Орехова; монархический вестник «Двуглавый орел».

Перейду к «толстым» журналам. Традиционно-русским «толстым» журналом были «Современные Записки», ведомые эсэрами Н. Д. Авксентьевым, И. И. Бунаковым (Фондаминским), В. В. Рудневым, М. В. Вишняком и А. И. Гуковским. И в создании и в длительности существования этого исключительно-ценного журнала большую роль сыграл А. Ф. Керенский. В 1920-м году А. Ф. Керенский заключил соглашение с министром иностранных дел Чехословакии Эдуардом Бенешем. Это соглашение дало возможность эсэрам начать несколько изданий и, в частности, «литературный и общественно-политический» журнал «Современные Записки». Отдадим должное редакторам: ничего «эсеровского», «направленческого» в журнале не было. Были, конечно, статьи редакторов, но журнала не портили. У журнала был

очень широкий и весьма разнообразный круг сотрудников. Многие – с мировыми именами.

В отделе прозы и поэзии были напечатаны лучшие зарубежные вещи Ив. Бунина, Бор. Зайцева, Ив. Шмелева, М. Алданова, были вещи Андрея Белого (когда он был еще заграницей), Максимилиана Волошина, З. Гиппиус, Евг. Замятина, Вяч. Иванова, А. Куприна, Д. Мережковского, Георгия Иванова, П. Муратова, М. Осоргина, А. Ремизова, В. Набокова, Б. Темирязева (Ю. Анненкова), А. Толстого («Хождение по мукам», первый, неизгаженный текст, автор был еще эмигрантом), Тэффи, В. Ходасевича, М. Цветаевой, неопубликованные рукописи Льва Толстого, воспоминания Ф. Шаляпина. Статьи: – Н. А. Бердяева, А. Бема, В. Вейдле, Е. Брешковской, К. Бальмонта, Б. П. Вышеславцева, М. О. Гершензона, пушкиниста М. Гофмана, известного адвоката О. Грузенберга, кн. Петра Долгорукова, проф. С. Завадского, проф. С. Загорского, В. Зеньковского, А. Карташева, проф. А. Кизеветтера, неопубликованные письма Вл. Короленко к Луначарскому, Е. Кусковой, А. Левинсона, Н. Лосского, В. Маклакова, П. Милюкова, С. Мельгунова, В. Мякотина, проф. М. Новикова, проф. Б. Э. Нольде, А. В. Пешехонова, Ф. И. Родичева, акад. М. И. Ростовцева, Л. Сабанеева, И. Солоневича, Ф. А. Степуна, А. Л. Толстой, Н. С. Тимашева, Г. П. Федотова, Г. В. Флоровского, проф. Д. И. Чижевского, Е. Н. Чирикова, проф. А. А. Чупрова, Льва Шестова, Б. Ф. Шлецера, Е. Юрьевского и мн. др. Когда «Современные Записки» праздновали выход 50-й книги журнала, на юбилей сочувственно отозвался такой совершенно уж далекий от «эсэрства» (когда-то назвавший «народничество» революционным «сифилисом») П. Б. Струве. Он правильно предлагал заменить в подзаголовке журнала «общественно-политический» на «журнал русской культуры и литературы». Так, в сущности, это и было. «Современные Записки» внесли в русскую культуру разнообразный и ценный

вклад. С 1920 года по 1940-й вышло 70 толстых книг. Но уже в 30-х годах (приход Гитлера к власти) издавать «Современные Записки» стало трудно. Думаю, чехословацкая поддержка оборвалась, не до того было. В 1939 году в журнале остался один редактор – Вадим Викторович Руднев (безвозмездный, никак не могший бросить свое детище). В 1940 (из-за войны) журнал приказал долго жить, а Руднев с женой Верой Ивановной с трудом пробрались в «свободную зону» Франции и провели некоторое время у нас на ферме в Гаскони, под Нераком. Вскоре в городе По Вадим Викторович умер (об этом я расскажу особо).

В 1937 году начал выходить второй «толстый» журнал «Русские Записки» под ред. П. Н. Милюкова (секретарь – М. В. Вишняк, издатель, в прошлом эсэр, богатый человек М. Н. Павловский). В заявлении от редакции П. Н. Милюков писал, что «Р. З.» «предполагают перейти от традиционного типа «толстого» журнала к типу, приближающемуся к обычным иностранным Revues, с подбором статей преимущественно актуального и информационного характера». Но ни к каким Revues «Р. З.» не перешли, так и оставшись вторым «толстым» журналом, но гораздо более бледным и односторонним. Особенностью «Р. З.» была их подчеркнутая «секулярность». Поэтому этот журнал и не мог захватить такой широкий спектр сотрудников, как «С. З.». Такие писатели, как Бердяев, Федотов, Флоровский, Карташев и мн. др. для атеиста и позитивиста Павла Николаевича были табу. Не зря же А. А. Кизеветтер как-то назвал Милюкова – «семидесятилетним комсомольцем». В 1939 году из-за военных событий «Р. З.» оборвались на 21 книге.

В противоположность «секулярным» «Р. З.» в Париже выходили два серьезных журнала, посвященных религиозно-философским вопросам: «Путь», орган русской религиозной мысли, под ред. Н. А. Бердяева при участии Б. П. Вышеслав-

цева, издававшийся русской Религиозно-Философской Академией и «Новый Град» под ред. И. И. Бунакова (Фондаминского), Ф. А. Степуна и Г. П. Федотова, посвященный, если так можно сказать, христианизации общественной жизни. Участники его были новым явлением в русском мире – русскими христианами-демократами. В № 1 Г. П. Федотов писал: «против фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду личности и ее свободы – прежде всего свободы духа». Но эти журналы, как и всю свободную печать русского Зарубежья, безвозвратно и начисто смела вторая мировая война.

Но насколько в Париже русская печать была широко и разнообразно представлена, настолько русский Париж – в полную противоположность русскому Берлину – почему-то – был беден русскими издательствами. Может быть это вопрос курса франка – не знаю. Но больших издательств, как берлинские «Петрополис», «Слово», изд-во З. Гржебина, «Медный Всадник», изд-во О. Дьяковой и др. – в Париже не было. Возникали и почему-то быстро умирали: «Франко-русская печать», «Русская земля», «Родник», кое-что издал книжный магазин Я. Поволоцкого, издавало «Возрождение» (преимущественно своих сотрудников) – Шмелева, Чирикова, Сургучева, Лукаша, Ренникова и др. «Современные Записки» издали, вероятно, книг полтораста-двести (тоже своих сотрудников) – Бунина, Зайцева, Осоргина, Степуна, Ходасевича, Милюкова, Ростовцева, Нольде, Вишняка, Маклакова, Тэффи, Сирина и др. ИМКА-пресс издавала, но только книги по религиозно-философским вопросам – Бердяева, Булгакова, Шестова и др. Так что в 20-х годах русские писатели-парижане часто издавались в Берлине, Праге, Белграде, Софии. А когда пришли «гитлеровские времена» везде в Европе русское зарубежное книжное дело резко упало. Въехав в Париж я застал одно очень скромное, но все-таки действующее издательство – книжный магазин «Дом книги». Там я и

издал две свои книги – «Дзержинский» и «Ораниенбург». Эта парижская бедность издательствами даже запечатлена И. А. Буниным в шуточной пародии:

Автор к автору летит,
Автор автору кричит:
Как бы нам с тобой дознаться,
Где бы нам с тобой издаться?
Отвечает им Зелюк –
Всем, писаки, вам каюк!
Отвечает им Гукасов:
Не терплю вас, лоботрясов!
Отвечает ИМ КА: – мы
Издаем одни псалмы!

Русские театры (драма, опера, балет)

Международное имя русскому театру было создано – именно здесь, в Париже – еще до революции, в 1912–13 гг., «Русским Балетом» С. П. Дягилева. В 30-х годах это эхо дягилевской славы продолжалось, несмотря на неожиданную (на 57-м году) смерть создателя «Русского Балета», уже эмигранта, С. П. Дягилева. Дягилев умер не в Петербурге, не в Москве, а в любимой им Венеции, на Л идо, в «Отель де Бэн» и похоронен на венецианском кладбище на острове San Michele. На надгробном камне вырезано по-русски: «Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений».

Из трех линий театра – драма, опера, балет – за рубежом русский балет был несравненно более долголетен и блестящ. Неудивительно. Природа искусства танца (как и музыка) международной, не связана ни языком, ни национальной почвой, как – опера и особенно драма. А зритель танца – интернационален.

В эмиграции Дягилев восстановил свой балет в Монте Карло в начале 1920-х гг. Выступали у него русские «звезды»

первой величины: Тамара Карсавина (сестра замученного в советском концлагере известного философа Льва Платоновича Карсавина)[11], Бронислава Нижинская (балерина и хореограф), Ольга Спесивцева, Екатерина Девильер, Вера Трефилова, Лидия Лопухова, А. Никитина, Любовь Чернышева, Лидия Соколова, Вера Савина, Фелия Дубровская, Вера Немчинова (потрясшая «весь Париж» в балете «Les Biches», вызвав восторженную статью «самого» Жана Кокто[12], а он в балете был «свой человек» и «понимал толк»), Ида Рубинштейн, которая, впрочем, не столько танцевала, сколько «появлялась» на сцене, но «появлялась» удачно, Александра Данилова, Георгий Баланчин (позднее балетный завоеватель Америки), Сергей Лифарь (позднее руководитель балета парижской Гранд Опера), Леонид Мясин (танцовщик и хореограф), Борис Романов (танцовщик и хореограф), Николай Зверев (танцовщик и хореограф), Анатолий Вильзак, Станислав Идзиковский, Леон Войциковский и др.

---

[11] О Т. Карсавиной хорошо записано у В. Н. Буниной: «Сегодня был завтрак у М. С. Цетлиной: чествовали Карсавину... Карсавина очень мила, проста той особенной простотой, какая бывает у некоторых знаменитостей, которые тактично не дают чувствовать окружающим – кто ты, а кто я. Карсавина не похожа на балерину...» («Устами Буниных», публ. М. Грин, 1981).

[12] В своей статье Жан Кокто писал, что когда «эта очаровательная девушка вышла из-за кулис на пуантах ее длинных классических ног, мое сердце забилось. Я был поражен, как чудесно сумела она соединить классические фигуры с новыми жестами и движеньями плеч...»

В. Н. Немчинова рассказывает, что на первой репетиции «Les Biches», когда она начала танцевать в сшитом для нее длинном муслиновом платье (по рисунку Марии Лоренсэн) Дягилев вдруг взял ножницы, подошел и обрезал платье, обнажив тем все её ноги в трико. Так он предложил ей танцевать. По тем временам это было «неслыханно». Немчинова говорит, что сначала ей было стыдно, ей казалось, что она танцует почти голая. Но Дягилев знал, что делал. В «Les Biches» Немчинова имела оглушительный успех. Другие «лоретки» танцевали в длинных, необрезанных платьях.

Надо сказать, что в то время как советский балет Москвы и Петербурга (мне противно, как и Бунину, писать слово «Ленинград») много больше полувека всё топтался (и топчется) на одном «классическом па», что вызвало бегство на Запад балетной «премьерной» молодежи (Макарова, Нуреев, Барышников, Годунов и др.) – Дягилев в своих художественных и хореографических исканиях шел резко «вперед», поведя за собой весь балет Запада. В этом ему помогали русские композиторы: И. Ф. Стравинский («Песнь соловья», «Пульчинелла», «Поцелуй феи», «Аполлон Мусагет»), С. С. Прокофьев («Стальной скок», «Блудный сын»), Н. Черепнин, А. Глазунов; из молодых эмигрантов – Н. Набоков («Ода»), Вл. Дукельский («Зефир и Флора»), Игорь Маркевич; из композиторов-иностранцев – Дариус Мило, Ф. Пуленк и др. С Дягилевым работали художники: М. Ларионов, Наталия Гончарова, Леон Бакст, Павел Челищев, Мст. Добужинский, Сергей Судейкин, кн. А. Шервашидзе, Жорж Якулов, Наум Габо; из художников-иностранцев: П. Пикассо, Ж. Брак, М. Утрильо, А. Дэрэн, Жорж Руо, Мария Лоренсэн и др.; Хореографы: М. Фокин, Н. Зверев, Б. Нижинская.

Русскую балетную традицию Дягилева за рубежом подхватили многие: Георгий Баланчин (в Америке), Сергей Лифарь в парижской Гранд Опера́, путешествующие по разным странам труппы – князя Церетели и Colonel’я de Basil (в переводе на русский – быв. полк. Василий Григорьевич Вознесенский), Иды Рубинштейн, маркиза де Куэваса, Леонида Мясина, В. Немчиновой-А. Долина, Бориса Романова, Георгия Скибина и др. К тому же – время шло. На мировую сцену вышла и молодая русская зарубежная смена: Андрей Еглевский, Борис Князев, Д. Лишин, М. Панаев, Т. Рябушинская, Т. Туманова, Ир. Баронова, Л. Мерина (черкешенка Чемерцина), В. Блинова, О. Морозова и др. Это все воспитанники

нескольких балетных студий знаменитых русских балерин: в Париже преподавали – М. Кшесинская, Л. Егорова, О. Преображенская, А. Балашова[13], так что русская балетная традиция не порывалась. О русском балете за рубежом литература громадна. И мемуары (С. Лифарь, Борис Кохно, М. Фокин и др.) и работы критиков-балетоманов: из русских Андрея Левинсона, а работам иностранцев несть числа! Прав Сергей Лифарь, писавший, что «мировой балет всей первой половины XX-го века есть создание балетных сил русской эмиграции». Это не самохвальство, а авторитетное утверждение факта в истории современного искусства.

Русская опера тоже одно время блеснула русскими зарубежными силами во главе с Ф. И. Шаляпиным. Но блеск этот был, естественно, не столь длителен, как у балета. В Париже 20-х, 30-х годов жило много известных оперных и камерных певцов-эмигрантов: М. Н. Кузнецова (из Большого театра), Н. С. Ермоленко-Южина, Лидия Липковская (примадонна театра Зимина), Н. Карандакова, Ян Рубан, Женя Турель, Нина Кошиц, Е. А. Садовень, М. С. Давыдова, А. Е. Яковлева, Лисичкина, бас А. Мозжухин, бас Запорожец (ему, говорят, сам Шаляпин признавался: эх, братец, мне бы твою «октавку»!), тенор Поземковский, тенор Александрович, Кайданов, Г. Гришин и наконец гений русской оперы Федор Иванович Шаляпин. Сил для первоклассной оперы было больше чем надо. Тем более, что в Париже жили: и известные режиссе-

---

[13] Александра Михайловна Балашова, знаменитая прима-балерина московского Большого Театра с 1921 года жила в Париже. Здесь она открыла балетную школу в зале Плейель. В 1963 году директор балетного Театра в Страсбурге обратился к ней с просьбой поставить балет «Тщетная предосторожность» Доберваля, в котором в свое время в роли Лизы А. М. выступала в Москве. А. М. согласилась. В постановке Балашовой балет в Страсбурге имел большой успех. Труппа совершила с ним турне по всей Франции. Скончалась А. М. под Парижем в 1978 году.

ры – А. Санин, Н. Евреинов; и дирижеры – Э. Купер, А. Лабинский; и театральные художники – И. Билибин, К. Коровин и др.; и такие хореографы, как М. Фокин.

И вот стараниями М. Н. Кузнецовой, при материальной поддержке ее мужа Альфреда Масснэ, в 1929 году в Театре Елисейских Полей (больше 2000 мест!) открылись спектакли «Русской Оперы» с участием Ф. И. Шаляпина. Режиссеры – Санин, Евреинов; художники – Билибин, Коровин; хореограф – Фокин. В течение шести месяцев эти представления стали неким русским «триумфом»: «Борис Годунов», «Князь Игорь», «Русалка», «Царская невеста», «Царь Салтан». Успех – и, конечно, прежде всего ошеломительный успех Шаляпина, – по своей художественной силе был равен успеху лучших балетов Дягилева.

Театральный критик «Последних Новостей», быв. директор Императорских Театров кн. С. М. Волконский об одном из спектаклей писал: «Русский праздник продолжается. Это было торжество! Кто не видел, не может себе даже вообразить тех зрительно слуховых видений, которые перед нами проходили... Видевшие московскую постановку в декорациях Врубеля отдают пальму первенства парижской». Столь же восторженно писали и французы; «Presentation magnifique!.. Veritable manifestation d'art qui ne peut manquer de donner complete satisfaction au spectateur le plus difficile». («Paris Soir», 2/II.1929).[14]

Но долголетия у русской оперы в Париже, разумеется, быть не могло. Через шесть месяцев «Русская Опера» отправилась в Южную Америку, где гастролировала с успехом, но потом... распалась. Правда, кн. Церетели удачно дал эти оперы в Лондоне, Брюсселе, Барселоне. Но в Париже русская опера уже не поднялась.

---

[14] «Восхитительное представление!.. Спектакль подлинного искусства, который не может не удовлетворить даже самого требовательного зрителя».

Еще труднее было создать некий «репертуарный театр» русской драмы. Для него, как и для русской оперы, не хватало зрителей. Но попытки создать русский театр начались с самого начала появления во Франции русской эмиграции, ибо известных и больших русских актеров было много. Из МХТ в эмиграцию ушла т. н. «Пражская группа»: гениальный Михаил Чехов, Вырубов, Массалитинов, Лев Булгаков, Варвара Булгакова, Германова, Астрова, Крыжановская, Греч и Павлов, Барановская, Токарская, Вера Соловьева, Николай Колин, Зелицкий. Из студии МХТ – Е. Липовская, Григорий Хмара, Богданов. Из других театров – знаменитая Е. Н. Рощина-Инсарова, Д. Кирова, И. Мозжухин, Рахматов, Эс-Пе. В театре «Мадлен» Н. Ф. Балиев с успехом возобновил свою неповторимую «Летучую Мышь». В театре Шатлэ открылся «Театр Русской драмы», где Е. Н. Рощина-Инсарова выступала в пьесе Немировича-Данченко «Цена Жизни», выступали В. М. Греч, П. А. Павлов, А. А. Вырубов. В пьесе Гольдони «Хозяйка Гостиницы» под режиссурой Рахматова с успехом выступала молодая актриса студии МХТ Е. Липовская. Актриса Д. Н. Кирова основала «Русский Интимный Театр», дававший спектакли на улице Кампань Премьер. Актер Эс-Пе основал «Зарубежный Камерный Театр». Известный режиссер Федор Комиссаржевский открыл театр-кабарэ «Радуга», вскоре объединившийся с Никитой Балиевым. Большим заслуженным и длительным успехом пользовались Георгий и Людмила Питоевы, дававшие в театре «Матюрэн» на французском языке пьесы Поля Клоделя, Жана Ануй, Пиранделло. Из молодых актрис сделала французскую карьеру Елизавета Кедрова (Лиля Кедрова), выступавшая в театре и в кино.

Но в дни моего въезда в Париж эти театральные начинания были уже в прошлом (кроме Питоевых). При мне организовался довольно скромный русский театр, главным

образом, из молодых актеров (всех не помню): Богданов, Петрункин, Бологовской, Чернявский, Загребельский, Карабанов, Бахарева, Мотылева, актрисами со стажем были Крыжановская (из МХТ), Токарская (из МХТ).

Этот театр, дававший пьесы в зале «Журналъ» (100, рю Ришелье), был задуман, как более-менее «репертуарный»: пьесы шли еженедельно по субботам и воскресеньям. В 1936 году (с января по май) театр дал 90 представлений. И с успехом. Причем ставились пьесы не только эмигрантов-писателей, но и советских: «Новый дом» Булгакова, «Дорога цветов» Катаева, «Чудеса в решете» Толстого, «Волчья тропа» Афиногенова и др. Из эмигрантов – «Линия Брунгильды» Алданова, «Крылья Федора Ивановича» Хомицкого, вечер юмора из произведений Тэффи, «Изобретение Вальса» Набокова, поставлен был и мой «Азеф». Режиссировал его артист студии МХТ Григорий Хмара, в Москве стяжавший успех в пьесах «Потоп» и «Сверчок на печи».

Сие событие с моим «Азефом» произошло так. В Париже 20-х, 30-х гг. большую роль в русской культурной жизни играл Илья Исидорович Фондаминский (Бунаков), мученически погибший в гитлеровском концлагере Аушвиц. Передают, что уже арестованный, в Компьенском лагере (под Парижем) он принял там христианство. А в Аушвице будто бы вступился за избиваемого заключенного и был забит насмерть.

Илья Исидорович был человеком необычайной, как говорят, «кипучей» энергии, что-то юношеское было в этих его вечных, беззаветных заботах о деле русской культуры в эмиграции. Он был одним из создателей и редакторов «Современных Записок», где публиковал свою большую историософскую работу «Пути России», при «С. З.» создал русское издательство, он же основал «Русские Записки», но по «независящим от него обстоятельствам» этот журнал перешел в руки П. Н. Милюкова: издатель, М. Н. Павловский, в

прошлом эсэр, как и Фондаминский, не пожелал, чтоб «Р. З.» велись Фондаминским в христианско-демократи-ческом духе, предпочитая позитивиста П. Н. Милюкова. И. И. Фондаминский от эсерства в эмиграции ушел, став христианским демократом. Оставив «Р. З.» Милюкову, он стал вместе с «созвучными» ему Г. П. Федотовым и Ф. А. Степуном издавать христианско-демократический «Новый Град». Большое участие И. И. принимал в привлечении к эмигрантской литературе молодых (уже эмигрантских) поэтов и писателей. Создал их литературную группу под названием «Круг» и помог издавать альманах того же названия. Будучи человеком состоятельным, И. И. помогал многим материально. Вообще в смысле кипучести, разносторонности, неутомимости и бескорыстия его дел (я думаю) Илье Исидоровичу в эмиграции не было равных.

Вот и «Русский Театр» был его созданием. Он сколотил некую «группу содействия» (А. Гурвич, М. Алданов, Н. Тэффи, Н. Авксентьев, В. Зензинов и др.), сбил для театра актерскую группу, преимущественно из молодых и создался «Русский Театр». Я попал в его орбиту после случайного разговора с В. М. Зензиновым о моем романе «Азеф» («Генерал БО»). Не в пример другим эсэрам, усмотревшим в моем романе чуть ли не пасквиль на эсэров (напр. Брешковская даже запретила, чтобы кто-нибудь приносил мою книгу в ее дом), Зензинов (он тоже в романе выведен под его настоящей фамилией, как и другие) никаких «плохих чувств» к роману не питал. Улыбаясь, он сказал мне, что спервоначала подумал, что я написал роман из китайской жизни. – «Почему?» – «Да потому, что у нас никто Боевую не называл - «БО», всегда говорили «Б. О.» (то есть «Бе. О.»). – И еще В. М. удивился, что я использовал его воспоминания о Б. О., которые печатались в газете «Форвертс» на идиш. – Может быть вы владеете идиш? – улыбаясь, спросил В. М. – Нет, к сожалению. Но Ни-

колаевский дал мне ваши воспоминания на русском языке. – Этому В. М. не удивился, он знал: – что только в архив Николаевского ни попадало.

В этом разговоре я и упомянул, что по этому роману у меня написана пьеса «Азеф». Зензинов заинтересовался. – А знаете, я скажу об этом Илье Исидоровичу, это может заинтересовать «Русский Театр».

Сказать И. И. было просто, ибо Зензинов жил у Фондаминского. Они были друзья с отроческих лет, к тому же партийные товарищи, эсэры. Вскоре я получил от Фондаминского «пневматичку», он приглашал меня к нему. Я пришел. Дверь открыл сам Фондаминский. Высокий, хорошо сложенный, красивые черты лица, седоватые волосы – в целом – человек видный, приятного облика. Поздоровались. Провел через ряд комнат в гостиную. Еще недавно, когда была жива его жена Амалия Осиповна, женщина (как говорили) редкой красоты и обаятельности, друг Зинаиды Гиппиус, кому Гиппиус посвятила немало стихотворений, в этой просторной и (вероятно) дорогой квартире Фондаминские давали «чаи», на которых (как говорил Зензинов) перебывал весь русский литературно-музыкально-артистический и политический Париж: Мережковский и Гиппиус, Бунины, Зайцевы, Шмелев, Тэффи, Аминадо, Ходасевич, балерины Карсавина и Федорова 2-я, художники А. Яковлев, Н. Гончарова, М. Ларионов, В. Шухаев, Борис Григорьев, мексиканец Диего Ривера, пианист Артур Рубинштейн; политики: Милюков, Керенский, Струве, Авксентьев, Церетели, Вольский (Валентинов), литературная и актерская молодежь... Теперь квартира носила холостяцкий характер, жили только Фондаминский и Зензинов. Комнаты, через которые мы прошли, заставлены полками с книгами, в одной комнате – стучала на пишущей машинке мать Мария (Скобцова, погибшая в гитлеровском концлагере Равенсбрук). Из другой вышел Зензинов.

Мы сели в гостиной – Фондаминский, Зензинов и я. Фондаминский сразу «взял быка за рога». Видимо к роману он, как и Зензинов, не относился «в штыки» (как Брешковская). Я коротко рассказал о пьесе, о ролях. Фондаминский спросил, не хочу ли я прочесть пьесу у него всей труппе «Русского Театра». Я согласился. И вскоре чтение состоялось. «Председательствовал» Фондаминский, были: Григорий Хмара и все актеры труппы – Богданов, Петрункин, Чернявский, Загребельский, Карабанов, Токарская и другие.

Когда я читал, я был уверен, что пьеса моя хороша. Только позже я понял, что всё «как раз наоборот». По окончании чтения Фондаминский попросил присутствующих высказываться. Актеры высказывались: и все положительно. Только один (помню) выразился «загадочно»: – «Во всяком случае, – сказал он, – пьеса Романа Борисовича не хуже пьесы Алданова «Линия Брунгильды». – Комплимент довольно двусмысленный, ибо поставленная этим театром «Линия Брунгильды» была, по-моему, каким-то «нагромождением разговоров». Итак, мой «Азеф» пошел на сцену «Русского Театра».

Теперь-то я знаю, почему моя пьеса была плоха. Потому, что в ней не было никакого «*театра*», никакой, совершенно необходимой для сцены, «театральной игры», никакой «игровой завлекательности», без чего «театра» нет. Это были «исторические сцены», быть может, неплохие по диалогам, но *театра, игры, сцены* не было. Правда, когда я прочел, левой ногой состряпанную в СССР А. Толстым пьесу «Азеф», я увидел, что такой *халтурищи* я, конечно, не написал. Но «Азеф» Толстого и не увидел рампы даже в СССР, сцены которого больше полувека трещат от отвратительной пропагандной халтуры.

Режиссировал «Азефа» Гр. Хмара. Он же взял роль Савинкова. Каляева – Богданов, Сазонова – Петрункин, Азефа –

Загребельский, Ивановскую – Токарская, жандармского генерала – Чернявский. Присутствуя на репетициях, я видел, что никакого Савинкова Хмара не сыграет. Савинков слишком для него «тонок». Эту психологическую «тонкость» Хмара заменял каким-то «надрывным криком», что было, разумеется, фальшью. Кто был на месте *по внешности*, так это Загребельский – Азеф. Он вполне мог играть эту роль без всякого грима: вылитый живой Азеф. Но и только. А этого было, конечно, маловато. Кто, по-моему, был хорош, это Чернявский – жандармский генерал и Токарская – старая террористка. Но это были роли эпизодические.

Итак, день премьеры настал. Смотреть свою пьесу на сцене никому не советую. Разве только известным драматургам известных пьес, когда от аплодисментов публики – «рухнул зал и театр застонал». Но смотреть мне, никакому не драматургу, свою плохую пьесу в плохой постановке – это был с моей стороны «героизм», совершенная пытка, подлинное мучительство. На «Линии Брунгильды» Алданов не отважился остаться в зале, «не хватило нервов», ушел в ближайшее кафе и в антрактах друзья прибегали и «докладывали» ему: как и что. Думаю, привирали, вероятно, из «сострадания». Нервно я оказался крепче Алданова. «Стиснув зубы», «несмотря ни на что», решил стать зрителем. Только сел в самый дальний угол самого последнего ряда, а Олечка и двоюродная сестра Ляля остались во втором ряду (авторские места).

Театр был полон доотказа. Билеты все проданы. В первом ряду – Вл. Л. Бурцев, И. А. Бунин, И. И. Фондаминский, Б. К. Зайцев с женой, Тэффи рядом с кн. Феликсом Юсуповым (убийцей Распутина), коего я улицезрел впервые, М. Алданов, В. Зензинов, Илья Сургучев, многие знатные россияне, рецензенты газет. Занавес поднялся. И началась моя мука. Я видел: и это не то, и то не так, и это никуда не годит-

ся, и то фальшиво. Публика была вежлива. После каждого акта хорошие аплодисменты (конечно, «не переходящие в овацию», но продолжительные). Стало быть, публика «приняла».

В антракте из своего «угла» я пошел к жене. И она и Ляля довольны. Только жена сказала, что Бунин из первого ряда всё поворачивался и смотрел больше на Лялю чем на сцену. «Это было совершенно неприлично», проговорила жена[15]. Когда же на сцене (при крайней убогости обстановки) Азеф должен был спать и во сне бормотать фразы, могшие его разоблачить – и тучный Загребельский вместо постели с превеликим трудом улегся на какую-то убогую, куцую для него кушетку, Бунин во всеуслышание произнес: «Недурна картинка!». И был, конечно, прав.

В этом же антракте я встретил Вл. Л. Бурцева в коридоре, он был в полном восторге. Но вот от чего:

– Господи, да откуда вы выкопали такого Азефа? Ведь это же вылитый, ну, вылитый, живой Азеф, а уж я-то Азефа знал!

И это была сущая правда. И я был рад, что хоть этим обрадовал Владимира Львовича. Встречные знакомые говорили мне приятные слова. Но я-то чувствовал полное «авторское отчаяние», хоть и не показывал вида. Единственно чем я себя утешал, – что сбор полный и я получу хорошие авторские. Но, увы, и тут меня постигла неудача. Администратор театра был многоопытный жулик, умевший «остричь» любого автора. Наговорив мне с три короба какой-то чепухи, он сказал, что сейчас не может решительно ничего заплатить: расходы, расходы и расходы. Этим и кончилась для меня «премьера».

Отзывы русских газет о спектакле были положительные. «Последние Новости» похвалили, они всегда поддерживали «Русский Театр». Но и младоросская «Бодрость» (30.3.37) ото-

---

[15] У Ивана Алексеевича была эта слабость разыгрывать из себя некого, охваченного страстью, юного Арсеньева, и нарочито, на-людях. Но страсть эта – вполне безобидная.

звалась доброжелательно: «Пьеса смотрится с неослабевающим интересом... Хороша г-жа Токарская в роли старой революционерки, очень неплохо переданы Петрункиным и Богдановым – Сазонов и Каляев. Остальные артисты дружно поддерживали общий темп пьесы, прошедшей с несомненным успехом». В «Возрождении» (22.5.37) Илья Сургучев дал большой отзыв, меня слегка удививший, ибо Сургучев имел несомненное отношение к театру, его «Осенние скрипки» прошли в МХТ (правда, кажется их провел Вл. И. Немирович-Данченко при большом сопротивлении К. С. Станиславского, но все же как бы там ни было – прошли!). «Пьеса г. Гуля, – писал Сургучев, – не пьеса, собственно, а скорее – ревю, обозрение, в котором кружится ряд зловещих, окровавленных покойников. Театр хорошо сделал, напомнив о том зловонном дне, на которое упала большая политическая партия, наделавшая России много труднопоправимых бед. Пусть молодежь поймет, что нет ничего легче, как бросить топор в воду: попробуйте его вынуть. Спектакль будет полезным и для молодежи... г-н Загребельский отлично «взял» Азефа с его низким лбом, бычьей шеей и кувшинным рылом. Очень хорошо задумана его «спина» в начале первого акта. Роль еще эскизна, но наличность большой театральной находки несомненна. Хорошо, отчетливо и тоже в масштабе большого рисунка сделан Савинков у г. Хмары. Если бы у автора хватило сил по настоящему сделать жандармского генерала, то г. Чернявский мог бы дать фигуру, стоящую на уровне Порфирия из Достоевского... Гг. Богданов, Петрункин, Новоселов, Кононенко, Карабанов, чета Бологовских высоко несли знамя русского театра... Поставлена пьеса очень хорошо и тщательно, иногда – в манере Гран-Гиньоля».

Ну, насчет «Гран-Гиньоля»[16] это, конечно, от лукавого. Ничего, разумеется, похожего на «Гран-Гиньоль» в пьесе не

[16] Известный французский «Театр ужасов».

было, да и быть не могло. «Гран-Гиньоль» переживал я, в самом дальнем углу последнего ряда.

«Азеф» прошел четыре раза. И все разы «с аншлагом». Публика шла. Отмечу, что Вл. Л. Бурцев смотрел «Азефа» все четыре раза, сидя в первом ряду. Вероятно, будил в себе «заснувшие страсти» и «прошлую славу». Но я за все «четыре страдания» от администратора-жулика так никакого «утешения» и не получил. А когда, возмущенный, сказал об этом Григорию Хмаре, тот, иерихонски расхохотавшись, проговорил: «Да разве вы его не знали? Он – живоглот, он так жаден, что носки стирает в одном стакане воды, а второго ему жалко».

После четвертого представления «Азефа» сняли с репертуара, но не потому, что не делал сборов. Снятию предшествовало заседание у И. И. Фондаминского. Председательствовал Н. Д. Авксентьев, кратко сказавший, что при начавшихся преследованиях евреев в Германии он считает, что давать пьесу «Азеф» – unzeitgemäss. Почему-то Авксентьев так и сказал по-немецки: – «unzeitgemäss». Я знал, что он обучался наукам в Гейдельбергском университете. Не думаю, чтоб Авксентьев был прав. На эту тему правильно когда-то сказал первый президент Израиля Х. Вейцман: – «разрешите и нам иметь своих мерзавцев». Но так или иначе моя «драматургия» кончилась. И никогда других пьес я не писал, поняв, что я не драматург. И вообще *театр, как таковой*, не моя стихия. Я не театроман, не балетоман. Духовно и душевно для меня ничего нет более непринимаемого, чем, скажем, «театрализация жизни» Н. Н. Евреинова или «нарочитая снобистика» В. Набокова. Мне первоценно в жизни то, что немцы хорошо называют «das Elementare» (первозданное, первопричинное, стихийное). Я люблю *реалию* жизни, люблю «пляску с топотом и свистом под говор пьяных мужиков», а не Жизель, которая умирая, «дрыгает ножкой на сцене лунно-голубой» (по Ходасевичу).

Русские во французском кино

Хочу хотя бы вкратце отметить работу русских эмигрантов во французском кино. Пожалуй, даже не работу, а «вклад», если согласиться с известным французским кинорежиссером Жаном Ренуаром (сыном знаменитого живописца-импрессиониста), писавшего о фильме Ивана Мозжухина и Александра Волкова «Пылающий костер»: «Зал свистал и рычал, шокированный этим зрелищем, настолько отличавшимся от обычной банальщины. Но я был в восторге. Наконец-то я увидел хороший фильм, созданный во Франции. Правда, он был сделан *русскими*, но – в Монтройе, во французской атмосфере, в нашем климате». А историк французского киноискусства Марсель Лапьер писал о кинорежиссере А. Волкове, поставившем фильм «Гений и беспутство» (по роману А. Дюма-отца «Кин»): – «Фильм чрезвычайной кинематографической напряженности и должен быть отмечен во всех антологиях немого искусства».

После такого «французского эпиграфа» полагаю себя в праве помянуть добрым словом русских деятелей французского кино 20-х и 30-х годов: актеров, художников, режиссеров, продюсеров. Упомяну лишь главных, дабы не начал зевать и скучать «от перечня» мой читатель.

Начнем с актеров, но с некой печальной оговоркой: фильмы со знаменитыми русскими актерами Иваном Мозжухиным, Николаем Колиным, Валерием Инкижиновым шли во всем мире. Этих чудесных «немых актеров» знал *мировой кинозритель*, но... но только до первого «говорящего» фильма, то есть, до 1931 года. Когда «великий немой» неожиданно заговорил, международные карьеры «немых» знаменитостей вместе с баснословными гонорарами, мировой рекламой и беспечной жизнью оборвались. Утешеньем мог-

ло служить, что такую же судьбу разделил «сам» Чарли Чаплин. Утешение малое.

Во времена «немого» кино наиболее блестящим зарубежным русским актером во Франции (а стало быть во всем мире) был Иван Ильич Мозжухин. В Париже я встретил его раз, но мельком и во времена уже «говорящего фильма», когда Мозжухин был в полном упадке. В мировой славе я его лично не знавал. Но помню его со стародавних времен, ибо Иван Мозжухин – земляк, как и я, пензяк, «толстопятый». Только разница в возрасте была большая. Я – в 1-м классе Первой гимназии. А Мозжухин – в 8-м классе Второй гимназии. Но уже тогда Мозжухин часто выступал на сцене в любительских спектаклях и спектаклях смешанных из актеров и любителей. Помню его в пьесе Островского «Лес» в Зимнем Театре Вышеславцева (в Пензе было два репертуарных театра – Зимний и Летний). В «Лесе» Мозжухин играл «Алексиса». Богатую, пожилую помещицу Гурмыжскую играла наша близкая знакомая – Арсеньева (запамятовал имя и отчество), а недоучившегося гимназиста, за которого она выходит замуж, Алексея Буланова, «Алексиса», играл Мозжухин. И играл превосходно, по крайней мере я его запомнил.

В Пензе гимназист Мозжухин был необычайным франтом, таких тогда звали «пижонами»: в обтянутых брючках со штрипками, в фуражке с крошечными полями (мода тех времен), в шинели с иголочки. После гимназии пошел на сцену и выдвинулся сразу в каком-то драматическом театре в Петербурге и в первых тогдашних кинофильмах (помню, очень хорошо играл «Отца Сергия» по одноименному рассказу Льва Толстого).

Заграницей же, в эмиграции в Париже начался «блеск»: фильмы «Буря» (1921), «Дом тайны» (1922), «Казанова» (1922), «Пылающий костер» (1922), «Белый дьявол» (по «Кавказскому пленнику» Лермонтова, 1922), «Кин» (по роману Дюма,

1923), «Мишель Строгов» (по Жюль Верну, 1925), «Сержант Икс» (1932), «Моналеско, король грабителей», «Хаджи Мурат» (по Льву Толстому) и многие, многие другие. Кроме актерства Мозжухин был и режиссером вместе с А. Волковым. Слава и деньги лились рекой. Но все это... до 1931 года, до тех пор пока «немой» не заговорил. Тогда для талантливейшего русского актера Ивана Ильича Мозжухина началось угасанье: угасанье славы, безденежье, ибо ничего не копилось, а по-русски всё пролетало: «гений и беспутство», «однова живем!». И наконец – заболевание (туберкулез, кажется) и тяжкая смерть в нужде, в безденежьи, в чужом Париже. Хоронить Мозжухина было не на что. Друзья актеры, художники, музыканты вскладчину похоронили на Пер-Лашез пензяка Ивана Ильича Мозжухина.

В советской «Театральной Энциклопедии» – ни одной строки нет о талантливейшем И. И. Мозжухине. Как правило, в совизданиях об эмигрантах (актерах, художниках, певцах) раньше ничего не давалось. Теперь стали давать несколько строк. Но только о работе до революции. В Сов. Энц. Слов. (1980) о Мозжухине есть «две строки». Так что полная память о нем только и осталась в истории французского «немого» кино.

Столь же знаменит во французском немом кино был Николай Колин, об игре которого французы писали восторженно - «великий Колин»! Он действительно был актер Божьей милостью. Николай Федорович Колин начал актерскую работу в I Студии МХТ вместе с Ричардом Болеславским, в эмиграции ставшим большим режиссером в Голливуде, поставившим множество фильмов. Десять лет Колин был бессменным членом Правления I Студии. В МХТ с подлинным блеском выступал в «Двенадцатой ночи» Шекспира, в «Гибели Надежды», «Ведьме», «Юбилее», «Сверчке на печи», в «Селе Степанчикове» и многих других пьесах. В I-й Студии

с учениками консерватории поставил оперу «Евгений Онегин». Уже в России у Колина было настоящее большое имя. В МХТ он играл те же роли, что и Михаил Чехов. О своей работе в I Студии МХТ Колин пишет: «Я не выходил из студии, разве когда был занят в самом МХТ. А почему не выходил? Очень просто: я жил в студии. Спал на диване (он так и назывался «Колинский диван»), в комнате, где гримировался мужской персонал». В кино в России Колин не снимался (запрещали Константин Сергеевич и Владимир Иванович, оба не признававшие кино настоящим искусством).

Став эмигрантом, в Париже Николай Колин начал сниматься в кино и создал себе во Франции большое имя. Особенно известны его фильмы: «600 тысяч в месяц», «Втихомолку», «Парижский тряпичник», «Пылающий костер», «Кин» и многие другие. В «Кине» и «Пылающем костре» Колин выступал вместе с И. Мозжухиным. Вот что Николай Федорович пишет об Иване Мозжухине в письмах к режиссеру К. Е. Аренскому, которые я напечатал в «Новом Журнале» (кн. 113): – «Заметьте, многие киноартисты кончают жизнь нелепо. Мозжухин, краса и гордость русского кино, снимался без передышки, гонорары имел аховые, а на похороны собирали деньги по подписке. Куда ушли деньги, непостижимо, он и сам не знал».

А о себе Колин пишет: «Мой жизненный монтаж тоже был сделан плохим сценаристом. Бум! Трах! Бах! Фейерверк на весь Париж. Потом говорящий фильм, который нас всех по башкам... Да, Париж... Париж город сверхъестественный. Прожил в нем почти 20 лет, сжился с ним, полюбил его всеми фибрами души. Здесь начиналась и кончилась моя кинематографическая карьера (немой фильм). Достиг высот необычайных и с приходом говорящего фильма тихо спустился вниз. Сказка кончилась».

Русские актеры (по крайней мере настоящие, прежние, свободные) люди совсем иной породы. Европейские и аме-

риканские «звезды» сходят со сцены нормально: с хорошим капиталом и комфортабельно доживают свой век (Чаплин, Джон Вейн, Жан Габэн, Гари Грант, Грегори Пек, Мэри Пикфорд, Грета Гарбо, Марлен Дитрих и пр.). Русские же «звезды» почти все – «с исступлением чувств», и конец их часто трагический. У Мозжухина было беспутство и сорил деньгами без удержу. У Колина тоже был «порок»: никак не мог оторваться от тотализатора. Даже на старости лет (79 лет от роду), уезжая из Европы в Америку, пишет Аренскому: «Теперь о самом главном: где в Америке существуют бега? (это значит лошадки бегают...). Не смешайте со скачками, хотя и скачки меня тоже интересуют. Не случайные бега, а регулярные, т. е. летом и зимой, и во всякую погоду. Это моя вечная страсть». Кстати, та же страсть разорила знаменитого Никиту Валиева и вместе с ним его «Летучую Мышь» (не мог оторваться «от лошадок»).

В 1956 году Н. Ф. Колин приплыл из Европы в США. Тут под Нью-Йорком, в Наяке, и скончался в 1973 году 95 лет от роду. Жил в бедности. Друзья собирали для него деньги вскладчину. А он писал Аренскому: «Раскрываю книгу, моя «святая святых», которую берегу как зеницу ока. Это все рецензии о I Студии МХТ... И везде Колин, Колиным, о Колине... Рецензии такие, что реву белугой, когда читаю их...»

Видное место среди русских киноартистов на Западе занимал Валерий Инкижинов, советский актер, сотрудник Вс. Мейерхольда, получивший известность исполнением главной роли в советском фильме «Буря над Азией». В середине 20-х годов, будучи на Западе, В. Инкижинов «выбрал свободу», став эмигрантом. Исполнял главные роли в фильмах «Безрадостная улица» с Гретой Гарбо, «Амок» фильм Ф. Оцепа (советского режиссера, тоже «выбравшего свободу» и ставшего эмигрантом), «Пираты рельс», фильм Кристиана-Жака, «Волга в огне», фильм В. Стрижевского, «Триумф

Строгова», фильм В.Туржанского, «Дочь Мата-Хари», фильм Э. Мерузи и во многих других.

Наталия Кованько, киноактриса, получившая известность еще до революции, в Париже играла главные роли в фильмах В. Туржанского «Прелюд Шопена», «Песнь торжествующей любви» (по Тургеневу), «Тысяча и одна ночь», «Замаскированная дама» и во многих других. Наталия Лисенко, киноактриса тоже известная еще до революции, в Париже выступала в главных ролях в фильмах «Тревожная авантюра», Я. Протазанова, «Дитя карнавала», «Кин» – фильмы А. Волкова, «Афиша», фильм Ц. Эпштейна, «На рейде», фильм Кавальканти и во многих других. В письме К. Аренскому Н. Колин пишет о ней то же, что и о Мозжухине: «Лисенко, красавица, одевалась в лучших мэзонах Парижа, сорила деньгами, никаких счетов в банках не имела, и теперь кончает жизнь в старческом доме под Парижем без единого сантима» (письмо от марта 1962 г.). Сандра Милованова, ученица Анны Павловой, стала киноактрисой, играла в фильмах: «Тревожная авантюра», Я. Протазанова, «Мимолетные тени», А. Волкова, «Призрак Мулэн Руж», «Жертва ветра» – фильмы Ренэ Клэра, «Мишель Строгов», фильм В. Туржанского и во многих других. Поликарп Павлов, известный артист МХТ играл в фильмах «Раскольников», «Шехерезада», фильм А. Волкова, «Панама», фильм Н. Маликова, «Идиот» (по Достоевскому), фильм Г. Лампена, «Анастасия», фильм А. Литвака, «Монпарнас 19», фильм Ж. Беккера и во многих других. Николай Римский (актер Юга России) в Париже выступал в кино – «Роковой срок», фильм А. Волкова, «Тысяча и одна ночь», Эта свинья Морэна», «Замаскированная дама» – фильмы В. Туржанского, «Счастливая смерть», «Белый негр» – фильмы Надеждина и во многих других. Владимир Соколов, артист Московского Камерного Театра, играл в Париже в фильмах: «Опера за 4 гроша», фильм Пабста,

«На улицах», фильм В. Триваса, «На дне» (по М. Горькому), фильм Жана Ренуара, сценарий Евг. Замятина, «Мейерлинг», фильм Литвака и во многих других. Григорий Хмара, артист I Студии МХТ играл в фильмах «Распутин», «Человек, который убил» (по Клоду Фарреру), «Один раз в жизни», «Друг придет вечером», фильм Раймона Бернара и во многих других. Ольга Чехова – в России начинающая, но известная уже актриса, выступала в Париже в фильмах: «Соломенная шляпа» Ренэ Клэра, «Мулэн Руж», фильм Э. Дюпона и во многих других. Федор Иванович Шаляпин в Париже играл Дон Кихота в фильме «Дон Кихот» (по Сервантесу), Аршавир Шахатуни выступал в фильмах: «Мишель Строгов» В. Туржанского, «Наполеон» А. Ганса, «Угроза» Ж. Бертэна, «Андроник» и в других. Обрываю перечень, который совсем не полон, но для очерка «Русский Париж», думаю достаточен.

Перейду к русским художникам, работавшим во французском кино, из которых многие имели большое имя, а другие создали себе имя в кино. Названий фильмов не указываю, ибо это отяжелит перечень: А. Андреев, Мих. Андреенко, Юрий Анненков, А. Бакст, А. Бенуа, Н. Бенуа, Борис Билинский, А. Божерянов, К. Бруни, Г. Вакевич, М. Добужинский, И. Лошаков, Л. Мейерсон, П. Минин, Н. Ремизов, Петр Шильдкнехт и мн. др. Обрываю.

Как фильмовые режиссеры в Париже работали: А. Волков, А. Грановский, Г. Лампен, А. Литвак, Вяч. Туржанский, Вл. Стрижевский и др. Как «продукторы» – ветеран русского кино, начавший еще в России, И. Н. Ермольев («Тревожная авантюра», режиссер Як. Протазанов, «Роковой срок», режиссер А. Волков, «Денщик» /по Мопассану/, режиссер В. Стрижевский). Ермольев поставил много фильмов, имевших большой успех. Еще больше фильмов выпустил А. Б. Каминка («Прелюд Шопена», режиссер В. Туржановский, «Кармен», режиссер Жак Фейдер, «На дне» /по Горько-

му/, режиссер Жан Ренуар, «600 тысяч в месяц», «Песнь торжествующей любви» /по Тургеневу/), режиссер В. Туржанский, «Цвет папоротника», фильм марионеток Вл. Старевича, (кстати, режиссер и оператор В. Старевич был первым, выдумавшим в кино театр марионеток). В своем обществе «Альбатрос» А. Каменка поставил великое множество разнообразных фильмов. Интересные фильмы ставил и А. Р. Гурвич в обществе «Луна-фильм»: «Собака Баскервилей», по Конан Дойлю, главную роль играл артист МХТ Георгий Серов из Студии МХТ, выступавший и во французском театре Шарля Дюлена. Умер Серов на сцене от разрыва сердца. Стоит отметить, что «собаку» (баскервильскую) «играла», если так можно выразиться, сестра поэта Ю. Терапиано. Она так выла, что у зрителей шли мурашки по коже. В «вытье» и была ее роль. В «Луна-Фильм» вышли: «Вдова повешенного» с югославской артисткой Итой Риной, «Драма Маттерхорна», оперетта «Только не в губы», музыка Мориса Ивена, режиссеры Н. Римский и Н. Евреинов, «Управляйте мной, мадам!», «Любимица батальона», музыка польского композитора Казимира Оберфельда, «Дядя из Пекина», режиссер Никита Гурвич под псевдонимом Жак Дармон. Много фильмов выпустил известный продуктор Григорий Рабинович, раньше, работавший в большом немецком фильмовом Обществе «Уфа»: «Набережная в тумане», режиссер М. Карнз, «Я была авантюристкой», режиссер Р. Бернар, «Биение сердца», режиссер А. Декуэн, «Травиата», «Фауст», «Маскарад», «Божественная каста» и мн. др.

С годами во французское кино пришли русские «эмигрантские дети», «почти французы»: – Роже Вадим (Племянников), Марина Влади (Полякова-Байдарова), Натали Натье (Н. Беляева). Но это уже много лет спустя после моего «въезда» в Париж. И к моей теме не относится.

Русские художники в Париже

Тема о русских художниках в Париже «объемна», как говорят теперь по-советски. Не знаю, дам ли я в кратком наброске достаточно для общей картины «русского Парижа»?

Общеизвестно – Париж всегда был столицей мировой живописи. Помню мое парижское уличное удивление, которого не пережил ни в одной стране, ни в одном городе. Сидит на площади (или на улице) на каком-то «треножнике» художник, пишет пейзаж. Вокруг плотным кружком стоят разные люди (остановившиеся прохожие) и молчаливо, внимательно, заинтересованно следят за его мазками по полотну. Стоят долго. И я вижу, что все они относятся к работе художника, как к *настоящему делу*.

Русские художники подолгу живали в Париже и до революции. А после нее наводнили Монпарнас, Монмартр, Сан-Жермен-де-Прэ, став парижанами. Тут были все: реалисты, мирискуссники, предметные символисты, импрессионисты, экспрессионисты, абстракционисты, кубисты, дадаисты и т. д. Основоположник «Мира искусства» Александр Бенуа; Юрий Анненков, иллюстратор «Двенадцати» А. Блока, рисовальщик портретов Ленина, Троцкого и автор двухтомных воспоминаний «Дневник моих встреч», Наталия Гончарова и Михаил Ларионов («Бубновый валет», «Ослиный хвост»), о них убитый чекистами Н. Гумилев писал: – «Восток и нежный и блестящий / В себе открыла Гончарова / Величье жизни настоящей у Ларионова сурово». Иван Билибин, Константин Богаевский, Мстислав Добужинский, Борис Григорьев («Расея»), Константин Коровин, Н. Миллиоти, Зинаида Серебрякова, Константин Сомов, Сергей Судейкин, Дм. Стеллецкий (когда Дягилев в Париже предложил ему написать декорации к какому-то балету, показавшемуся Стеллецкому кощунственным, отказ свой художник объяснил

так: – «Во-первых, я дворянин, во-вторых, я русский дворянин, в-третьих, я русский православный дворянин»; Стеллецкий расписал церковь на Сергиевском Подворье в Париже); Ф. Малявин, П. Мансуров (ученик Малевича), Н. Калмаков, много работал для театра, приобрел большую известность, С. Иванов, П. Шмаров, А. Лаховский, Н. Исцеленов (архитектор и скульптор), кн. А. Шервашидзе, П. Нилус, Ксана Богуславская, А. Грищенко, Ростислав Добужинский (сын Мстислава Добужинского), Альберт Бенуа (акварелист и архитектор, по его планам построена часовня в Сент Женевьев де Буа), Г. Пожидаев (театральный художник и пейзажист), А. Алексеев (знаменитый иллюстратор Достоевского, Гоголя и др.), Е. Ширяев, Л. Бенатов, А. Блюм, А. Минчин, Б. Гозиансон, Хана Орлова, П. Трубецкой, Андрусов, Артемов, Гурджиан, Аронсон, Цадкин и др.; А. Яковлев (участник двух экспедиций, устроенных Андрэ Ситроэном, – «Черный поход» через Африку и «Желтый поход» через Азию – давших Яковлеву сотни полотен, рисунков, эскизов, выставлявшихся в Париже); Василий Шухаев (вернувшийся в 1935 году в СССР и за сию глупость получивший 15 лет концлагеря, как «вредитель»; работал 15 лет на лесоповале); Леон Бакст – столп «Мира искусства», портретист и театральный художник, оказавший влияние на декоративное искусство Франции, Сергей Чехонин, делавший чудесные, смелые костюмы и декорации в балете Немчиновой-Долина и в «Летучей Мыши» Никиты Балиева; Иосиф Браз (известный портретист) /портрет Чехова/ приехал в Париж в 1930 году после 10-летнего заключения на Соловках, Иван Лебедев, стяжавший у французов известность, как гравер и иллюстратор; бежавший от Гитлера, знаменитый, отец абстракционизма Василий Кандинский, автор книги «Духовное в искусстве»; не менее знаменитый Марк Шагал, живописец летающих местечковых евреев, зеленых хасидов, мистических иллюстра-

ций к Библии, сделавший плафон для парижской Гранд Опера; Георгий Лукомский, известный иллюстратор книг многих городов («Киев», «Московский Кремль» и др.), Хаим Сутин, Конст. Вещилов, Григорий Шильтян, Дм. Бушей, А. Серебряков, Иван Пуни, Константин Терешкович, Сергей Шаршун, Леон Зак, Ник. Исаев, Ник. Бенуа (театральный художник, сын Александра Бенуа), Р. Пикельный, Мих. Андреенко, Дм. Меринов, Любич, Кремень, Леонид, Борис Билинский (театральный художник), А. Андреев (театральный художник из МХТ, во Франции работал для кино), С. Лисим, Борис Шаляпин (сын Ф. И. Шаляпина). Обрываю перечень, хоть знаю, что многих пропустил. Отмечу еще только четырех, попавших в эмиграцию совсем «зелеными» и сделавших себе международное имя: Андрей Ланской, Николай де Сталь, Павел Челищев и Сергей Поляков (из известной цыганской семьи Поляковых). О их творчестве много написано. Их работы – в музеях Европы и Америки.

Русская музыка в Париже

Общеизвестно, что большевицкие псевдонимы выбросили из России за рубеж цвет русской культуры во всех ее областях: в философии, в науке о праве, в экономике, истории, социологии, археологии, в точных науках, в адвокатуре, в литературе, в театре, балете, опере, в живописи, в музыке. Конечно, кто-то из представителей старой русской культуры остался и в Сов. России (либо не хотел уйти в изгнание, либо не мог). С годами оставшиеся были уничтожены: одни физически, другие приведены к молчанию. Были и такие, кто пошел в услужение к псевдонимам, покончив, так сказать, духовным «самоубийством».

Можно утверждать, что русская музыка в Париже 20-х и 30-х годов была явлением не русским, а мировым. С 1920-х годов до 1939-го в Париже жил Игорь Федорович

Стравинский, создавший себе мировое имя. В СССР музыки Стравинского в эти годы *не существовало*, ибо это был «сумбур вместо музыки», и в течение десятилетий Стравинского там успешно заменял... Тихон Хренников. Говоря о творчестве И. Ф. Стравинского, упомяну лишь некоторые его композиции, созданные за рубежом: одноактная опера «Мавра» по поэме Пушкина «Домик в Коломне», хореографическая кантата «Свадебка», мелодрама-балет «Персефона» (по А. Жиду), «История солдата», «Русская песнь», «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана», «Фавн и пастушка», балеты «Песнь соловья», «Пульчинелла», «Поцелуй феи», «Апполон Мусагет». В 1926 году в Италии, в Падуе, на праздновании 700-летия св. Антония Падуанского с атеистом-эстетом Стравинским «что-то произошло»: что мы точно не знаем. Стравинский «обрел веру». И с тех пор его музыка обогатилась религиозными темами. Он создал «Отче наш», «Верую», «Богородице Дево радуйся». В 1939 году Стравинский переехал в США. Скончался в 1971 году. Похоронили знаменитого русского композитора, по его желанию, в Венеции на кладбище «San Michele» недалеко от могилы Дягилева.

Столь же громкое мировое имя приобрел за рубежом Сергей Сергеевич Прокофьев. Его вещи: – скомороший балет «Сказка про шута семерых шутов перешутившего», «Любовь к трем апельсинам» по Карло Гоцци, опера-сказка «Огненный ангел» по Валерию Брюсову, балеты – «Стальной скок», «Блудный сын». Кроме того *пианист* Прокофьев концертировал во всем мире и везде с «бушующим успехом». Но в 1932 он возвратился в СССР. Думаю, из-за своей природной «экстравагантности». И что же? Как пишет советская театральная энциклопедия: «Прокофьев занял почетное место в ряду активных *строителей* (ну, конечно же «строителей», а как же иначе?!) *музыкальной культуры*». Ведь в СССР трудящиеся 65 лет *строят* социалистический «хрустальный дворец с

золотыми уборными». И С. С. Прокофьев «включился» в *строительство*, создав оперу «Семен Котко» по халтурной повести В. Катаева «Я сын трудового народа» и оперу «Повесть о настоящем человеке» по халтурной повести Б. Полевого. За 20 лет «строительства музыкальной культуры» С. С. Прокофьев шесть раз был «удостоен Сталинской премии» («Иван Грозный», «Александр Невский», «На страже мира», «Здравица» и пр.). Но умер Прокофьев неудачно: 5 марта 1953 года, в один день со Сталиным. Смерть прошла незамеченной (народ оплакивал великого вождя народов). Но посмертно новые вожди наградили Прокофьева Ленинской премией! И о когда-то свободном, дерзком, насмешливом, экстравагантном композиторе Прокофьеве казенные органы писали, что в СССР у Прокофьева произошел «поворот к подлинно-реалистическому искусству, проникнутому глубокой человечностью». Эта «глубокая человечность» прилыгалась и к Ленину, и к Сталину.

Жил и работал в эти годы в Париже Александр Константинович Глазунов, бывший директор Петербургской консерватории, в 1922 году даже – Народный Артист Республики. Но Глазунов променял эту «золотую уборную» на трудную, свободную жизнь за рубежом. Упомяну его прежние произведения: балет «Раймонда», музыка к пьесе «Саломея» Оскара Уайльда, к драме Лермонтова «Маскарад», 8 симфоний. В Париже А. К. Глазунов написал эпическую поэму для Французской Академии изящных искусств. А как Глазунов относился к «золотым уборным» СССР – приведу цитату из воспоминаний Анны Кашиной-Евреиновой (жены Н. Н. Евреинова). Вот разговор Н. Н. Евреинова и А. К. Глазунова в монмартрском кафе.

«Николай Николаевич, объясните мне, почему мы с вами здесь? Зачем? Вы – русский деятель театра, я – русский композитор. Зачем мы здесь? – говорил уже подвыпивший Глазунов.

– А вам разве ТУДА хочется, Александр Константинович?

– Ой, что вы, что вы! – испуганно замахал руками Глазунов. – Когда и во сне-то вижу, что я ТАМ, так просыпаюсь в холодном поту!» Скончался знаменитый русский композитор А. К. Глазунов в Париже в 1936 году. В Париже Глазуновым созданы: «концерт-баллада» для виолончели, концерт для саксофона с оркестром, элегия для струнного квартета, 7-й квартет, «прелюд и фуга» для органа, «фантазия» для органа, романсы и др. Для церковного хора – знаменный распев «Да воскреснет Бог».

Жил в Париже Александр Тихонович Гречанинов, написавший здесь музыку к «Женитьбе» по Гоголю (декорации С. Судейкина, 1950), детскую оперу «Кот, петух и лиса», «Литургия Доместика» с участием оркестра, исполнявшуюся во многих католических храмах, «Римские сонеты», сюиты для фортепиано и виолончели, а также вокальные произведения. Я познакомился (и можно сказать даже подружился) с Александром Тихоновичем уже в Америке, в Нью-Йорке. Он был милый человек и интересный рассказчик о прошлом, но, к сожалению, обремененный навязчивой идеей: «Чем я хуже Рахманинова, а вот его повсеместно исполняют, а меня замалчивают, да, замалчивают», – то и дело говорил Гречанинов. Незадолго до кончины А. Т. подарил мне книгу своих воспоминаний «Моя жизнь» и хорошую, большую фотографию: он снят в нью-йоркском Сентрал Парке, сидит у какой-то скалы.

Приведу небольшой отрывок из этой книги.

«В 1937 году в Париже был объявлен конкурс на сочинение католической мессы и пяти мотетов для четырехголосного смешанного хора и органа. Я решил принять участие в этом конкурсе. Он был открытый, т. е. имя автора не скрывалось под каким либо девизом. У меня было мало уверенности в том, что будучи православным, я смогу конкурировать с ка-

толическими композиторами в этой области, а потому, написав один мотет, я послал его аббату Henri Delepin'у, директору издательства, объявившему конкурс, чтобы узнать, стоит ли мне участвовать в конкурсе, могу ли я иметь какой-нибудь шанс на получение премии. В ответ на мое письмо ко мне приезжает сам аббат и выражает восторженные похвалы этому мотету и советует писать дальше. Все пять мотетов написаны, отосланы аббату, – «писать ли мессу?» – спрашиваю.

– Конечно, писать, – отвечает аббат.

Написана и месса. Опять приезжает ко мне аббат, новый мой поклонник, и уверяет, что все написанное мною так хорошо, что я получу все десять премий – и за мессу и за мотеты.

– Вы в этом уверены? – спрашиваю я.

– Настолько, – отвечает он, – что могу дать вам аванс, если желаете.

Это было как-раз кстати, т. к. я собирался в турне в прибалтийские страны с г-жей Макушиной и мне нужны были деньги, чтобы тронуться в путешествие. Уже будучи в Стокгольме я получил официальное извещение, что все мои мотеты и месса получили премии (10.000 франков). А было у меня 38 конкурентов католиков – французов и бельгийцев.

Весной того же года, по возвращении моем из Прибалтики, я дирижировал в Париже своей мессой – названной «Missa Festiva», – в одной католической церкви, а в следующем сезоне месса была торжественно исполнена в соборе Notre Dame de Paris хором в 200 человек также под моим управлением. Служил кардинал Verdier. Собор был переполнен молящимися».

Часто наезжал в Париж Сергей Васильевич Рахманинов. Но в 20-е, 30-е годы Рахманинов больше концертировал во всем мире, особенно подолгу – в Америке, и стяжал мировую славу и богатство. Выступал С. В. и как дирижер, и как пианист. Как композитор С. В. работал мало, написал заграни-

цей всего 42–45 опусы. В 1933 году в интервью парижской газете «Последние Новости» Рахманинов сказал: «После России мне как-то не сочиняется... Воздух здесь другой что-ли...» За рубежом Рахманинов написал: «Вариации на тему Корелли» (1931), «Рапсодию на тему Паганини» (1934), «Симфонию № 3» (1935/36), «Симфонические танцы» (1940). Знатоки его музыки эти произведения считают лучшими достижениями Рахманинова-композитора. В письме к Эм. Карл. Метнеру (брату композитора Н. К. Метнера) Рахманинов в 1929 году писал: – «Я эстрадный человек, т. е. люблю эстраду и в противоположность многим артистам не вяну от эстрады, а крепну...» В том же интервью «Последним Новостям» Рахманинов сказал: «В Америке я работаю уже 15-й сезон. За это время я дал около 750 концертов. Я никогда не мог делать два дела вместе. Я или играл, или только дирижировал, или только сочинял». В сезоне 1929/30 Рахманинов дал 54 концерта: 30 в Европе и 24 в Америке. В Америке не было не только уж большого города, но и маленького городка, где бы не выступал Рахманинов. И всегда – с ошеломляющим успехом, особенно когда играл свои вещи. «Я концертировал в Америке чуть не ежедневно подряд три месяца. Играл исключительно свои произведения...» Может быть никто из русских композиторов и пианистов не завоевал такого – в подлинном смысле – *мирового* имени, как Рахманинов. И это тогда, когда в СССР Рахманинов всего-навсего был «недобитым белогвардейцем» и его произведения не исполнялись. После смерти Рахманинова – спохватились. Номенклатурщики (это людьё), видите ли, «реабилитировали» (перед кем?) великого русского музыканта Сергея Васильевича Рахманинова (какая честь!): и музей его имени, и издание его писем, и исполнение его произведений...

В Париж из Лондона наезжал и другой знаменитый русский композитор-эмигрант: Николай Карлович Метнер, ав-

тор ценной книги «Музы и мода». О нем, как музыканте, хорошо пишет Рахманинов в письме к его брату: «Я решительно сомневаюсь, были ли когда на свете такие пианисты! Непонятно, как он остается жив, источая такое количество энергии и какой энергии!» Но Н. К. Метнер в Союзе не «реабилитирован». Надо понять и номенклатурщиков: нельзя же «реабилитировать» всю Россию, которую они убили.

Жил в Париже композитор Фома Александрович Гартман, автор оперы «Эстер» и балета «Аленький цветочек», шедшего в свое время в Мариинском театре. Гартмана высоко ценили и Рахманинов и Шаляпин. В эмиграции Гартман сначала в Константинополе, потом в Берлине организовал симфонический оркестр для пропаганды русской музыки. Потом переехал в Париж и здесь стал профессором русской консерватории. Написал балет «Бабетта», поставленный в 1935 году в Ницце, 4 симфонии, писал и камерную музыку (романсы на слова К. Бальмонта). После войны переехал в США, скончался в Принстоне (1956).

Своеобычным композитором в Париже был Иван Александрович Вышнеградский, из плеяды «русских модернистов» (А. Рославец, Артур Лурье, Обухов, Литинский). По своему мировоззрению Вышнеградский был близок к Скрябину. В Париже он написал свое главное произведение «День Бытия» для симфонического оркестра с чтецом, декламирующим текст. Впервые «День Бытия» был исполнен в 1976 году в Париже. Кроме «Дня Бытия» композитор написал ряд этюдов и прелюдий. Писал Вышнеградский и статьи по теории музыки, давая объяснения своего стиля: – трактат «Manuel d’harmonie à quatre de ton», «Musique et Pansonorité», публикуя их во французском журнале «Revue Musicale». Зарубежный музыковед Андрей Лишке в некрологе Вышнеградского пишет, что любимым словом композитора было «Всезвучие» (Pansonorité) и приводит фразу из его статьи, ко-

торая, по мнению Лишке, дает исчерпывающее определение художественного мировоззрения Вышнеградского: «Музыка есть умение наилучшим образом отражать Всезвучие при помощи музыкальных звуков». Произведения И. А. Вышнеградского исполняются во Франции, Зап. Германии, США, Канаде. Правда, А. К. Глазунов так отозвался о музыке Вышнеградского: «Вчера слушал музыку Вышнеградского на изобретенном им готовом четвертитонном пианино. От этих «четвертей» у меня разболелась голова».

Из преподававших в Русской Консерватории композиторов я ничего не пишу о Вл. Ив. Поле (муж известной камерной певицы Ян Рубан), А. К. Требинском и Л. Л. Сабанееве. Владимира Ивановича Поля я часто встречал в Париже, но совсем не по «музыкальной» линии, а по другой (о чем речь будет дальше). Композиций Поля, к сожалению, не знаю, так же как не знаю, к сожалению, творчества А. К. Требинского и Л. Л. Сабанеева. Я читал много статей Л. Л. Сабанеева по вопросам искусства, и всегда с интересом, ибо Л. Л. был большим знатоком во многих областях искусства.

Жили в Париже известные композиторы, отец и сын, Черепнины. Николай Николаевич Черепнин был первым директором «Русской Консерватории имени Рахманинова». Композитор и дирижер Н. Н. Черепнин, как и А. К. Глазунов, в России был профессором Петербургской консерватории, был дирижером в Мариинском театре. За рубежом создал оперу «Ванька Ключник» (1935), балеты «Вакх» (1922), «Сказка о царевне Улыбе» (1922), «Роман мумии» (1924), редактировал оперу М. Мусоргского «Сорочинская ярмарка», аранжировал для балета оперу Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» (1937, Лондон), выступал, как дирижер и пианист.

Александр Николаевич Черепнин (его сын), композитор и пианист, много дал русской музыке за рубежом. Как пиа-

нист, концертировал во Франции, Англии, Германии, Австрии, Канаде, США, во всем мире. Ему принадлежат: опера «Оль-Оль» (1928), «Свадьба Зобеиды» (1933), «Трепак» (1938), «Легенда о Разине» (1941). Черепнин оркестровал и завершил неоконченную оперу М. Мусоргского «Женитьба» (1937).

Другими молодыми композиторами Зарубежья были Н. Д. Набоков (балеты «Ода», «Юнион Пасифик», оратория «Иов», «Лирическая симфония» и др.) и Влад. Дукельский (в Париже – балет «Зефир и Флора», в Америке, под псевдонимом Вернон Дюк, Дукельский сделал себе имя в области «легкой музыки»).

Жил в Париже композитор А. А. Бернарди, бывший дирижер в Мариинском театре в Петербурге, в молодости друживший с членами «Могучей кучки», особенно со знаменитым М. А. Балакиревым. В Париже А. А. был профессором «Русской Консерватории Имени Рахманинова». Музыкальное наследство А. А., к сожалению, мало известно широкой публике. Во французском журнале «Revue de Musicologie» (1982) об А. А. Бернарди помещена статья Андрея Лишке. Из произведений А. А. Бернарди мы знаем сюиту «Кружевной век», «Вариации на тему Янки Дудль», кантату «Лес» на слова Кольцова. Скончался А. А. Бернарди в 1943 году в Париже.

Столь же мало знаем мы о другом зарубежном русском композиторе и дирижере Юр. Ник. Померанцеве. В России Ю. Н. Померанцев был автором балета «Волшебные грезы», оперы «Покрывало Беатриче», многих романсов на слова А. Фета и А. К. Толстого. Был дирижером сначала в театре Зимина, потом – в Большом. На концертах выступал совместно с Н. К. Метнером. В Париже Ю. Н. Померанцев был директором «Музыкальной школы» при русском Народном Университете. Музыкальное наследство Ю. Н. Померанцева еще ждет исследователя.

Совершенно особое место в русской музыке за рубежом занимает глубокий знаток и историк богослужебного пения русской православной церкви Иван Алексеевич Гарднер, автор капитального двухтомного труда «Богослужебное Пение Русской Православной Церкви». Музыке православного литургического пения посвятил себя и зарубежный композитор Иван Семенович Лямин, окончивший Парижскую Национальную Консерваторию с отличием первой степени. Чтобы существовать с семьей И. С. писал музыку к многочисленным фильмам: – «Les Cathédrales de France», «Alpinisme», «Ski de printemps», «Dessins animés», «Au clair de la lune» и мн. др. Но это был лишь «хлеб насущный», а подлинный художник «единым хлебом» не живет. Приведу выдержку из письма И. С. Лямина к своему другу (от 1937 года), опубликованного в статье М. Ковалевского «Композитор И. С. Лямин» в парижской «Русской Мысли»: «Работа у меня совсем не интересная и делаю я ее механически, ни головой, ни сердцем в ней не участвуя... Это я говорю, конечно, о «настоящем» творчестве, нужном не для меня, не для людей, а вообще так, как бы для выявления и прославления истины – вне зависимости от чего бы то ни было... Вот не знаю, суждено ли мне когда-нибудь приобщиться к этому... А ведь только это интересно, только то и ценно, что никому не нужно, а нужно только «истине» и через нее... нужно всем...».

В 1944-м году в день освобождения Парижа от немцев И. С. Лямин был убит шальной пулей, влетевшей в окно. Друзья И. С. Лямина стараются обнародовать церковные песнопения, созданные этим интересным человеком и композитором: «Господи сил с нами буди» для смешанного квинтета, «Благослови, Душе моя, Господи», «Заповеди блаженства», «Херувимскую песнь» для большого смешанного хора, и другие. Дай Бог им удачи!

Перечислю русских зарубежных дирижеров, пианистов, скрипачей. Мировую известность, как дирижер, завоевал С. А. Кусевицкий, начавший выступления в Париже, а с 1924 года, переехав в Америку, – в Бостоне. Большую известность приобрел Игорь Маркевич, одно время дирижировавший в знаменитых концертах Ламурэ в Париже, основавший школу дирижеров в Зальцбурге. Выдающимся дирижером был и Н. Малько. Как пианист в Париже выступал Владимир Горовиц, позже в Америке ставший мировой знаменитостью. Как всегда с большим успехом в Париже выступал известный дирижер и пианист Исай Александрович Добровейн. По заказу известного общества Патэ И. А. проделал громадную музыкальную работу, зарегистрировав всю оперу «Борис Годунов» Мусоргского с Борисом Кристовым в главной роли. Лжедмитрия пел Николай Гедда. Регистрация происходила в парижском Театре Елисейских Полей под тщательнейшим руководством Добровейна и является до сих пор самой лучшей музыкальной записью этой оперы. Из пианистов надо отметить: А. Браиловского, Н. А. Орлова, А. Боровского, Сулима Стравинского (сына И. Ф.), Кс. Прохорову. Из скрипачей – Цецилия Ганзен, Н. Милыптейн, А. Андреев, М. Эльман, Е. Цимбалист. Из виолончелистов: Гр. Пятигорский, Дмитрий Маркевич. Обрываю. Вероятно кого-нибудь пропустил, да простят мне «пропущенные».

Пиша этот набросок о «русской музыке в Париже», я знаю, что делаю не свое дело, ибо в музыке я всего навсего «любящий слушатель». О музыке в «унесенной России» должен написать *книгу* кто-нибудь из зарубежных музыковедов, например, Андрей Лишке, не только знающий эту музыку как должно, но и лично знававший многих знаменитых зарубежных композиторов и музыкантов.

Хоры, цыгане, Вертинский, Плевицкая

Очерк о русской музыке в Париже был бы неполон, если б я не сказал о русских хорах. Эти зарубежные русские хоры пели не только для русских: гастролировали во всем мире с неизменным успехом. Русский народ – певческий: чего-чего, а поют русские от природы хорошо.

В эмиграции первым создался хор знаменитого еще по России хормейстера А. А. Архангельского. Архангельский создал свой хор в Праге в 1923 году из 120 человек. Но через год Архангельский скончался, управление хором перенял известный А. Г. Чесноков, но ненадолго: переехал в Париж и хор самораспутился.

В Париже выступало несколько русских зарубежных хоров: Хор Донских Казаков Сергея Жарова, воспитанника (если не ошибаюсь) Московского Синодального Училища. Этот хор (с «плясками и свистом») имел международный успех, гастролируя во всем мире. Вокально соперничавший с ним был хор имени Атамана Платова, руководимый Николаем Кострюковым. И этот хор успешно объездил весь мир.

Но если хоры русской народной песни в Париже успешно делали ставку на «русскую грусть» и «русскую удаль» с залихватскими плясками, то знаменитый (так вполне можно сказать) парижский церковный хор Н. Афонского был хором тонкой и сложной художественности исполнения, как церковных песнопений, так (иногда) и светского пения. Хор Афонского выступал (в концертах) вместе с Ф. И. Шаляпиным. Н. Афонский был не только выдающимся регентом, но и композитором церковных богослужебных песнопений. Говорят, что Шаляпин считал хор Афонского «лучшим в мире». Похвально и лестно отзывались о хоре Афонского – Гречанинов, Черепнин, Рахманинов. А им и книги в руки!

Большую вокальную русскую ценность за рубежом представлял знаменитый квартет Ник. Ник. Кедрова. До революции его квартет знала вся музыкальная Россия. Н. Н. Кедров был профессором петербургской консерватории и руководителем придворной певческой капеллы. Став эмигрантом, в Париже в 20-х годах Н. Н. Кедров восстановил квартет и объехал с ним весь мир, имея везде успех. Н. Н. Кедров был не только «душой квартета», но и композитором церковного пения, он автор «Вселенской Литургии» и «Отче наш», до сих пор исполняющихся в зарубежных русских православных церквах. Много духовных концертов квартет Н. Н. Кедрова давал в католических храмах. Умер Н. Н. Кедров в 1940-м году. Сменил его, как «душу квартета», Н. Н. Кедров, младший (его сын).

Говоря о русских хорах не могу не сказать о зарубежных цыганах. В России цыганская песня, как нигде (м. б. в Венгрии, в Румынии?), навсегда переплелась с русской. Кто только не был страстным «цыганоманом» из русских писателей: Лев Толстой, А. Пушкин, Н. Некрасов, Аполлон Григорьев, А. Апухтин, Н. Лесков. Н. С. Лесков изумительно передал самую суть цыганщины, этого «достигательного», как он говорил, пения. Приведу цитату из «Очарованного странника»: «Вот цыгане покашляли и молодой взял в руки гитару, и она запела. Знаете... их пение обыкновенно достигательное, и за сердца трогает, а я как услыхал этот самый ее голос... ужасно мне понравилось! Начала она так, как будто грубовато, мужественно эдак: «Мо-о-ре во-оо-ет, мо-оре стонет». Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночек поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращенье к звезде: «Золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда земная недоступна для меня». И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими обращениями, то плачет, томит, просто душу из тебя вынима-

ет, а потом вдруг хватит в другом роде и точно сразу опять сердце вставит... Так и тут она это «море»-то с «челном» всколыхнула, а другие как завизжат всем хором:

«Джа-ла̀-ла, Джа-ла̀-ла,
Джа-ла̀-ла, прилгала̀...»

Почему цыганская песня могла так действовать на русского человека? По-моему потому, что в славянах вообще, а в русских особенно, живет некая тяга к *исступлению чувств.* Пример тому – страстный жизнелюб Аполлон Григорьев, обессмертивший себя «Цыганской Венгеркой». Это тоска по стихийности, по первозданности, по первичности, по этому самому «das Elementare».

В молодости, в России, я любил цыганщину. Но послушать настоящих цыган *живьем* довелось только раз. Зато «этот раз» я навек запомнил. Было это, к сожалению, не у «Яра» и не с загулом. А был это чинный большой концерт в Благородном Собрании в Москве в 1915 году всего цыганского хора от «Яра» во главе с незабываемой Настей Поляковой. Концерт давали цыгане в пользу раненых на войне солдат и офицеров, лежавших в московских госпиталях.

Как сейчас помню, чудесный зал Благородного Собрания – битком. На сцену выходят яровские цыгане и цыганки в разноцветных, своеобразных, ярких одеяниях с монистами. А когда этот очень большой хор заполнил эстраду, под бурные аплодисменты зала, вышла и знаменитая Настя Полякова: одета в ярко-красное (какое-то «горящее») платье, смуглая, как «суглинковая», статная. А за ней два гитариста – в цыганских цветных костюмах. Настя встала в середине эстрады, впереди хора, гитаристы – по бокам. И началось. Чего только Настя Полякова тогда не пела: «Ах да не вечерняя» (любимая песня Льва Толстого), «В час роковой», «Отойди, не гляди»,

«Успокой меня неспокойного, осчастливь меня несчастливого»... А гитаристы на своих «краснощековских» гитарах (гитары все в лентах) такими переборами аккомпанировали, что «закачаешься».

А потом? А потом – всего лет через семь-восемь Настя Полякова с цыганским хором (уж не таким большим, но хорошим) пела в дорогом, ночном, парижском ресторане (кажется, в «Шехерезаде»). Хором управлял ее брат Дмитрий Поляков, в хору и соло пели, ей подстать, знаменитые цыганки – Нюра Массальская, Ганна Мархаленко, пел и ныне здравствующий (95 лет) знаменитый Владимир Поляков, ее племянник, пели чудесные цыгане Дмитриевичи.

Наездами в Париже бывал знаменитый исполнитель цыганского романса – Юрий Морфесси. «Правнук греческого пирата», как он говорил о себе. Успех у него всегда бывал небывалый. Такой же, как и во всей России до революции. В России Морфесси пел даже перед государем на яхте «Полярная Звезда», за что получил царский подарок – запонки с бриллиантовыми орлами. Еще любимцем цыганщины у русских парижан был бывший летчик Н. Г. Северский, большой друг Морфесси, сын знаменитого до революции певца.

Настя Полякова концертировала во Франции, в Германии, в Америке – пела даже в Белом Доме перед президентом Ф. Д. Рузвельтом. Но вряд ли Рузвельт «понял» что-нибудь в этом «исступлении чувств» (это специальность русская, а никак уж не американская). Теперь все эти знаменитые зарубежные цыгане ушли в лучший мир (остался один-одинёшенек Владимир Поляков). Настя Полякова умерла в Нью-Йорке в бедности.

В былой России цыганщина жила как у себя дома. В Москве – Поляковы, Орловы, Лебедевы, Панины. В Петербурге – Шишкины, Массальские, Панковы. Сколько цыганок вышло замуж за русских дворян и купцов. Цыганское пение

было на высоте. Русский эмигрант, парижанин, в былом известный театральный критик, А. А. Плещеев в книге воспоминаний «Под сенью кулис» рассказывает, как во время «загула» у яровских цыган знаменитый композитор и пианист Антон Григорьевич Рубинштейн рухнул вдруг перед хором на колени и прокричал: – «Это душа поет, душа говорит! Слушайте!!! А я? Что я? Инструмент играет, а не я! Я не должен играть перед вами!» – Вот как понимали цыган такие музыканты, как Рубинштейн!

Известно, что Ленин и Гитлер физически истребляли цыган, *как таковых.* Ленин потому, что кочевое, таборное «фараоново племя» не укладывалось в «марксову теорию» и к пресловутому «пролетариату» никак не подходило. Поэтому цыгане «массовидно» уничтожались. Гитлер потому, что не считал цыган «арийцами», хотя таинственное «фараоново племя» к истинным арийцам было, вероятно, гораздо ближе, чем австрийский ефрейтор. Но в начале тридцатых годов в СССР произошла некая «реабилитация» (после того, как цыган, *как племя*, уничтожили). В 1931 году в Москве (для привлечения иностранных туристов и выкачивания из них валюты) даже открыли «советский цыганский театр «Ромэн» при Главискусстве Наркомпроса РСФСР», причем задача театра определялась так: – «театр должен пропагандировать переход цыган к оседлой трудовой жизни». Художественным руководителем театра стал М. И. Гольдблат (не цыган). Потом С. А. Баркан (не цыган). Эмигрант «третьей волны» рассказал мне такой анекдот о театре «Ромэн». Кто-то будто бы спросил Баркана: – «Скажите, пожалуйста, сколько у вас в театре настоящих цыган?» – На что Бакран будто-бы ответил: «Кроме меня и Рабиновича, остальные все евреи». Это, конечно, «хохма». В театре «Ромэн» есть цыгане, но их «кот наплакал». Мне называли фамилии цыган: – цыганский премьер Н. Сличенко, Тимофеева, Волшаниновы, Жемчужина,

Шишков, Туманский, кто-то еще. Исторический же факт: *цыгане, как племя, в СССР уничтожены.*

Отмечу двух знаменитых эстрадных певцов русского Парижа. Александр Вертинский и Надежда Васильевна Плевицкая. До революции у обоих в России гремело «всероссийское имя». В Париже Вертинский выступал и в своих концертах, и в благотворительных для русских зарубежных организаций. Сначала его пение «делало сборы». Вперемежку со старым он пел и новое: «Хорошо мне в степи Молдаванской», «И стоят чужие города / И чужая плещется вода», положенное им на музыку, чуть измененное стихотворение Георгия Иванова «И слишком устали и слишком мы стары / Для этого вальса, для этой гитары». Но, конечно, за рубежом публики для Вертинского было маловато. К тому ж некоторые эмигранты относились к нему подозрительно-недружелюбно. Один знакомый как-то сказал мне: «У Вертинского красные подштанники!», намекая на какие-то советские связи. Не знаю, были связи иль их не было, но когда Вертинский вернулся в СССР, встречен был с распростертыми объятиями. Актеры часто, увы, – не граждане. В Париже Вертинский пробовал петь по-французски – не вышло, «не оценили», пришлось оставить. Перенес свои выступления в русские ночные кабаки. Но это мало давало. И из Парижа А. Вертинский уехал на Дальний Восток, а оттуда в СССР.

В связи с Вертинским вспоминаю Эренбурга. Правда, это относится не к Парижу, а еще к Берлину. Как-то на концерте Вертинского мы с Олечкой оказались в зале совсем рядом с Эренбургом и его женой Любовью Михайловной. Близко к эстраде: Эренбурги в первом ряду, мы во втором. Вертинский – «в своем репертуаре». Тут и «Бразильский крейсер», и «Пей моя девочка», и «На смерть юнкеров», и «Концерт Сарасатэ». Пел по-своему хорошо, голос приятный (и довольно большой, к удивлению), жест выразительный, актерское ис-

полнение тонкое. Конечно, это не «Критика чистого разума» и не «Диалоги Платона», мы знали, для чего сюда пришли. И Эренбург все это, конечно, прекрасно понимал. Но сидя перед нами, вел себя нагло, нахально, невоспитанно. После каждой вещи начинал демонстративно хохотать, так что и Вертинский мог это заметить с эстрады. Такое отношение к выступлению артиста (любого) мне было противно. И я невольно вспомнил, что ведь совсем еще недавно этот же Эренбург подражал именно Вертинскому, изо всех сил пиша стихи «под него», но гораздо хуже. Вот эти перлы Эренбурга:

«Иль может быть в вечернем будуаре,
Где ровен шаг от бархатных ковров,
Придете вы ко мне в небрежном пенюаре,
Слегка усталая от сказок и духов.

Портьеру приподняв вы выйдете оттуда,
Уроните в дверях свой палевый платок,
И обойдя кругом тяжелые сосуды,
Дадите мне вдохнуть неведомый цветок».

Тут, по-моему, очень хороши: и какой-то «палевый платок» (почему он палевый?), и совершенно непонятные «тяжелые сосуды» (вызывающие странные ассоциации). У Вертинского все было и легче, и милее, и веселее: «А когда придет бразильский крейсер / Капитан расскажет вам про гейзер»[17], «Хорошо мне в степи Молдаванской... И российскую горькую землю / Узнаю я на том берегу». – По сравнению с беспомощным стихом раннего, «томного» Эренбурга, это просто отдохновение.

Когда после «въезда» в Париж я пришел в один книжный магазин, владельца которого я знал по Берлину, он сказал мне, что после заметки в «Последних Новостях» о моем аре-

[17] Слова Игоря Северянина.

сте и заключении в концлагерь Ораниенбург, в магазин к нему пришел как-то Эренбург. Он говорит ' Оренбургу: «Илья Григорьевич, слышали, Романа Гуля гитлеровцы арестовали и заключили в концлагерь». А Илья Григорьевич «с презреньем»: – «И хорошо сделали, пусть там и сидит».

В это время Эренбург был уже «маршалом советской литературы», раньше отвратительно беззубый – вставил белоснежные протезы, раньше грязный и «тухлый» (по выражению Алексея Толстого) – теперь в дорогом новом костюме, чистый, отрастил большое брюхо. Только походка у Эренбурга осталась та же: ходил по-бабьи, неприлично крошечными шажками, как гейша.

Знаменитую исполнительницу русских народных песен Н. В. Плевицкую я слыхал многажды. И в России, и в Берлине, и в Париже не раз. Везде была по-народному великолепна. Особенно я любил в ее исполнении «Сумеркалось. Я сидела у ворот / А по улице-то конница идет...» Исполняла она эту песню, по-моему, лучше Шаляпина, который тоже ее пел в концертах.

В Париже Н. В. со своим мужем генералом Н. Скоблиным жили постоянно. Но не в городе, а под Парижем, в вилле, в Озуар ля Ферьер. Концерты Н. В. давала часто. Запомнился один – в пользу чего-то или кого-то, уж не помню – но помню только множество знатных эмигрантов сидели в первых рядах: Милюков, Маклаков, генералы РОВСа, Бунин, Зайцевы, Алданов (всех не упомню). Надежда Васильевна великолепно одета, высокая, статная, была, видимо, в ударе. Пела «как соловей» (так о ней сказал, кажется, Рахманинов). Зал «стонал» от аплодисментов и криков «бис». А закончила Н. В. концерт неким, так сказать, «эмигрантским гимном» (не знаю, кто писал слова и музыку)[18]:

---

[18] Р. В. Плетнев сообщил мне, что написал эту песню в начале XIX века, в Сибири, революционер Забайкальский. Так, песня не знает своей судьбы.

Замело тебя снегом Россия,
Запуржило суровой пургой.
И одни только ветры степные
Панихиду поют над тобой!

И со страшным, трагическим подъемом:

Замело! Занесло! Запуржило!..

Гром самых искренних эмигрантских аплодисментов. «От души». Крики искренние – «Бис!», «Бис!». И кому тогда могло прийти в голову, что поет этот «гимн» погибающей России – не знаменитая белогвардейская генеральша-певица, а самая настоящая, грязная чекистская стукачка, «кооптированная сотрудница ОГПУ», безжалостная участница предательства (и убийства!) генерала Кутепова и генерала Миллера, которая окончит свои дни – по суду – в каторжной тюрьме в Ренн и перед смертью покается во всей своей гнусности.

Как сейчас слышу ее патетические ноты, как какой-то неистовый, трагический крик:

«Замело!... Занесло!... Запуржило!...»

Монпарнас

С юности (по книгам) я, конечно, знал, что в Париже (каким невероятным представлялся из Пензы Париж!) среди прочих «чудес» есть Монмартр и Монпарнас. Там общаются знаменитые художники, писатели, «бьет» какая-то особая, сверхъестественная жизнь всемирной богемы. Но тогда в Пензе я никак не мог бы себе представить, что русская революция, бросая меня из страны в страну, сделает меня и «парижанином», выбросив именно почти что на самый Монпарнас.

Тут же после нашего вселения с Олечкой на рю Олье 16, я, конечно же пошел на эту самую всесветную знаменитость – на Монпарнас. Прошел рю де Вожирар, возле которой жил, свернул на Бульвар Пастер, а с него – вот он, и батюшка Бульвар Монпарнас! И я уже на всемирно знаменитом пупе земли – на Монпарнасе, как раз на пересечении бульвара Распай и бульвара Монпарнас и двух улиц – Бреа и Деламбр. А в широкие бульвары втекают еще какие-то улички, так что всё вместе образует некую как бы площадь по окраине которой и расположены знаменитые кафе – «Ротонда», «Дом», немного подальше – «Селект», «Куполь», какие-то еще. Столики со стульями стоят прямо на широком тротуаре, заполнены разными, красочными по одежде (а иногда и по цвету кожи: японцы, индусы, мулаты) людьми. Тут спившиеся гении, и гениальные неудачники, и проходимцы, невропаты, и признанные художники, и всякий сброд, не относящийся к искусству.

Сначала я стал обходить и осматривать эти кафе внутри. И вот, когда я подходил к «Куполь» (довольно неприятное большое буржуазное, а не богемное кафе-ресторан), из-за крайнего столика мне навстречу вдруг поднялся человек и с широко раскрытыми объятиями пошел прямо на меня. Я без труда узнал его. Это был Владимир Евгеньевич Татаринов, тот сотрудник берлинской газеты «Руль», по заявлению которого 10 лет тому назад всех сотрудников газеты «Накануне» (в том числе и меня) исключили из Союза Русских Писателей и Журналистов в Берлине.

– Роман Борисович! Господи! Как я рад, что вы вырвались из этого проклятого концлагеря! – проговорил он, обнимая меня. Надо сказать, что с Татариновым в Берлине я лично даже не был знаком. И тем приятнее была мне эта неожиданная дружеская встреча.[19] Мы облобызались, сказали друг

---

[19] В «Последних Новостях» (№ 4490) было напечатано о моем освобождении.

другу несколько дружеских фраз. И я пошел на другую сторону бульвара, взглянуть, что это там еще за кафе «Селект». Но из всех монпарнасских кафе понравился мне больше всего угловой «Дом». Там я и воссел за столик. Лакей меланхолично, больше для вида, обмахнул столик какой-то тряпкой, я заказал знаменитый «кафэ-крем» за 20 сантимов. За этим грязноватым стаканом кофе с молоком вы могли тут сидеть и день и ночь, никто вас не побеспокоит платежом – это традиция, естественно установленная безденежными завсегдатаями Монпарнаса. Позднее я узнал, что некоторые из них иногда сидят тут за кафе-кремом до тех пор, пока какой-нибудь приятель не подвернется и не заплатит эти 20 сантимов.

Надо оговориться. Я «одним боком» всегда любил и люблю богему. А «другим боком» – не очень, не чересчур. В качестве классического «монпарно» (так французы называли завсегдатаев Монпарнаса) я не мог бы проводить тут ночи и дни, как проводили многие русские эмигранты – литераторы, художники, актеры. Почему я не мог превратиться в «монпарно»? Да наверное потому, что по нутру я человек земский, «толстопятый пензенский» и никак не превратим в эдакую «столичную штучку». Я невольно «любил и лелеял» эту свою природную земскость.

Но я все-таки любил поболтаться на Монпарнасе в «Доме». Оттого, что тут можно было удобно предаться некой «творческой лени». Кажется, у Льва Толстого где-то сказано что-то вроде того, что лучше всего думается тогда, когда ни о чем не думается. Вот – Монпарнас и был именно местом такого душевного состояния. Конечно, тут я встречал иногда кое-кого из приятелей. Но любил больше сидеть один. Помню как-то сижу один у самого прохода и вдруг кто-то кладет мне руку на шею и говорит: «Вот сидит дикий Гуль». Оглядываюсь, а это Ваня Пуни, знакомый еще по Берлину, улыбается, проходя дальше, кого-то разыскивая. В Париже Пуни, как

художник, сделал себе большое имя. И его, и его жену Ксану Богуславскую я любил: милые были люди!

Запойными «монпарно» из русской богемы были многие. Например, одареннейший поэт Борис Поплавский. Но в Париже я его никогда не встречал. А в Берлине была одна «как бы встреча». И характерная (для него). Но сначала приведу – «Розу смерти» – одно из лучших его стихотворений:

В черном парке мы весну встречали
Тихо врал копеечный смычок,
Смерть спускалась на воздушном шаре,
Трогала влюбленных за плечо.

Розов вечер, розы носит ветер,
На полях поэт рисунок чертит,
Розов вечер, розы пахнут смертью
И зеленый снег идет на ветви.

Темный воздух осыпает звезды,
Соловьи поют моторам вторя,
И в киоске над зеленым морем
Полыхает газ туберкулезный.

Корабли отходят в небе звездном,
По мосту платками машут духи,
И сверкая через темный воздух
Паровоз поет на виадуке.

Темный город убегает в горы,
Ночь шумит у танцевальной залы,
И солдаты, покидая город,
Пьют густое пиво у вокзала.

Низко, низко, задевая души,
Лунный шар плывет над балаганом,

А с бульвара, как орган тщедушный
Машет карусель руками дамам.

И весна, бездонно розовея
Улыбаясь, отступая в твердь,
Раскрывает темно-синий веер
С надписью отчетливою: смерть.

А вот единственная (но запомнившаяся) «встреча» с Поплавским. Было это в 20-х гг. в Берлине. Мы тогда вели молодую, беспутную, беспечную и не всегда сытую жизнь. По субботам своей компанией (я, Офросимов, Иванов, Корвин-Пиотровский) собирались в пивной около Штутгартерпляц у легендарной фрау Утеш. Фрау Утеш легендарна была своим гостеприимством. Полнотелая, дебелая, молодая типичная немка-берлинка, фрау Утеш была большой любительницей выпить (даже «врезать как следует») вместе с гостями. И когда у нас нехватало денег, милая Утеш записывала «в долг», долг позднее погашался, а иногда и не погашался, на что фрау Утеш не очень обижалась. Она нас любила за веселье, за беззаботность, а меня почему-то неизменно называла не иначе, как Fürstchen (князек, князенька), как я ни уверял ее, что никаким «князьком» не являюсь.

Так вот. В ее пивной обычно бывало полным полно: русские студенты, болгарские студенты (чудесные ребята – Зубов, Гумнеров, уж не знаю где они, живы ли, тоже хватили горя через край!), бывали начинающие литераторы (вроде нас), всякая богема. И вот однажды сидим мы за столом вчетвером. А неподалеку с кем-то за столиком наша приятельница поэтесса Татида (по фамилии Цемах, уверявшая, что ее род идет прямёхенько от царя Соломона!). У Татиды (близкой подруги по Крыму Макса Волошина) – оригинальное, очень узкое лицо с большим прямым (скорее греческим, чем

еврейским) носом. Наружностью она обращала на себя внимание.

И вот среди пивного веселья, хохота, криков вдруг – всеобщее замешательство. Сидевшие, как пружинные, повскакали с мест. Сначала мы не могли понять, в чем дело, из-за чего весь сыр-бор? Оказывается, сидевший за соседним (с Татидой) столиком, совершенно неизвестный ей молодой человек, странный, неопрятно одетый, вдруг встал, подошел к Татиде и ни с того ни с сего дал ей пощечину. Татида вскрикнула, упав на стол головой. Все вскочившие бросились на странного молодого человека. Схватили, кто за шиворот, кто за руки, вывернув ему их за спину и с шумом потащили к выходной двери, где (буквально) вышвырнули на улицу с трех-четырех ступенек.

Я подошел к рыдавшей Татиде. Она рассказала, что в жизни никогда не видела этого молодого человека и не знает, кто он, почему на нее так пристально смотрел, а потом, подойдя, ударил ее по лицу. Это был Борис Поплавский, позднее автор «Розы смерти» и других прекрасных стихов. Те, кто сидели с ним, тоже ничего не могли объяснить в этом его «безобразии». Один сказал, что он – Борис Поплавский, студент Художественной Школы. Причем, постучав пальцем по лбу, добавил: «Борис немного того...»

У Достоевского Николай Всеволодович Ставрогин проделывал такие же «эксцентричности». Бедного губернатора Ивана Осиповича вместо того, чтобы прошептать ему что-то на ухо – «он вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Губернатор задрожал и дух его прервался – Nicolas! Что за шутки! – простонал он не своим голосом». А Петра Павловича Гаганова, любившего ко всему приговаривать: «Нет-с, меня не проведут за нос!» – Николай Всеволодович, стоявший в стороне один... вдруг подошел к Петру Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его

за нос двумя пальцами и успел протянуть за собой по зале два-три шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова. Можно было подумать, что это чистое школьничество, разумеется, непростительнейшее, и однако же рассказывали потом, что он в самое мгновение операции был почти задумчив «точно как бы с ума сошел», но это уж долго спустя припоминали и сообразили». Вспомнил я эту единственную «встречу» с Поплавским потому, что она говорила о его серьезном душевном «неустройстве». О том же говорили и многие его стихи и «декадентский» его Дневник, опубликованный уже после смерти поэта. О Дневнике интересную статью написал тогда «сам» Николай Александрович Бердяев.

Поплавский был несчастнейшим «монпарно». Носил почему-то черные очки. Приведу еще одно его упадочно-интересное стихо:

Снег идет над белой эспланадой.
Как деревьям холодно нагим.
Им должно быть ничего не надо,
Только бы заснуть хотелось им.

Скоро вечер. День прошел бесследно.
Говорил; измучился; замолк.
Женщина в окне рукою бледной
Лампу ставит желтую на стол.

Что же Ты, на улице, не дома,
Не за книгой, слабый человек?
Полон странной снежною истомой
Смотришь без конца на первый снег.

Все вокруг Тебе давно знакомо.
Ты простил, но Ты не в силах жить.
Скоро ли уже Ты будешь дома?
Скоро ли Ты перестанешь быть?

Борис Поплавский (этот «царства Монпарнасского царевич», как сказал о нем Николай Оцуп) умер в своем «царстве» страшной смертью: от чрезмерной дозы героина и кокаина.

Конечно, среди русских поэтов-монпарнасцев Поплавский был исключением. Он нигде не работал. «По убеждению». Жил в полной нищете, которой не тяготился, а даже ею бравировал. Вот запись из его «Дневника»: «В совершенном покое, до отказа «выкатив» коричневую грудь, прохожу я одною ногою по воде (левая подошва пьет воду), другою ногою в огне (правый, резиновый башмак греет), нарочно усиливая, сгущая нищету своего лица (не бреюсь) и своего платья (люблю рванье) тогда, когда я победил всякую жажду и усомнился в счастье Иисуса...»

По смерти Поплавского литературный критик «Последних Новостей» Г. В. Адамович назвал его «гениально вдохновенным русским мальчиком, нашим Рэмбо». Я никогда (с юных лет) не был поклонником этих самых «русских мальчиков» Достоевского. В тургеневском «Рудине» Лежнев так говорит о типе «русских мальчиков»: – «в глазах у каждого восторг и щеки пылают, и сердце бьется, и говорили мы о Боге, о правде, о будущем человечества, о поэзии...» А наш старший современник Влад. Мих. Зензинов, которого я хорошо знал и в Париже, и в Нью-Йорке, в своих «Воспоминаниях» так пишет на ту же тему: – «С юности с меньшим чем счастье всего человечества мы не мирились». В юности и молодости я знавал таких «русских мальчиков», но меня почему-то не только не притягивал их душевно-духовный мир (пусть и искренний, и внутренне-честный), но, отталкивал, как некий болезненный вывих, некое никому ненужное уродство. Мне казалось, что они проходили мимо *своей собственной жизни*, мимо *своей особи*. А она-то и была мне всегда дорога. Я никогда не хотел «переделывать мир», мне хотелось «переделывать себя». Конечно, примененное Г. Адамовичем к

Поплавскому наименование «русский мальчик» было и неверной и неуместной литературной болтологией. Поплавский к категории «Белинских» никак не принадлежал. Его природа была совершенно иной, ставрогинско-декадентской. А вот что он внутренне, вероятно, был весьма схож с Артюром Рэмбо, это, конечно, верно. Но вряд ли мыслимо «впрячь в одну телегу» автора «Пьяного корабля» и «русского мальчика». Рэмбо был чисто «французский мальчик». Кстати, у Поплавского есть хорошие стихи о Рэмбо и Верлене.

Монпарнасская группа молодых русских поэтов, названная тем же Поплавским – «парижская нота» – была разношерстна и по составу и по дарованиям. Кроме вопросов поэзии и литературы, толковалось о «проклятых вопросах», о Боге, о Маркионе, о судьбе человечества, о вечности и гробе и т. п.. Мне все эти РАЗГОВОРЧИКИ были совершенно чужды, я их не только не любил, но находил какой-то безвкусной кощунственной болтовней. Нормально, если человек думает о Боге, нормально, если человек пишет о Боге, нормально, если человек проповедует Бога. Но душевно-противно, когда на каком-то собрании люди РАЗГОВАРИВАЮТ о Боге. «С кем же вы?! – кричал разнервничавшийся Мережковский на одном из таких собраний с этой монпарнасской молодежью (собрания эти у Мережковских назывались «Зеленая лампа») – с кем? С Христом или с Адамовичем?» Думаю, что «Монпарнас» был много-много ближе к Адамовичу чем к Христу.

Помню, однажды сижу я в «Доме», подходит художник Сергей Шаршун, я его знавал по Берлину. – «Что, говорит, вы один сидите? Там же, – он показал на дальний угол кафе, – вся литературная братия». Я в шутку говорю: – «Не люблю толпы, Сергей Иваныч». – «Аааа..» – засмеялся Шаршун и пошел к «братии». Позже поэт Перикл Ставров, вместе с французом Ланье переводивший на французский моего

«Дзержинского», рассказал, что моя фраза о «толпе» была принята «братией» не то как заносчивость, не то как поза. Я же на самом деле никогда не любил, так называемое, «общество литераторов». Поэтому в Париже знавал большинство монпарнасцев издалека.

Молодых русских поэтов и прозаиков тогда в Париже было много. И все они (в противоположность Поплавскому) днем работали, кто окномоем в магазинах, кто телефонистом, кто на фабрике, кто таксистом, кто маляром, кто в автомобильном гараже. Счастливчиками считались те, у кого жены хорошо зарабатывали в «модных домах» (как портнихи или манекенши). О их мужьях по Монпарнасу даже ходило некое двустишие:

Жена работает в «кутюре»,
А он, мятежный, ищет бури!

Таланты многих эмигрантских поэтов-монпарнасцев я ценил. В противоположность декаденту Поплавскому Владимир Смоленский писал ясную, неусложненную поэзию, иногда сильную. Вот его очень эмигрантское стихо, заслужившее известность:

Над Черным морем, над белым Крымом
Летела слава России дымом.

Над голубыми полями клевера
Летели горе и гибель с севера.

Летели русские пули градом
Убили друга со мною рядом.

И ангел плакал над мертвым ангелом
Мы уходили за море с Врангелем.

Об этом неожиданно удачном ассонансе – «ангелом – Врангелем» кой-кто из поэтов говорил с нескрываемой завистью: «большая удача!»

Но гораздо мужественней и цельней на ту же тему написал Николай Туроверов, поэт-казак, редко появлявшийся на Монпарнассе. Занимался он больше «донскими» делами. Создал «Казачий музей». Вот его стихо – «Конь»:

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня
Я с кормы, всё время мимо,
В своего стрелял коня.

А он плыл изнемогая
За высокою кормой,
Все не веря, все не зная,
Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою...
Конь всё плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.

Мой денщик стрелял не мимо.
Покраснела чуть вода...
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.

Типичным представителем «парижской ноты» (по Адамовичу) в своей простоте, ясности, лаконичности стиха был молодой Анатолий Штейгер, рано умерший от туберкулеза. Его единственная книжка коротких стихов осталась в эмигрантской поэзии – «томов премногих тяжелей».

У нас не спросят: вы грешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы,
Мы скажем горько: – да, увы!
Любили... как еще любили!..

Я, разумеется, не пишу никакого *обзора эмигрантской поэзии*. Это задача большой книги. Но упомяну хотя-бы имена парижан поэтов-эмигрантов, «унесших Россию». Жили тогда в Париже уже известные в России: К. Бальмонт, И. Бунин, З. Гиппиус, Георгий Иванов, Н. Оцуп, Вл. Ходасевич, Марина Цветаева, И. Одоевцева, Мать Мария (Скобцова), С. Маковский. Из начавших писать только в эмиграции: А. Величковский, Т. Величковская, В. Злобин, И. Кноринг, Ю. Софиев, Д. Кнут, Г. Кузнецова, Ант. Ладинский, В. Мамченко, В. Набоков, Ю. Одарченко, Б. Божнев, К. Померанцев, Б. Поплавский, А. Присманова, А. Гингер, Г. Раевский, В. Смоленский, Ю. Мандельштам, И. Ставров, Е. Таубер, Л. Червинская, Ю. Терапиано, А. Штейгер и др. Как всегда при таких перечислениях я наверное кого-нибудь пропустил. Да не разгневаются пропущенные.

Кстати, о «молодости» этих поэтов Владимир Варшавский, смеясь, рассказал как-то анекдот, сочиненный Тэффи. «Иду, говорит Тэффи, ночью по Монпарнасу, вдруг из какого-то кафе гуськом, один за другим, выходят евреи средних лет. Спрашиваю спутника: – Кто это? Что за люди? – А это, говорит «Союз Русских Молодых Поэтов». Конечно, Тэффи, как во всяком анекдоте, «нажимает педаль». Среди русских поэтов были евреи (Кнут, Гингер, Раевский, Ю. Мандельштам), но отнюдь не в большинстве. А вот насчет «средних лет», это, пожалуй, тонко.

В «Последних Новостях»

Я знал, что ничего из этого не выйдет: «все места заняты». Но все ж, думая ч. н. подработать, поехал в «Последние Новости». Все-таки газета напечатала несколько отрывков из «Прыжка в Европу», сообщала о моем аресте и освобождении (в № 4490 в июле 1936 г. «П. Н.» дали заметку: «Роман Гуль: После почти месячного заключения в концентрационном лагере Роман Гуль, об аресте которого в Германии мы в

свое время сообщали, освобожден»). Стало быть мой приход не будет уж так «ни с того, ни с сего». С П. Н. Милюковым я познакомился еще в Берлине. Обменялся письмами. К тому же я хотел просить Милюкова, как и Гучкова, и Бурцева, и Церетели помочь мне их подписями под прошением о въездной визе во Францию из Германии моей семье.

Я созвонился с Павлом Николаевичем. Он назначил приехать в редакцию к 6-ти вечера. И захватив с собой (на мой взгляд сенсационную) статью «Кто убил генерала И. П. Романовского», поехал. Об убийстве ген. Романовского точных сообщений в печати не было. А на меня «упал некий апельсин». У Я. Б. Рабиновича я познакомился с его другом, русским ученым египтологом, автором труда «Термины, обозначающие „сердце" в египетских текстах», А. Н. Пьянковым. Он изучал тексты на фараоновых гробницах Египта. Был он собеседник интересный: блестяще образованный, иронически-живого ума, острослов уайльдовского типа. По душе человек хороший. И когда за чайным столом у Я. Б. я рассказал, что поеду на-днях в «Последние Новости» поговорить о помещении литературных статей, А. Н. перебил: – «А хотите, Р. Б., я вам дам такой материал, какой они у вас с руками оторвут?»– «Очень хочу». – Пьянков рассказал, что у него есть собственноручное письмо убийцы ген. Романовского – поручика Харузина о том, как он убил генерала, есть официальные документы о личности Харузина и даже его фотография. Это действительно была «сенсация», ибо ни фамилия убийцы нигде никогда не называлась, ни точные обстоятельства убийства не были рассказаны. Оказывается, Пьянков и Харузин были друзья детства, вместе учились в гимназии в Москве, и когда после убийства ген. Романовского Харузину нужно было куда-то скрыться (скрылся он неудачно, его где-то кто-то тоже убил), он пришел к старому другу и оставил ему весь этот материал в большом конверте запечатанном сургучем, с просьбой, если он, Харузин, погибнет, – вскрыть.

Через много лет Пьянков вскрыл конверт, а сейчас предложил мне всё опубликовать.

Редакция «Последних Новостей» помещалась в центре Парижа, на 26, рю Тюрбиго на втором этаже. В первом – какое-то грязноватое бистро, Dupont («chez Dupont tout est bon»), куда сотрудники газеты спускались пить кофе, пиво, закусывать. Вошел в редакцию. Помещение многокомнатное, но весьма непрезентабельное. Встретил меня сидевший у телефона, высокий, довольно невыразительный человек. Я уже знал, что это талантливый поэт Антонин Ладинский.

> «О чем ты плакала, душа моя,
> Вздыхая за решеткой бытия?
> Куда рвалась, как пленница в слезах,
> Искала выход голубой впотьмах?
> В какие небеса взлетала ты
> Из этой непроглядной темноты?»

Я знал, что Ладинский тяготился работой телефонного мальчика и первого, принимающего посетителей. Он меня сразу спросил о цели моего прихода. Я назвал себя. Он сказал, что меня знает. Я сказал, что знаю его. Поздоровались. Он добавил, что Павла Николаевича еще нет, но он доложит обо мне его помощнику И. П. Демидову. Войдя в какую-то комнату, он тут же вернулся, проговорив:

– Проходите, пожалуйста, сюда. Игорь Платонович вас примет.

Я вошел. Комната большая, полупустая, в конце за столом сидит необычайно худой и очень смуглый, пожилой человек, сразу же мне не понравившийся. А стиль, в котором он меня принял, показал, что человек и не очень умен, и не очень хорошо воспитан. Увидев меня, Демидов, как-то по-чиновничьи поджавшись, поднялся в струнку и нарочито сухим тоном недовольно произнес:

– Чем имею честь вам служить?

«Ах, вот ты какой, подумал я, так ты, стало быть, еще и дурак!» И совершенно в том же тоне я ему ответил:

– Покорно благодарю. Ничем. У меня свидание с Павлом Николаевичем в 6 часов.

– Павла Николаевича нет. Вы можете подождать его здесь.

– Покорно благодарю.

Позднее, когда я читал воспоминания А. В. Тырковой-Вильямс («На путях к свободе»), я понял почему Милюков взял к себе в помощники такого Демидова. Очень близко знавшая Милюкова Тыркова писала: «Он подбирал свое ближайшее окружение, привлекая людей не столько крупных, сколько услужливых, преданных». Таким «услужливым» явно был и Демидов.

Я сел на самый близкий к выходу из комнаты стул. Тон неумного Демидова мне был ясен: сменовеховец, человек из концлагеря, Бог знает за что там его посадили, вообще м. б. какая-то темная личность. Раскрыл газету, стал читать, не обращая на Демидова внимания. Мимо двери проходили разные сотрудники, некоторые бросали на меня «взгляд не без любопытства». Наверное Ладинский сказал обо мне в редакционной комнате, подумал я. Так прошел, бросив «взгляд» А. А. Поляков, я его знал по виду. Других не знал. Но вдруг в дверях остановился М. А. Алданов и сразу подошел ко мне. Его я, хоть и поверхностно, знавал по Берлину. Алданов поздоровался и отозвал меня в коридор. Тут он сразу стал расспрашивать о концлагере. Я ведь тогда был единственный человек в Европе, кому удалось побывать в гитлеровском кацете. Алданов расспрашивал подробно, как «историческому романисту» и подобало. Вдруг он спросил:

– А вас били?

Вопросом я был поражен. Ведь Бунин называл Алданова «последним джентльменом русской эмиграции», а вопрос

был «верхом бестактности». Ведь если б меня и били, неужели я стал бы рассказывать об этом Алданову? Но меня не били. И своим «нет» я даже, кажется, разочаровал его. Алданов расспрашивал меня долго обо всем. А я, глядя на него, думал, как он изменился за 10 лет: потолстел, обрюзг, ни следа былой элегантности и красивости. Когда же я сказал ему, что привез статью об убийстве ген. Романовского, Алданов тут же повел меня к главному «махеру» газеты А. А. Полякову. «Это по его части, а Павлу Николаевичу он уж покажет».

Старый газетчик А. А. Поляков, сотрудник еще сытинского «Русского Слова» в Москве, а потом в Петербурге, кажется «Биржевых Ведомостей» сидел за столом, заваленным рукописями, корректурой, вырезками. Но когда Алданов сказал ему о теме моей статьи, он сразу, как хорошая гончая, заинтересовался, по нюху почуяв, что это действительно сенсационный, подходящий материал. Я дал ему и статью, и подлинники документов, и фотографию Харузина. Все это он бегло просмотрел, скрепил скрепкой, сказав – «Да, это может быть интересно». Я просил его (Христом-Богом) об одном, чтоб по напечатании статьи он вернул мне оригиналы документов и фотографию. Поляков, конечно, уверял, что вернет. Но это была неправда. Ни одного подлинника документов он так и не вернул: «Куда-то забозлал, не нахожу!», довольно грубо отговаривался он. Слава Богу еще, что я получил назад фотографию Харузина, которая в газете не была напечатана. А документы Поляков, видимо, присоединил к собственному архиву, как уникальные.

Моя статья «Кто убил генерала И. П. Романовского» появилась в П. Н. очень быстро. И так как это убийство почти не было освещено, я считаю правильным привести ее полностью, как исторический документ. Вот она:

Кто убил генерала Романовского?

1.

5 апреля 1920 года, в Стамбуле, тогда еще Константинополе, в биллиардной комнате русского посольства, выстрелом из револьвера, был убит начальник штаба Добровольческой армии, генерал И. П. Романовский.

Это таинственное убийство русского генерала русским офицером, происшедшее под конец борьбы Добровольческой армии, ошеломило тогда не только русскую эмиграцию, но и иностранцев в Константинополе.

Попытки выяснить, кем было подготовлено это позорное для русских убийство, кто были его вдохновители, и, наконец, кто был тот «офицер в светлой шинели мирного времени», фактический убийца генерала Романовского, – остались тщетны.

Прошло без малого 16 лет. Но ответы на эти вопросы представляют и посейчас бесспорный общественный и политический интерес.

Недавно мне переданы лицом, заслуживающим абсолютного доверия, документы, до известной степени приподнимающие покров над этим загадочным преступлением. Лицо, передавшее документы, хорошо знало русские константинопольские круги, в которых вращался убийца генерала Романовского, а самого убийцу знало с гимназических лет. Этому лицу убийца и оставил приводимые здесь документы и сам рассказал, как он убил генерала Романовского.

2.

4 апреля 1920 года, после сдачи главного командования генералом Деникиным генералу Врангелю, от берегов Черного моря отошел английский миноносец, увозя на своем борту покинувшего Добровольческую армию ее бывшего главнокомандующего и его бессменного начальника штаба генерала И. П. Романовского.

В сопровождении английского генерала Хольмана, А. И. Деникин и И. П. Романовский плыли в Константинополь. За английским миноносцем шел французский, на котором были адъютанты и офицеры свиты.

О прибытии генералов Деникина и Романовского в Константинополь официально ничего не сообщалось. Вероятно, из предосторожности. Даже русский военный агент в Константинополе, генерал Агапеев, узнал о приезде бывшего главнокомандующего и его начальника штаба только в самый последний момент от военно-морского агента, капитана 2 ранга Щербачева.

Но это – официальные круги. Тайная же крайне-правая монархическая организация, группировавшаяся вокруг русского консульства в Константинополе, уже наметившая своей жертвой генерала Романовского, прекрасно знала, кого везет на борту английский миноносец.

Это подтверждается тем, что взявшийся за выполнение убийства, член этой организации, поручик из информационного отделения отдела пропаганды при особом совещании при главнокомандующем, убил Романовского, сразу же по приезде его в Константинополь.

Было ли обставлено убийство тщательной конспирацией? Нет. Главнокомандующий английскими войсками в Константинополе, генерал Мильн, после убийства вызвавший к себе генерала Агапеева, в резкой форме упрекал последнего за непринятие им мер к охране генерала Романовского, заявляя – «О большом заговоре на жизнь Романовского знали все!».

Если об этом знали англичане, то, разумеется, русские могли знать еще лучше. Тем не менее, никаких мер охраны принято не было, ибо, как сообщает генерал Агапеев, он узнал о приезде Деникина и Романовского в последний момент.

О том, что это убийство «висело в воздухе», говорит и тот факт, что как только английский миноносец с генералами Хольманом, Деникиным и Романовским прибыл к пристани Топханэ, генералов, одновременно с военным агентом Агапеевым, встретил и офицер английского штаба, пытавшийся предупредить о грозящей опасности.

Об этом предупреждении генерал Деникин пишет так: – «Англичанин что-то с тревожным видом докладывает Хольману. Последний говорит мне:

– Ваше превосходительство, поедем прямо на английский корабль.

Англичане подозревали. Знали ли наши?

Я обратился к генералу Агапееву:

– Вас не стеснит наше пребывание в посольстве... в отношении помещения?

– Нисколько.

– А в... политическом отношении?

– Нет, помилуйте...»

И генералы Деникин и Романовский поехали в русское посольство. Но перед зданием посольства, ожидая Романовского, уже прохаживался высокий, худой поручик «с желтым лицом», одетый «в светлую шинель мирного времени». Это и был член тайной крайне-правой организации, вынесшей смертный приговор Романовскому.

Когда Деникин и Романовский подъехали, у здания посольства собралась группа русских офицеров, их жен, здесь же были сложены чемоданы. В группе стоял и поручик-убийца, с заряженным парабеллюмом в кармане.

Генерал Романовский вошел в помещение русского посольства. Офицер «в светлой шинели мирного времени» пошел за ним. Обстановка для убийства складывалась благоприятно. Романовский вошел в биллиардную комнату, в которой не было решительно никого. За Романовским вошел в биллиардную и высокий офицер, нагоняя генерала. И когда Романовский был почти уже у двери, офицер окликнул его: – «Генерал!».

Романовский обернулся. В этот момент, выхватив парабеллюм, «офицер в светлой шинели» с двух шагов разрядил его в Романовского. Романовский упал, обливаясь кровью. А офицер бросился назад к двери. Но тут произошла частая в подобных случаях странность. Вместо того, чтобы бежать к выходу, убийца почему-то бросился наверх по лестнице посольства (он сам этого не мог объяснить). Первая дверь, которую он попробовал растворить, оказалась заперта. Тогда убийца бросился этажом выше, но здесь прямо ему навстречу вышла неизвестная дама (она была единственным свидетелем, видевшим убийцу). Увидев перед собой даму, убийца

пришел в себя и, вместо того, чтобы бежать дальше наверх, овладев собой, спокойно спустился с лестницы, вышел, сел на подходивший в этот момент трамвай и уехал к себе на квартиру, находившуюся в Шишли.

Так рассказал обстановку убийства сам убийца, поручик Мстислав Алексеевич Харузин, служивший в информационном отделении отдела пропаганды особого совещания при главнокомандующем вооруженными силами на юге России.

Вот его удостоверение:

«Удостоверение № 352.

Дано сие поручику Мстиславу Алексеевичу Харузину в том, что он действительно состоит на службе в константинопольском информационном отделении отдела пропаганды особого совещания при главнокомандующем вооруженными силами на юге России, что подписью с приложением казенной печати удостоверяется.

Константинополь, 6 сентября 1919 года (н. ст.).

Вр. и. д. начальника отделения

Г. Курлов.

Секретарь (подпись неразборчива)».

Рассказ М. Харузина об убийстве почти целиком подтверждается и результатом следствия, сообщаемым ген. В. П. Агапеевым в статье «Убийство генерала Романовского». Из сообщений же генерала А. И. Деникина можно добавить, что Романовский пошел через биллиардную комнату, дабы, в отсутствие адъютантов, самому распорядиться о подаче автомобиля, ибо ни Деникин, ни Романовский не могли оставаться в помещении русского посольства, так как русский дипломатический представитель (г. Якимов? – Р. Г.), несмотря на приглашение генерала Агапеева, в помещении генералам Деникину и Романовскому отказал.

Дальнейшие события, в связи с убийством, известны. Оно вызвало необычайное возмущение в кругах союзного командования, особенно у англичан. Предполагая, что со стороны этой же организации может произойти покушение и на жизнь генерала Деникина, генералы Мильн и Хольман ввели немедленно английские войска в здание русского посольства для охраны генерала Деникина.

В тот же день генерал Деникин перешел на английское судно, а на другой день отплыл на дредноуте «Мальборо» в Англию.

3.

Лица, прекрасно знавшие тогдашнюю константинопольскую обстановку, говорят, что установить личность убийцы не представляло, конечно, решительно никакого труда. Но английское следствие, не пролив света на убийство, оборвалось потому, что англичан детальное расследование этого дела не интересовало: – не их территория, не их жертва, не их убийца.

Русское же следствие тоже оборвалось, но, вероятно, по другим мотивам.

И «где-то наверху» было решено дело потушить, а убийцу скрыть, отправив его из Константинополя. Такая отправка Харузина была тем более легка, что он был очень близок к русскому константинопольскому консульству.

Консульство быстро помогло Харузину получить «командировку» к Кемаль-паше в Анкару для «установления связи с начинающимся кемалистским движением». Но и с этой командировкой Харузин не торопился. Он выехал только через месяц после убийства генерала Романовского.

В это время Кемаль-паша отбивался от греков. Путешествие в Анкару представляло большой риск. Возможно, что лица, посылавшие Харузина, учитывали этот риск, полагая, что из этой поездки «на тот свет» Харузин, может быть, и не вернется. Так и вышло. Харузин, действительно, не вернулся. (От какой пули погиб убийца генерала Романовского, от греческой ли, турецкой или просто бандитской, неизвестно).

Вещи Харузина оставались на квартире в Шишли. Прошел месяц, два, три, полгода. Сначала о Харузине в офицерских кругах появлялись легенды, что он действует у Кемаль-паши под именем Кару-Зен. Но легенды таяли. И, наконец, выяснилось, что Харузина нет в живых.

Тогда лежавший в его вещах конверт, запечатанный сургучной печатью, был вскрыт. В конверте был лист бумаги, на котором рукой Харузина было написано следующее:

«Сообщение.

Сообщаю, что 5 апреля 1920 года, в 5 ч. 15 м. дня, в биллиардной комнате русского посольства в Константинополе, из револьвера системы «парабеллюм» мною убит двумя выстрелами ген. Романовский. Подтвердить могут лица, видевшие факт и узнавшие о нем немедленно.

Мстислав Харузин».

Зачем писал Харузин это «сообщение»? Но тут мы уже переходим к психологии убийцы и спускаемся даже в подвалы некоей «достоевщины».

4.

Мстислав Алексеевич Харузин родился в 1893 году в состоятельной интеллигентной семье. В 1912 году он окончил в Москве гимназию имени Медведниковых. Его отец, человек крайнеправых, «черносотенных» убеждений, был сенатором. По окончании гимназии, Харузин поступил в Лазаревский восточный институт, где посвятил себя изучению турецкого языка и Турции. Занимался он также археологией. Увлечение Востоком заставило Харузина в 1914 году поехать в Египет. Война застала его в Константинополе. Вернувшись в Россию, он поступил не в строевые части, а в отряд Красного Креста. В 1915 году Харузин поступил в Михайловское артиллерийское училище, которое и окончил перед революцией.

В Добровольческой армии Харузин все время работал во всевозможных «секретных», «особых» и «разведывательных» организациях, принадлежа к распространенному типу тыловых «контрразведчиков». Убивший боевого генерала Романовского, участника мировой войны, участника «Ледяного похода» и всей последующей борьбы Добровольческой армии, Харузин сам никогда на фронте не был и войны не видел. Его жизнь проходила в тыловой атмосфере конспираций, подпольщины, заговоров и интриг, ведшихся самыми темными закулисными элементами армии.

Вот еще одно удостоверение Харузина:

«Начальник отдела генерального штаба
военного управления.
10 ноября 1919 года.
№ 942 (оу), г. Ростов на-Дону.

Удостоверение.

Предъявитель сего, поручик Харузин, действительно командирован особой осведомительной организацией в города Северного Кавказа (Владикавказ, Грозный, Темир-Хан-Шура, Петровск, Дербент) для ознакомления с положением горских народов. При нем следует Махамед Акуджи. Начальник военного управления просит оказывать ему содействие. Что подписью и приложением казенной печати удостоверяется.

За начальника отдела генерального штаба, генерального штаба полковник *(подпись неразборчива)*.

За начальника особого отделения генерального штаба полковник *(подпись неразборчива)*».

Как владеющий восточными языками, Харузин отправлялся не только на Кавказ, но и в Туркестан и в Турцию. Турцию Харузин особенно любил и даже «считал себя турком», действительно собираясь стать мусульманином.

Работа во всяческих тайных организациях, разумеется, давала и неуравновешенности и всем странностям Харузина богатую пищу. Близко знавшие Харузина отмечают в нем крайнее позерство и манию величия, хотя бы геростратову. Никогда не видавший боев, Харузин нередко высказывал близким желание «попробовать волю» – «убить».

Для тайной террористической монархической организации, в которой состоял Харузин, он был сущий клад. Этот обремененный «маниями» человек был чрезвычайно подходящ для роли выполнителя террористического акта. Наряду со многими завиральными идеями, Харузин считал также необходимым «бороться с жидомасонством». А так как, свалив генерала Деникина, крайне-правые генералы и поддерживавшие их группы пустили в оборот примитивную агитку, относя все поражения Добровольческой армии на

счет генерала Романовского, «продавшего армию жидомасонам», то, естественно, что этими организациями генерал Романовский и был выставлен, как мишень, для пуль одержимого Харузина. Харузин же этим «актом» служил не только «идеям» своей тайной организации, но и удовлетворял свое давнее желание «попробовать волю».

Роман Гуль

Много, много позже, уже в Нью-Йорке, у меня завелась эпистолярная дружба с интересным человеком – Каролем (по русскому отчеству Михайловичем) Вендзягольским. Он жил, как польский эмигрант, в Бразилии, в Сан Пауло, где и умер. Вендзягольский – родовитый шляхтич, с молодости – русский революционер (с. р. правого толка), друг Б. В. Савинкова, в I мировую войну был комиссаром Временного Правительства 8-й армии. После Октября он и Савинков пробрались на юг к ген. Л. Г. Корнилову выяснить, могут ли они в Добровольческой Армии вместе бороться против большевизма. Но их разговор с Корниловым был ни то, ни сё, хотя он и просил их остаться в армии. После Корнилова они разговаривали с И. П. Романовским. Вендзягольский дает сжатую характеристику этого, убитого Харузиным, генерала.

«Начальник штаба Главнокомандующего Добровольческой Армией Иван Павлович Романовский был не только выдающимся офицером генерального штаба. Это был глубокий, умный человек, отличавшийся от прочих генералов точностью понимания действительности, очень современным взглядом на сущность революции и на задачи и цели контрреволюции, которая должна была состояться во имя высоких целей возрождения страны и государства.

Ген. Романовский был убежденным монархистом, но, будучи внимательным и умным свидетелем происходящего, он согласовал свои убеждения, чувства и даже вкусы с современностью. Поэтому он стремился глубоко обосновать контрреволюцию. Он понимал, что не физическое уничтожение революционеров дает контрреволюции фундамент, а только пробуждение в массах контрреволюционного духа и может и должно дать истинное возрождение родины. Всех тех контрреволюционеров, которым казалось, что ре-

волюцию надо лишь схватить за горло и прикончить посредством нагана и нагайки Романовский считал неврастениками и авантюристами, вызывающими опасения...

Романовский внимательно слушал мысли Савинкова и очень нерадостные выводы из них. Когда же Савинков спросил генерала в упор, что он думает о нашем присутствии здесь и о сотрудничестве, Романовский коротко и твердо сказал:

– Уезжайте отсюда безотлагательно. Послезавтра может быть уже поздно. Помогайте нам извне. Здесь ваши враги сильнее ваших друзей, потому что они являются здесь *стихией*...

И вот этот замечательный человек, блестящий генерал старой русской армии, консерватор и европеец с благородным мистическим уклоном, характерным для русского, был застрелен в Константинополе каким-то преступным дегенератом и глупцом». («Н. Ж.», кн. 70).

Харузин – убийца ген. Романовского, Таборицкий и Шабельский-Борк – убийцы Набокова и люди сходного им «душевного склада» в Белой Армии были именно *стихией*, которая губила и погубила Белую Армию, лишив ее духа *народного восстания*. После «Ледяного Похода» я ушел из Добровольческой Армии, чувствуя именно эту отталкивавшую меня *стихию.*

У П. Н. Милюкова

Когда я приехал впервые в редакцию «Последних Новостей», у Милюкова в кабинете задержался недолго. Я сказал Павлу Николаевичу, что передал Полякову статью об обстоятельствах убийства ген. Романовского и соответствующие документы. Милюков ответил: «Это интересно, я прочту». Но когда я начал говорить о том, что был бы ему благодарен, если б он, так же, как Гучков, Бурцев и Церетели поддержал во французском министерстве внутренних дел мое прошение о въездной визе из Германии для моей семьи, он ответил:

– «Видите, здесь я очень занят редакционной работой и не могу об этом с вами говорить. Зайдите ко мне на дом, утром,

часам к 10-ти и мы об этом поговорим». Признаюсь, меня этот ответ удивил, ибо у Милюкова была репутация человека предельно холодного, относившегося к отдельным людям без всякого интереса. И тут он вполне мог мне отказать, он не знает моей семьи, а меня видит второй раз в жизни. Нет. Милюков написал свой адрес, 17 рю Леришь, 2-й этаж, послезавтра в 10 утра.

Жил Милюков недалеко от Гучкова, в том же, переполненном русскими эмигрантами, 15-м аррондисмане. Рю Леришь в двух шагах от нашей рю Олье. Такая же неопрятная, неприглядная улица с облезлыми старыми домами. Ровно в 10 я вошел в дом № 17, поднялся на второй этаж (лифта в доме не было) и повернул в двери старомодный звонок. Раздался громкий звоночный звук и тут же дверь открыл сам Павел Николаевич. Поздоровавшись, он провел меня в свой «рабочий кабинет». Но, господи, что это был за кабинет! Милюкова, историка и политика, знал весь мир. Его «Очерки по истории русской культуры» переведены на все главные языки. Как ученый, он награжден был званием доктора honoris causa Кембриджского университета. Но вряд ли кто мог предположить, что этот выдающийся русский ученый работает в такой бедной комнатенке, затопленной потопом книг, газет: и на полках, и на столе, и на полу. Он сел за заваленный всяким рабочим материалом стол. Я – рядом на стуле.

Милюков был сед как лунь (сед до полной белости). Волосы коротко подстрижены, такие же белые подстриженные усы, все лицо ровно-розоватое. Говорят, что в кадетской партии у П. Н. было прозвище – «каменный кот». В таком прозвище было что-то удивительно меткое. Говорил П. Н. старым московским говором. Вместо «восемнадцать» говорил «осьмнадцать». Но в разговоре П. Н. не было того, что сразу привлекало в А. И. Гучкове: какой-то заинтересованности в собеседнике. Милюков был предельно деловит. Возможно более коротко я рассказал ему о трагическом положении мо-

ей семьи в Германии, которой просто нечем было жить, и просил его подписать мое прошение в министерство внутренних дел[20], как это уже сделал Гучков и обещали сделать Церетели и Бурцев.

– Я, конечно, подпишу, – проговорил Милюков, – но вы вероятно не знаете нравов французских чиновников и этих учреждений. Их ничем не прошибешь, и я сомневаюсь, чтоб из этого «демарша» что-нибудь вышло.

Я ответил, что меня поддерживает наш бывший посол в Швеции, К. Н. Гулькевич, работающий теперь в Лиге Наций в отделе помощи беженцам. К. Н. Гулькевич выхлопотал мне небольшую ссуду на аренду фермы, на которой поселится моя семья.

– Хорошо. Старайтесь. Понимаю вас и подпишу, – с этими словами Милюков взял ручку и прошение, подписав там, где в скобках было напечатано по-французски его имя, фамилия и «ancien ministre». Подписав, П. Н. добавил: – Вот если б они могли переехать в Чехословакию, я, вероятно, мог бы помочь, у меня хорошие личные отношения с Бенешем, а в таких делах личные отношения очень важны.

После этой фразы я понял, что Милюков совершенно не похож на Демидова. Я поблагодарил П. Н., но сказал, что в Чехословакию семья, к сожалению, перебраться не может. И не желая его задерживать, поблагодарив еще раз, простился. Милюков проводил меня до двери.

У В. Л. Бурцева

С той же просьбой я был и у Владимира Львовича Бурцева. С ним я в свое время познакомился в Берлине, но при весьма «странных» обстоятельствах, о которых стоит рассказать. Звонит мне как-то по телефону Б. И. Николаевский и

---

[20] Такие прошения надо было подавать в министерство внутренних дел. *Р. Г.*

говорит: «Р. Б., в Берлин приехал Владимир Львович Бурцев, был у меня и говорил, что очень хочет встретиться с вами». – Мой роман «Азеф» (тогда – «Генерал БО») давно уже вышел вторым изданием. Имел успех. И мне стало сразу как-то неловко: может быть Бурцев недоволен тем, как я вывел его в романе? Я спросил Б. И.: – «На какой же предмет он хочет со мной встретиться?» – «Не знаю, он ничего не сказал, но вашего «Генерала БО» очень хвалил». – «Хорошо, дайте мне телефон Владимира Львовича, я ему позвоню». Б. И. дал, добавив: «После свидания расскажите, что это за «конспирация». (Б. И. был большим любителем собирания всяких «фактов»).

Итак, с Вл. Льв. я созвонился, сказав, что его просьбу о встрече передал мне Б. И., и я буду ей очень рад. Бурцев был любезен и тут же назначил встречу на завтра в кафе на Виттенбергпляц, около которого жил. Человек я (всю жизнь) очень точный (пунктуален, «как Ленин») и ровно в назначенный час вошел в кафе, где в углу сразу узнал сидевшего, седого, в очках, сгорбленного Бурцева. Я пошел прямо к нему.

– Роман Борисович?

– Так точно, Владимир Львович.

– Очень рад, очень рад, спасибо что пришли.

Мы уселись за столиком в углу кафе. И так как я был приглашен не знаю зачем, я предоставил инициативу разговора Владимиру Львовичу. Сам же только разглядывал его, находя, что в романе я описал его наружность вполне точно (по портретам).

– Ну, вот, – заговорил Бурцев, – рад с вами познакомиться. Конечно, читал ваш роман и могу сказать вам комплимент: никаких неточностей в фактах, в его теме у вас нет. Я то уж знаю всё это дело, и иногда даже удивлялся, как хорошо всё документировано.

Я сказал, что в документации меня поддержал такой «дока» в истории революционного движения, как Борис Ивано-

вич, да еще Сергей Григорьевич Сватиков из Парижа, в распоряжении которого, как комиссара Временного Правительства при посольстве, был весь архив царского парижского посольства.

– Да, да, я это знаю. Документаторы у вас были знающие, но вот в мелких деталях у вас есть большие ошибки.

Я невольно насторожился.

– Вот, например, в описании моей наружности...

Мне стало неловко.

– Вы пишете, что у меня большие, выставленные вперед зубы...

Мне стало еще более неловко.

– И это может быть правильно. Но вы добавляете... прокуренные...

Мне стало совсем уж неловко.

– А я уверяю вас, что никогда в жизни не выкурил ни одной папиросы.

Тут уж мне не оставалось ничего, как начать извиняться и говорить, что в следующем издании я всё это выправлю. Но Вл. Льв. естественно и просто остановил меня: – Не волнуйтесь, ничего тут особенного нет. Ну, эка важность, что сделали меня курящим да еще каким! Завзятым! Ну, «прокурил» зубы, ну, пустяки, – улыбался Бурцев.

И я почувствовал по его тону, что Бурцев «хороший человек» и на такие пустяки внимания не обращает. Потом в нашем разговоре наступила некая пауза, по которой я понял, что Вл. Льв. захотел встретиться со мной вовсе не из-за «прокуренных» зубов. Паузу эту я заполнял незначащими вопросами, надолго ли он в Берлине? Почему выпускает «Общее дело» так нерегулярно? Вл. Льв. на всё это отвечал, но я чувствовал, что к главной теме нашего свидания мы еще не перешли. И наконец Вл. Льв., как бы невзначай, сказал:

– Я хотел вас спросить, Р. Б., не знаете ли вы некоего доктора Калиниченко?

– Калиниченко? – переспросил я.

– Да, – не сводя с меня глаз проговорил Бурцев.

– Ннет, Вл. Льв., не знаю...

– Нигде, никогда не встречали?

– Нигде, никогда. И даже не слышал ни от кого эту фамилию.

– Странно. А мне сказали, что у вас есть такой знакомый. И мне это важно знать.

– Нет, Вл. Льв., такого знакомого никогда у меня не было и даже не слышал о таком, – И чтоб выявить какую-то явную нелепость этой темы, я добавил: – Да, одного доктора Калиниченко я действительно знаю «заглаза», но и вы его, Вл. Льв., наверное знаете. Я в газетах часто встречал объявление: «Калефлюид» доктора Калиниченко восстанавливает силы и т. д.». Эта моя шутка явно подействовала. Я видел, что Вл. Льв. вполне уверился, что никакого доктора Калиниченко я не знаю.

– А почему вы спросили меня о Калиниченко? Вам кто-нибудь говорил, что у меня есть такой знакомый?

– Да, говорили. И мне это важно. Я и приехал это проверить.

– Нет, к сожалению, ничем вам тут помочь не могу.

Вскоре мы вышли из кафе. Я хотел проводить Вл. Льв. в пансион, где он остановился, но Бурцев сказал: – Нет, Р. Б., я домой еще не пойду. Мне надо зайти в издательство «Петрополис», поговорить. Где оно? Вы не знаете?

– Конечно, знаю. Это же мое издательство. Это совсем тут недалеко. Если хотите, я вас провожу.

– Отлично, спасибо.

И мы вместе пришли в «Петрополис». Там и А. С. Каган и Я. Н. Блох были обрадованы такому приходу: еще бы – автор

романа вместе с его знаменитым персонажем! И тут же захотели нас вместе сфотографировать. Вл. Льв. ничего не имел против. Я тоже. И нас сфотографировали на дворе около издательства.

Возвращаясь домой, я думал об этом смехотворном розыске через меня какого-то доктора Калиниченко. И решил, что кто-то из «работавших» с Бурцевым людей (а с ним с некоторых пор стали «работать» лица, весьма сомнительные по советской агентуре, хотя бы ген. Дьяконов и др.) пытались повести его по какому-то ложному следу, измыслив «доктора Калиниченко». Когда я рассказал об этом Борису Ивановичу, он засмеялся и со мной вполне согласился: «Да, в Париже его сейчас окружают весьма подозрительные типы...»

И вот теперь, через много лет я шел в Париже к Владимиру Львовичу на 13 рю де Фелантин в 5-м аррондисмане, чтоб попросить его поддержать мое прошение, ибо имя Бурцева французы прекрасно знают.

Былой редактор «Былого» и «Общего дела», былой разоблачитель Азефа, чье имя тогда обошло газеты всего мира, жил на первом этаже в не просто бедной, а нищенской, крохотной квартирке: комнатушка с кухонькой. Беспорядок и неубранность в квартирке были несусветные. Книги, газеты, пачки «Общего дела» заваливали всё. Владимир Львович занимался одним: борьбой с большевизмом, пусть даже водиночку! Статьи Бурцева в «Общем деле» всегда кончались заклинательно и с восклицательным знаком: «Проклятье вам, большевики!» Тогда многим это казалось маниакальной идеей, смешным дон-кихотством. Но жизнь показала, что бурцевское «проклятье» было провиденциальным. Уже захватившие полмира большевики не заслуживают ничего кроме проклятья.

Меня Владимир Львович принял очень дружески. Хвалил моего «Дзержинского». С грустью разводя руками, говорил,

что «мир не видит страшной опасности большевизма и преступно попустительствует его распространению, за что страшно расплатится».

Прошение он, конечно, подписал. Рассказывал, что в свободное время от борьбы с провокацией и большевизмом, попрежнему (всю жизнь!) пишет книгу о Пушкине. «А издать, – Бурцев грустно развел бледными руками, – негде! А самому – не на что!».

Умер Вл. Льв. Бурцев, этот замечательный по своей душевной чистоте человек, в Париже, оккупированном немцами. Андрей Седых в своих воспоминаниях «Далекие, близкие» рассказывает, что умер Бурцев от заржавленного гвоздя, которым была прибита дырявая подметка его башмака (может быть, сам и прибивал?). Гвоздь поранил ногу, началась гангрена, общее заражение. Бурцев лежал в каком-то городском госпитале, редко приходя в сознание. В минуту проблеска, в полубреду Владимир Львович слез с кровати и пошел было к двери.

– Вы куда? – кинулась к нему сиделка.

– Домой... – еле слышно произнес Бурцев и упал мертвый.

«Прыгайте, гражданин!»

Разумеется, Милюков оказался прав. Прошение о визах для семьи, подкрепленное подписями трех «бывших министров» и В. Л. Бурцева не возымело никакого действия. Об этом мне лично сообщил, вероятно, сам заведующий отделом таких виз мсье Бланшар с той безукоризненной французской вежливостью, которая хуже грубости. На эту «ледяную вежливость», свойственную французским чиновникам (в особенности, когда дело касается «метеков») я нарывался не раз. А положение семьи в Германии становилось поистине трагичным. Брат, работавший чернорабочим на прокладке какого-то шоссе, оказался безработным и на его

«пособие по безработице» семья прожить не могла. Поэтому каждый второй франк, что мы с женой зарабатывали в Париже (а зарабатывали скудно), переводили в Фридрихсталь, Но заработки наши были ничтожны. И надо было предпринять все, чтоб как-то перетащить семью на ферму во Францию. Работать на земле, крестьянином, это была давняя мечта брата.

И вот я метался в поисках этой растреклятой визы, иногда приходя в отчаяние, ибо предчувствовал превращение гитлеризма в войну, так же, как теперь предчувствую страшность большевизма, который ввергнет человечество в еще большую катастрофу и духовное вырождение.

Все эти беды с визами мы обсуждали всегда с Б. И. Николаевским; он, как мог, старался помочь. Какие пороги я не обивал! Был у сенатора Мориса Виолетт, бывшего министра в кабинете Клемансо. В его роскошную квартиру на рю де Гренель сопровождал меня С. И. Левин, которому я и передал за «демарш» Мориса Виолетт сто франков. Но – провал, отказ. Ездил к каким-то французским «шишкам» с бывшим служащим царского посольства Тюфтяевым, вечно пьяным, которому тоже что-то платил из своих грошей. Но правильна русская пословица – «свет не без добрых людей». И я нашел двух: бывшего русского посла в Швеции К. Н. Гулькевича, которого Фритиоф Нансен пригласил в Лигу Наций работать в отделе помощи русским эмигрантам, и французского адвоката, мэтра Александра Тимофеевича Руденко; он (разумеется, совершенно безвозмездно!) стал помогать мне в моих непосильных хлопотах с визами.

К. Н. Гулькевич, которого я никогда в глаза не видал, а только переписывался, был видимо исключительным человеком. Вот, кстати, его характеристика в воспоминаниях И. В. Гессена «Годы изгнания»: «Отрадным моментом в Стокгольме была встреча с бывшим посланником нашим

К. Н. Гулькевичем, которого я знал в Петербурге директором департамента министерства иностранных дел. Его благородная скромность, строгая корректность и чарующая благожелательность не были принадлежностью дипломатического обличья, а служили проявлением прекрасной души и свидетельством лучших дворянских традиций». Вот с этим Константином Николаевичем у меня и завязалась сердечная переписка. В первом ответном письме он писал, что читал мои книги, что вполне понимает трагическое положение «разорванной семьи» и сделает все что может. И Гулькевич сделал. Несмотря на то, что денежные пособия эмигрантам в Лиге Наций были отменены, он выхлопотал мне ссуду для аренды фермы во Франции. И на эту ссуду я поехал в город Ажен, в департамент Лот и Гаронн, чтобы арендовать ферму. А это давало «шанс» на получение визы, ибо в этом департаменте тогда было много бросаемых и брошенных ферм. Поездка по чудесной Гаскони началась у меня из городка Генриха IV-го – Нерак. Поездка была великолепна. Я, действительно, нашел русского фермера Кайдаша, который бросал свою небольшую ферму, но хотел ее продать, а не сдать в аренду. На это денег у меня, конечно, не было.

Мэтр Александр Тимофеевич Руденко был старый парижанин, работавший с известным французским адвокатом и депутатом Палаты, «другом русской эмиграции» Мариусом Мутэ. Жил Руденко, как сейчас помню, на 25 рю Пьер Демур в 17 аррондисмане. Толстый, добродушный, приветливый Руденко был оптимист и уверял, что как ни трудно, а визы эти мы получим. Он говорил обо мне со своим другом, видным социалистом и членом Палаты Депутатов Полем Рамадье (впоследствии недолгим премьером Франции) и направил меня к нему, дружески напутствуя: – «Вы, Р. Б., не смущайтесь, по виду Рамадье очень замкнутый, суровый человек, но у него не только доброе, а добрейшее сердце...».

У Рамадье меня поразила скромность его небольшой квартиры по сравнению чуть ли не с музейной роскошью квартиры Мориса Виолетт. Рамадье обещал написать о моем деле в отдел виз министерства внутренних дел. Написал. Но и тут все уперлось в «вежливый отказ» мсье Бланшара. Я был в отчаяньи, а Руденко уговаривал не «терять нервы». Мне казалось, Милюков прав: «французских чиновников ничем не прошибешь».

В это время вызвал меня Б. И. Николаевский обсудить «ситуацию». Я пришел. Б. И. говорит: – «Я о вас и вашем деле вчера говорил с Мануилом Сергеевичем Маргулиесом. Он очень видный масон. Когда я ему рассказал о ваших хлопотах и трагическом положении семьи, он сказал, что мог бы помочь по масонской линии, что депутата от Лот и Гаронн, Гастона Мартэн он знает, как масона, и мог бы к нему обратиться, но для этого, говорит, надо, чтобы Роман Борисович вступил к нам в ложу.

Наступила пауза. Такого «оборота» я никак не ожидал. А Б. И. улыбается: – «Ну, как? Маргулиес к вам очень хорошо относится, лестно отзывался о вас, как писателе, и я понял, что он заинтересован, чтоб вы вступили в его ложу».

На улыбку Б. И. я ответил не сразу.

– Вам-то хорошо, вы человек архивный, вот у вас и будет «собственный корреспондент в масонстве». – Борис Иванович засмеялся своим сопрановым смехом – А мне каково? О масонстве я не имею никакого представления, и что это за ложа, и Маргулиеса не знаю. Если б я был хоть уверен, что он действительно достанет визы. Но после всех неудач я и в этом не уверен.

– Обдумайте. По-моему, вы ничего не теряете, – и Б. И. протянул записку, сказав, – вот телефон и адрес Маргулиеса, он хочет с вами позавтракать и поговорить о вашем деле.

Я взял записку.

– Посоветуюсь с Олечкой.

– Я то считаю, прыгайте, гражданин! – напутствовал, прощаясь, Борис Иванович.

Дома поговорили с Олечкой. И я решил – «прыгнуть»!

У М. С. Маргулиеса

Мануил Сергеевич Маргулиес – до революции известный петербургский адвокат. Во время гражданской войны – министр торговли, народного здравия и снабжения в эфемерном (как оказалось) Северо-Западном Правительстве при генерале Юдениче.

Жил Маргулиес на рю Верди в 16 аррондисмане, в прекрасной барской квартире. Приехал я к завтраку. Принял меня Мануил Сергеевич исключительно любезно. По виду был импозантен. Высокого (почти громадного) роста, мощный, полный, грузный. Лицо красивое, правильных черт, небольшие седые усы, бритый. Вообще – барин, интеллигент.

Стол накрыт на две персоны. Завтрак прекрасный. Подавала прислуга. Вообще, никакой «эмигрантскости», как у Гучкова, Милюкова, Бурцева не было и в помине. Сначала М. С. попросил меня рассказать о деле с визами. Я рассказал. Он посочувствовал. И сразу перешел «к предмету».

– Я, Р. Б., вам, конечно, очень сочувствую в вашем трудном положении и хотел бы помочь. Но реально помочь вам я могу, по-моему, только моими масонскими связями. Вот вы, например, упомянули имя депутата от Лот и Гаронн Гастона Мартэн, я его знаю, как масона, и могу обратиться к нему с просьбой похлопотать о вашем деле в министерстве внутренних дел. Но всё это я могу сделать, конечно, если вы вступите членом в нашу ложу. Тогда я могу хлопотать о вас, как о «брате».

– Мануил Сергеевич, – сказал я, – скажу вам откровенно, о масонстве я не имею никакого представления. Все, что я о ма-

сонстве знаю, это по «Войне и миру» Толстого. Помните, как Пьер Безухов встречается в Торжке, кажется, с большим масоном Баздеевым и тот вовлекает его в масонство.

– Ну, это старина матушка! – с улыбкой перебил меня Маргулиес. – Я с вами буду тоже совершенно откровенен, ибо хоть мы и не были знакомы, но я вас знаю, как писателя, у нас много общих друзей, отзывающихся о вас очень хорошо. Я состою досточтимым мастером ложи «Свободная Россия» в «Великом Востоке Франции». Я основал эту ложу. И «Великий Восток Франции» стремится основать возможно больше русских лож, как духовный и политический противовес большевизму. Пока у нас только две ложи: наша «Свободная Россия» и «Северная Звезда», где досточтимый мастер Николай Дмитриевич Авксентьев, которого вы хорошо знаете. Скажу заранее, чтоб парировать ваше впечатление от описания Толстым ритуала посвящения Пьера Безухова в масоны. Во Франции испокон веку существуют два масонских Посвящения – «Великий Восток Франции» и «Великая Ложа Франции». Между ними есть разница в том, что в «Великой Ложе Франции» ритуал посвящения гораздо сложнее. Там блюдется «шотландский ритуал». У нас все это значительно упрощено. Короче скажу, наше объединение больше с политическим, антибольшевицким уклоном. И если вы вступите к нам в ложу, то встретите многих своих знакомых.

Мануил Сергеевич был умный человек и совсем не мистик, а практик. Никаких проповедей (как Баздеев Пьеру Безухову) «о внутреннем самоочищении», «о Боге, постигаемом жизнью», «о масонстве, как достижении истины», «о праотце Адаме» он не говорил. Как опытный адвокат, он, вероятно, чувствовал «клиента». И нажимал главным образом на политическую, антибольшевицкую линию и на помощь в деле с визами. По всему тому, что и как он говорил, я видел, что ему действительно хочется вовлечь меня в «свои сети»: как никак

у меня «биография», некое литературное имя, книги и по-русски, и по-французски, и я уж не такой петый дурак, не какая-нибудь орясина.

После завтрака, когда мы пили чай, я сказал Мануилу Сергеевичу:

– Знаете, М. С., дайте мне срок в два дня на размышления. Я вам позвоню о своем решении и думаю, оно будет положительным.

– Прекрасно. Позвоните, Р. Б., примерно в это время я всегда дома.

Простились мы сердечно. Приехав домой, я рассказал все Олечке. Сказал, что по всему тому, что говорил М. С., думаю – ничего неприятного тут не будет, а в визах Маргулиес мне поможет (кстати, в этом я ошибся, ничего он сделать не мог). Олечка подвела итог: «Что же, попробуй!». Поехал к Николаевскому, тот меня по-прежнему «подталкивал», говоря, что у Маргулиеса большие связи во французском мире. Помню, при этой встрече Николаевский вытащил из какого-то чемодана голубую, золотом шитую ленту через плечо и такой же голубой с золотом, довольно большой, передник. И на мой удивленный вопрос, – что это такое? – сказал, что это масонские одеяния, он их получил от семьи одного умершего масона. Николаевский всё собирал «для архива», для «архива» и меня «подталкивал». Сам же, как атеист, марксист, разумеется, в масоны не вступил бы.

Кто из русских были масонами

Местом зарождения ордена вольных каменщиков были, как известно, Франция и Англия, точнее Ирландия («О, Ирландия! океанная, мной невидимая страна!») и Шотландия. В 1725 году была основана «Великая Ложа Ирландии». В те времена католические священники совмещали и церковь и масонство. В 1736 году в Шотландии была основана «Великая

Ложа Шотландии». Наиболее видным шотландским масоном был известный поэт Роберт Бёрнс.

Во Франции первая масонская ложа была основана в 1721 году в Дёнкерке. Французские вольные каменщики внесли в масонство тенденцию антиклерикализма. Как известно, вольным каменщиком был Вольтер и, казалось бы, не очень с ним схожий Филипп Эгалитэ, до революции – великий мастер «Великого Востока Франции». В революцию Филипп Эгалитэ отказался от сего поста и своим голосованием отправил своего кузена Людовика 16-го на эшафот. Это, конечно, плохо увязывается с масонской «любовью к людям как братьям». Впрочем, и сам былой «великий мастер» отдал свою голову тому же эшафоту на той же Гревской Площади. Очень быстро масонство распространилось в Германии. И в Россию пришло с Запада.

Кто же из знаменитых и известных людей России, в 18-м и начале 19-го веков, были масонами?[21] А. С. Пушкин[22], посвящен в ложе «Овидий», А. С. Грибоедов, посвящен в ложе «Объединенные друзья», барон А. А. Дельвиг («Меня зовет мой Дельвиг милый / Приятель юности моей») – ложа не указана, генерал-фельдмаршал М. И. Голенищев-Кутузов, князь Смоленский, посвящен в ложе «К трем ключам», член ложи «Овидий» и «Три знамени», граф М. М. Сперанский, член ложи «Северная Звезда», А. П. Сумароков, указан в списке великих мастеров, но ложа не указана, генералиссимус А. В. Суворов, князь Италийский, граф Рымникский, член ложи «К трем звездам», граф Ф. П. Толстой, президент Академии Изящных Искусств, известный модельер и скуль-

[21] См. Tatiana Bakounine, Docteur de l'Université de Paris. «Le Répertoire biographique des francs-maçons russes» (XVIII et XIX Siècles). Ed. «Petropolis». Bruxelles, s. d. (655 p.).

[22] См. масонские стихи Пушкина «Генералу Пущину», основателю ложи «Овидий».

птор, член ложи «Камень истины», вел. кн. Константин Павлович, наследник престола, член ложи «Объединенные друзья» и «Астреи», М. М. Херасков, автор масонского гимна «Коль славен наш Господь в Сионе», музыка Бортнянского. Обрываю перечисление, опуская Новикова, Радищева, Рылеева и мн. др. Отмечу только кажущееся «курьезом» масонство любимца императора Николая I-го, шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа (ложа «Объединенные братья») и начальника III-го отделения Е. И. В. канцелярии полк. Л. В. Дубельта (ложи «Объединенные братья» и «Палестина»).

Известно, что в первой половине 19-го века масонские ложи в России были закрыты. И все же кое-какие масонские организации существовали и участвовали в них весьма видные люди. Так, например, перед тем, как появиться в царском дворце роковому Распутину, о чем так хорошо писал Н. Гумилев:

В гордую нашу столицу
Входит он, Боже, спаси!
Обворожает царицу
Неодолимой Руси.

И не упали, о, горе!
И не сошли с своих мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакии крест.

– перед этим, в 1901–1902 гг. «в гордую нашу столицу» не вошел, а въехал некий француз мсье Филипп, известный «лионский целитель», которого официальная французская медицина считала человеком не только «не имеющим права практики», но и «подлинным шарлатаном». Но этот «сверхъестественный» человек, обладавший даром «внушения» и «целительства», легко проник к царице и царю. И как пишет

В. Э. Мишле в книге, вышедшей в 1937 году, «через Филиппа последний русский царь был... посвящен в мартинизм», доктрина которого покоилась на мистическом утверждении, что «человек в себе имеет божественный свет, о котором не подозревает». П. Б. Струве в журнале «Освобождение» (№ 8 2/15 октября 1902 г.) по поводу Филиппа писал: «В петербургских кружках, близких ко дворцу много говорят про настроения Государя. С весны нынешнего года на него имеет большое влияние некий г. Филипп, гипнотизёр и оккультист... Без Филиппа, говорят, не принимаются никакие решения, г. Филипп дает советы по важным вопросам, как семейной жизни, так и государственной. Он вызывает тень покойного императора Александра III-го, внушающего те или иные решения. Влияние Филиппа – неоспоримый факт». В переписке императора Николая II-го и императрицы Александры Федоровны императрица упоминает мсье Филиппа семь раз. Приведу хотя бы две выдержки. В письме от 6 сентября 1915 года: «Скоро праздник Пречистой Девы – 8-го числа. Это мой день – помнишь m-r Philipp'a – и Она нам поможет». В письме от 14-го декабря 1916 года: «Глупец тот, кто хочет ответственного министерства, писал Георгий (вел. кн. Георгий Михайлович, *Р. Г.).* Вспомни, даже m-r Филипп сказал, что нельзя давать конституцию, так как это будет гибелью России и твоей...» Пребывание мсье Филиппа при дворе кончилось скандалом и удалением этого «мартиниста» из России. И его «посвящения», вероятно, отпали.

Русские масоны в Париже

В Париже, как и говорил Мануил Сергеевич, в «Великом Востоке Франции» (храм на 16 рю Кадэ, Париж, 9) было две русских ложи – «Свободная Россия» и «Северная Звезда». В «Великой Ложе Франции» (храм на 8 рю Пюто, Париж, 17)

было шесть: «Астрея», «Северное Сияние», «Гермес», «Юпитер», «Тамаюн», «Лотос». Так как масонство было орденом «тайным», то, разумеется, вокруг «тайн» росли вымыслы , порой глупо-нелепые, рассчитанные на низкопробные вкусы. Я о масонстве узнал мало, но что узнал, расскажу, хотя древним масонским уставом это запрещено и даже карается физическим уничтожением «рассказывающего», т. е. смертью. Авось, думаю, как-нибудь обойдется.

Посвящение

В назначенный день и час я должен был приехать в храм «Великого Востока Франции», где меня у входа встретит один из братьев ложи «Свободная Россия». Я спросил Маргулиеса, как он меня узнает? – «Не беспокойтесь, он вас очень хорошо знает».

И вот, с небольшим опозданием (минут в пять) я подошел к храму на 16, рю Кадэ. У храма стоял невысокий, худой, пожилой человек, ожидая меня. Я его знал по Берлину. Это был Борис Львович Гершун – до революции известный петербургский адвокат по гражданским делам (Маргулиес был по уголовным). В Берлине Гершун продолжал адвокатскую практику, а по приходе Гитлера переехал в Париж. Мы поздоровались, как давние знакомые, и он повел меня по коридорам и большим казарменным комнатам храма. Находу Б. Л. сказал: – «Р. Б., ложа уже вся в сборе. Поэтому я проведу вас сразу в комнату медитаций, где вы пробудете минут десять, чтоб собраться с мыслями, проверить себя в последний раз, сосредоточиться, а потом я за вами приду». – «Хорошо».

Мы поднимались по широкой грязноватой лестнице (в этом старинном масонском храме вообще всё было как-то грязновато). Б. Л. остановился на одном повороте широкой лестницы, отпер ключем дверь в стене и я вошел в крошечный отсек, где можно было только сесть на что-то вроде табу-

рета, перед которым в стену была вделана доска (вместо стола), на ней лежала Библия на французском языке. Стены и потолок отсека были красочно расписаны. – «Вот, посидите здесь, подождите, и минут через десять я приду», с дружеской улыбкой сказал Б. Л. По его улыбкам и дружественному, совсем не торжественному тону я чувствовал, что он, как и Маргулиес, не «чересчур мистик».

Итак, я остался заперт в отсеке. Сел на табурет. И вдруг вместо «медитаций» меня разобрал какой-то неудержимый внутренний смех. Настолько глупый, что я сам себя оборвал внутренне: – «Дурак! – сказал я себе, – ничего смешного тут нет!». Правда, медитацией я не занимался. А стал рассматривать разрисованность стен. На потолке было изображено «всевидящее око», освещенное внутренним светом. На стенах, в красках, нарисованы – солнце, луна, молоток вольного каменщика, лопата, какой-то столб... Десять минут прошли быстро. В двери завозился ключ. Она открылась. Передо мной опять был Б. Л. с черным платком в руке.

– Вы готовы, Р. Б.? – спросил он. – «Готов». – «Прекрасно. Теперь, Р. Б., я завяжу вам глаза вот этим платком, – с той же милой улыбкой проговорил Б. Л., – и поведу вас в ложу, где заседают братья. Так сказать, на допрос, – улыбался Б. Л., – Братья будут задавать вам разные вопросы». И чуть понизив голос, дружески сказал: – «Один из братьев задаст вопрос о вашем участии в газете «Накануне», это я говорю доверительно, чтоб вы знали». «Очень хорошо. Я никогда не стеснялся сменовеховства и участия в «Накануне». – «Чудесно. Это я так, на всякий случай... А теперь повернитесь, пожалуйста, я завяжу вам глаза». Я повернулся. Б. Л. завязал мне не только глаза, но почти все лицо легким, но плотным черным платком. Я очутился в темноте. Б. Л. взял меня под руку и повел. Дорога была недалекая. Я чувствовал, что мы вошли в какую-то комнату, в которой были люди (кто-то откашлял-

ся, кто-то скрипнул стулом). Мы сделали несколько шагов. Б. Л. остановил меня, проговорив: – «Садитесь, Р. Б. Вот здесь стул». Я сел на стул. Хоть в темноте, но я чувствовал, что мы в ярко освещенной комнате.

Через мгновенье раздался сильный троекратный стук. (Это был стук деревянного молотка). И голос Маргулиеса (досточтимого мастера ложи) проговорил: «Дорогие братья, в нашу ложу «Свободная Россия» стучится Роман Борисович Гуль...» И дальше шли какие-то уставные слова о том, что братья должны выяснить, достоин ли Р. Б. стать членом ордена вольных каменщиков и т. д. Окончив уставную формулу, Маргулиес сказал:

– У кого из братьев есть вопросы к Р. Б.?

Прошла короткая пауза. И незнакомый мне голос сказал: – Вы верите в Бога?

– Верую. По крайней мере, хочу веровать.

После некоторой паузы другой голос спросил:

– Верите ли вы в наш масонский девиз – свобода, равенство и братство? И если верите, то как?

– Верю в свободу, ограниченную законом. В равенство людей перед законом и Богом. И в братство, то есть, в любовь к ближнему, хоть это и трудно достижимо.

– Любите ли вы музыку Рихарда Вагнера? – спросил третий голос.

Этому вопросу я крайне удивился. При чем тут Вагнер? Но по вступлении в ложу, присутствуя на посвящениях, я увидел, что вопросы задаются самые неожиданные, иногда невероятные, к «предмету масонства» совершенно не относящиеся. Так, при посвящении одного малокультурного человека кто-то из братьев спросил: – «Какое здание в Париже вы считаете самым совершенным по архитектуре?» И человек с завязанными глазами ответил: – «Трокадеро», что вызвало улыбки и удивленные переглядывания, ибо старое Трокадеро

было, вероятно, самым безобразным зданием Парижа. На вопрос о музыке Вагнера я ответил:

– Кое-что люблю. Например, марш валькирий. Но основательно музыку Вагнера не знаю.

– Почему вы пошли в Белую Армию, участвовали в «Ледяном Походе», и ушли из нее?

– Пошел потому, что считал необходимой вооруженную борьбу с большевиками. А ушел потому, что увидел, что такая Белая армия победить не может, ибо она была лишена духа народного восстания.

– Почему вы пошли в газету «Накануне» и стали сменовеховцем? – проговорил голос из левого угла.

– Пошел в «Накануне» и стал сменовеховцем потому, что тогда, в начале двадцатых годов, верил, что НЭП вынудит большевиков к отступлению и страна постепенно перейдет к правовой, нормальной государственности.

После некоторого молчания кто-то спросил:

– Каким образом вы попали в гитлеровский концлагерь? За что?

– Попал, вероятно, по глупости какого-то некультурного гестаповца, принявшего – при конфискации нацистами моей книги «Азеф» в немецком переводе – ее подзаголовок, как то, что автор ее – террорист. Заглавие книги по-немецки было: «Boris Savinkov, Der Roman eines Terroristen».

Допрашивали меня минут пятнадцать-двадцать. Ни одного чисто масонского вопроса – «о вере в возможность очищения и самосовершенствования», «о необходимости деятельной любви к людям» и пр. не задавали. И я понял, что М. С. правильно говорил, что их ложа больше «братское политическое объединение, чем мистическое». Когда вопросы прекратились, наступила длительная пауза. Мне почудилось, что кто-то с кем-то перешептывались. А потом раздался тот

же троекратный удар деревянного молотка и в центре комнаты голос М. С. произнес:

– Есть ли у братьев еще вопросы к Р. Б.?

Ответило молчание.

– Вопросов нет, – проговорил М. С., – и я, как досточтимый мастер ложи «Свободная Россия» Великого Востока Франции объявляю, что Р. Б. Гуль принят в нашу ложу вольных каменщиков, как брат, в градусе ученика. Брат Гершун развяжите глаза брату Р. Б. Гулю.

Ко мне кто-то подошел. Это был Б. Л. Гершун. Развязал на затылке, спавший с лица, черный платок, и я увидел в ярко освещенной комнате человек 20–30 членов ложи. В центре на каком-то возвышении (вроде кафедры) сидел досточтимый мастер ложи М. С. Маргулиес, на груди у него (через плечо) была красная, шитая золотом, лента. А когда он встал, я увидел на нем такой же красный, шитый золотом, передник. На некоторых братьях были такие же красные ленты через плечо и передники. Но их было немного. Большинство были в голубых лентах и голубых передниках, какие мне показывал Б. И. Николаевский. Позднее я узнал, что есть голубое масонство – до третьего градуса мастера (ученик, подмастерье, мастер). И – красное масонство (с третьего градуса и выше до тридцать третьего). Ко мне подошел Б. Л. Гершун, привязал мне маленький кожаный передник (и никакой ленты), которые носят «ученики», масоны первого градуса.

Мое «посвящение» таким образом и окончилось. И все мы пошли в другую комнату разделить братскую «агапу», то есть, братскую трапезу, застолье. Тут уж все братья сняли ленты и передники и уселись за сервированный длинный стол. И за едой (хорошей) начался самый непринужденный, обычный разговор. И это было приятное общество культурных, интеллигентных людей.

«Агапа»

За столом я оказался с интересными людьми. Против меня сидел Александр Иванович Хатисов, справа и слева от него К. К. Парчевский и М. Е. Фридиев. А. И. Хатисов – лет шестьдесят с лишним, но сильный, крепко сложенный, с лысым черепом, по виду деловой, волевой, замкнутый, неразговорчивый, был «братом оратором» ложи. Позднее я слышал его выступления – всегда без всяких «цветов красноречия», но умные, свободные, как у человека, привыкшего к публичным выступлениям. До революции Хатисов был городским головой Тифлиса, что, как говорил Маргулиес, требовало в работе большого такта и дипломатических способностей, ибо большинство населения Тифлиса – грузины, а Хатисов армянин, хотя по типу ничего армянского в нем не было. Пост городского головы он занимал долго и успешно. На Кавказе, как рассказывал Маргулиес, Хатисов сблизился с великим князем Николаем Николаевичем и был главным воротилой в подготовке дворцового переворота, целью которого была замена на троне слабовольного Николая II волевым Николаем Николаевичем. Вспыхнувшая революция смела все эти «подготовки». Маргулиес говорил, что у Хатисова есть воспоминания. Они никогда не были напечатаны. А жаль. Это, вероятно, был исторически ценный документ человека много и многих знавшего.

Сидевшие рядом со мной Сергей Александрович Будаговский и Владимир Владимирович Толли оба были прекрасными людьми. Бывает так, вы встречаете человека и с первых же слов чувствуете, что он прямодушен и «чист душой». Вот таким *чистым* был Сергей Александрович. Образованный, начитанный, он окончил в Париже Сорбонну. По специальности – экономист, хорошо был устроен в каком-то большом французском предприятии. В ложе он был «брат секретарь».

Мыс ним были в самых хороших отношениях. И я истинно грустил, когда после победной для союзников войны, в угаре охватившего парижскую русскую эмиграцию «патриотизма», С. А. в числе этих «угаревших», обманутых кагебешной политикой Сталина, вернулся в СССР. Сколько мы с ним спорили! Как я его убеждал не делать этого рокового шага! Но С. А. твердил одно: коммунизм исторически изжит, национальная Россия проснулась и наше место там. Прямодушие, честность с собой, любовь к России толкнули его... в СССР, думаю, прямиком на Архипелаг Гулаг.

Такова ж была судьба и Вл. Вл. Толли. Выдающийся инженер, прекрасно устроенный во Франции, после войны и он (как С. А.) поддался «угару патриотизма». И тоже сделал непоправимый шаг – уехал в «возрождающуюся национальную Россию», которая обернулась ему Архипелагом Гулаг.

Сидевший рядом с Хатисовым Михаил Евгеньевич Фридиев был другого сорта человек, непохожий на Будаговского и Толли. Умный, образованный пражанин (откуда он приехал в Париж), он был человеком не без хитринки, но вполне добропорядочным. В Праге он примыкал к группе «Крестьянская Россия», лидером которой был Сергей Сергеевич Маслов, человек деловой и боевого темперамента. Маслов издавал бескомпромиссно антикоммунистическую «Крестьянскую Россию», журнал, который проникал и в СССР и, естественно, стоял большевикам поперек горла. Недаром по занятии Праги красными, СМЕРШ мгновенно схватил Маслова и убил. Один раз при приезде Маслова в Париж Фридиев сказал, что С. С. хочет со мной познакомиться. И они были у нас. Причем (почему-то помню), за чаем Сергей Сергеевич очень хвалил сваренное Олечкой варенье из райских яблочков и с удовольствием пил с ним чай.

Другим соседом Хатисова на «агапе» был человек совсем другого сорта, чем Будаговский, Толли, Фридиев. Это был

Константин Константинович Парчевский. По образованию юрист, талантливый журналист, сотрудник «Последних Новостей», невысокий, невыразительной наружности, причем, вечно с потными руками, будто он их только-только опустил в воду. При знакомстве с Парчевским меня сразу в нем что-то оттолкнуло. Это почти всегда бывает: либо интуитивное притяжение к человеку, либо отталкивание, иногда бывает, конечно, и безразличие.

Старый, многоопытный чекист Кирилл Хенкин написал книгу «Охотник вверх ногами», книгу *двухлицевую* (непонятно, «куда автор смотрит», «для кого пишет»: *для нас или для них?).* По-моему, его все-таки больше клонит к Востоку. Тем не менее Хенкин пишет много верного, например о «третьей эмиграции» и как ее фильтруют при выезде, и о том, что эмиграция всегда была (и есть!) для КГБ большой резервуар стукачей, агентов и даже убийц. Эфрон, Скоблин, Третьяков, Плевицкая, неизвестный убийца Навашина среди бела дня в Париже, убийца сына Троцкого, Льва Седова, спокойно проживающий в США и даже, кажется, «в чине» профессора, таинственное «самоубийство» беглого резидента НКВД В. Кривицкого в Вашингтоне. Да и о Горгулове в Париже упорно говорили, что руку параноика подтолкнули его «просоветские друзья». И с внутренним криком «фиалка победит машину!» Горгулов убил президента Франции Поля Думера. Лозунг Горгулова о «фиалке и машине» я беру из его книги «Тайна жизни скифов». Проза и стихи.. «Фиалка», по Горгулову, это, оказывается, Россия, а «машина» – это «гнилой Запад». И эта самая «фиалка», по Горгулову, должна победить «машину». Помню, какую злорадно-подлую статью о «Горгуловщине» напечатал в «Известиях» пресловутый Илья Эренбург, утверждая, что вся русская эмиграция это и есть «горгуловщина». Впрочем, в «Известиях» же Эренбург напечатал роскошную статью о Сталине – «Наш рулевой». В это

время Эренбург ВСЕ УЖЕ МОГ. Даже мог выйти из членов «Антифашистского еврейского комитета» *за некоторое время до ареста и расстрела его членов.*

О Парчевском Хенкин пишет, что во времена служения Хенкина в НКВД (своей подлинной работы он не вскрывает) Парчевский работал не только в «Последних Новостях», но слал некие «рапорты» и в советское полпредство, то есть попросту «стучал». Когда «Последние Новости» послали Парчевского в Парагвай исследовать, почему русские эмигранты из Франции вдруг потянулись гужом в эту «экзотическую Америку», Парчевский ездил в Парагвай и напечатал интересный репортаж о сем парагвайском «исходе» русских из Франции. Репортаж вышел и отдельной книгой. Но копии его шли, оказывается, и в полпредство. Не удивляюсь. Впечатления Иисуса Христа Парчевский никак не производил. Во время войны он со всей семьей уехал в СССР, причем вовсе не на Архипелаг Гулаг, а на работу. Допускаю, что и в ложе «Свободная Россия», где после Хатисова Парчевский стал «братом-оратором», этот человек с мокрыми руками «постукивал» КУДА НАДО.

История провокаций в русской эмиграции еще не написана. Только Б. В. Прянишников в «Незримой паутине» описал, как РОВС был насквозь пронизан т. н. «Внутренней линией», т. е. советскими агентами. Но жизнь показывает, что в каждой русской зарубежной политической организации и в каждом значительном органе печати были советские «стукачи».

В партии социалистов-революционеров таковым был видный «потомственный» эсэр Вас. Вас. Сухомлин. «Потомственный» потому, что и папа и мама были заслуженные эсэры-эмигранты. И родился сей Вас. Вас. в Париже, почему французский язык для него был, как родной. С этим господином я однажды встретился. Как-то, придя к нам,

Б. И. Николаевский говорит: «Виделся вчера с Сухомлиным, в разговоре он спрашивал о вас, говорит, что хотел бы с вами познакомиться. У него большие французские связи, он редактор французской газеты «Ля Репюблик» и вам, Р. Б., стоит с ним познакомиться, он может помочь в устройстве переводов на французский и книг и статей». – «Спасибо, – говорю, – позвоню». И позвонил. И был в «Ля Репюблик». Сухомлин любезно расспрашивал о концлагере, о чем пишу. Я сказал – о терроре, о Дзержинском. Он даже одобрил и вообще хорошо отозвался о моих книгах. При прощании звал заходить к нему в редакцию. Но так я его больше и не видал. Правильно говорят, Бог шельму метит. Сухомлин произвел на меня отвратное впечатление: толстый, какой-то косоротый, нечистоплотно одетый, глаза – один на вас, другой в Арзамас.

Как оказалось, провокатором у эсэров Сухомлин был десятилетия. И разоблачен был случайно в Америке, после войны. Причем, защищали его с пеной у рта два закадычных друга по партии – Вл. Ив. Лебедев и М. Л. Слоним. Вл. Ив. Лебедев был своеобразной фигурой: эдакий «удалой добрый молодец». Невысокий, приземистый с пронзительным цыганским лицом, он был кадровый офицер царской армии, но бросив военную службу, ушел в революцию, в эсэры. Говорят, что в гражданскую войну, командуя отрядом армии Учредительного Собрания, где-то не то под Казанью, не то под Самарой, Лебедев шел в атаку впереди своего отряда в красной русской рубашке. Это, конечно, в стиле «удалого добра молодца». Так вот, когда Сухомлина все-таки разоблачили, И. Раузен, эсэр и большой приятель В. И. Лебедева, рассказывал мне, что Лебедев «рыдал как ребенок» на квартире у Раузена. Было отчего «рыднуть». Лебедев десятилетия дружил, оказывается, не с партийным товарищем Сухомлиным, а с большевицким «стукачем» первой степени. Ведь Сухомлин был не только видным членом группы В. М. Чернова,

но вместе с Черновым представлял партию во II-м Интернационале! Вот куда, и как легко, попадают большевицкие стукачи! А теперь оказалось, Сухомлин в Америке, под псевдонимом В. Белкин был сотрудником большевицкого «Русского Голоса» и корреспондентом коммунистической «Лэттр Франсэз», где писал гнусности о Викторе Кравченко, за что последний привлек газету к суду и выиграл процесс. Когда Сухомлин бежал в СССР, то получил там «персональную пенсию». Было за что.

У монархистов великого князя Николая Николаевича и его окружение «освещал» не кто-нибудь, а царский генерал генерального штаба Монкевиц, скрывшийся в СССР. В правой националистической газете А. О. Гукасова «Возрождение» в Париже оказалось два стукача: – бывший лицеист, дворянин, талантливый журналист, видный масон Лев Любимов, после войны выпустивший в Москве воспоминания об эмиграции, полные невероятного вранья. А вторым « тайным советским агентом» (как пишет А. Седых в «Далекие, близкие») был некий Ник. Ник. Алексеев, бывший белый контрразведчик, после войны неизвестно куда канувший. В партии младороссов оказался «стукачем» сам «глава» партии А. Л. Казем-Бек, бежавший в СССР из Америки, бросив семью на произвол судьбы (вероятно, надо было торопиться). В. Л. Бурцева опутывал провокациями царский генерал Дьяконов, масон, скрывшийся в СССР. В группе А. Ф. Керенского появился весьма опасный агент, офицер-корниловец Коротнев, выкравший у эсэров этой группы архив Административного Центра. Этот Центр издавал «Информационный бюллетень» и из Ревеля забрасывал его в СССР. Украв архив, перед бегством Коротнев оставил записку, что убить Керенского «был не в силах». Думаю, Коротнев был плохой большевицкий агент. Его «прощальная» записка стала известна в эмиграции и, конечно, парижскому резиденту НКВД. А в сем

учреждении за то, что «был не в силах убить» по головке не гладят. И получив от агента-вора Архив, Коротневу, вероятно, пустили пулю в затылок в лубянском подвале. Помню, как А. Ф. Керенский в Америке рассказывал мне, что этот тайный советский агент Коротнев был рекомендован ему другом Керенского, бывшим министром юстиции Временного Правительства П. Н. Переверзевым, как «исключительно честный и порядочный человек». Весь Архив Административного Центра хранился в особнячке на 9 бис рю Винёз, где А. Ф. Керенский жил один. «Часто, – рассказывал Керенский, – когда я был уже в постели, Коротнев стучал в дверь и просил разрешения войти поговорить». Керенский впускал его. И они иногда долго говорили о России, о политике, о большевиках, о том, о сём. – «И вот не убил!» – закончил свой рассказ А. Ф. – «Чем же вы, А. Ф. , это объясняете, ведь он же свободно мог убить вас в постели в этом особнячке?» – А. Ф. широко улыбнулся и подняв указательный палец вверх, проговорил: – «Шарм!»

Я обрываю это отступление о «стукачах» и провокаторах-эмигрантах. Не моя тема. А нужно бы было, чтобы кто-нибудь об этом написал. Я коснулся ее только потому, что она пришлась к слову, когда я вспомнил на первой «агапе» ложи «Свободная Россия» – «брата» К. К. Парчевского.

Среди масонов

После вступления в ложу «Свободная Россия» отношения мои с М. С. Маргулиесом, естественно, стали ближе. М. С. было далеко за семьдесят, жил он один (жена умерла, сын ученый-китаевед жил где-то заграницей). М. С. тяжело переносил одиночество. К тому ж у него был старческий порок: любил говорить, говорить, говорить, рассказывать и рассказывать. Хоть теперь я дожил до более глубокой старости, чем Маргулиес, слава Богу, *этого* порока у меня нет. Никогда не

любил и не люблю *говорить*, я любил и люблю *слушать*. И для Маргулиеса был незаменим. Его рассказы я слушал с удовольствием. Поэтому-то он так часто и приглашал меня к традиционному завтраку.

Разумеется, слово свое М. С. сдержал: составил письмо «по масонской линии» к депутату от Лот и Гаронн – Гастону Мартэн, прося похлопотать в министерстве внутренних дел о визах для семьи «нашего брата Романа Гуля».

С этим письмом, захватив свои книги на французском языке («Азеф», изд. Галлимар; «Тухачевский», изд. Мальфер; «Красные маршалы», изд. Бержэ-Левро), я отправился к Гастону Мартэн, с которым М. С. договорился о моем с ним свидании. Принял меня Гастон Мартэн весьма любезно в приятной квартире. Он был маленький, кругленький «французик из Бордо» (и действительно был из Бордо!). Поблагодарив за книги с «дедикасами», сказал, что напишет о них в газете «Л'Эвр». И действительно написал довольно лестно. О Тухачевском: «Nous avons eu déjà l'occasion de signaler ici même les livres de m. Roman Goul, et le caractère à la fois coloré, direct et un peu sommaire de leur presentation historique. L'ouvrage actuel est une biographie plus fouillée et semble-t-il plus objective, de l'actuel chef de l'armée rouge... Grâce à l'ouvrage actuel nous en possédons du moins un récit vivant et précis...»

Гастон Мартэн, разумеется, обещал написать в министерство внутренних дел о визах. Вообще, «было все очень любезно». Но эти «масонские связи» оказались, грубо говоря, липой. Как и раньше, в визах мне было отказано тем же «вежливым» мсье Бланшаром. А дальше я увидел, что у Маргулиеса никаких «магических» связей просто нет. И в этом смысле мой «прыжок» («прыгайте, гражданин!») оказался совершенно напрасным. Но о «прыжке» я не жалел, ибо встретил много интересных людей.

Во-первых, Маргулиес. Как-то М. С. рассказал мне, почему он так скоропалительно покинул Россию. Известно, что в 1912 году в Сибири, на Ленских приисках произошел расстрел демонстрации рабочих, вызвавший по всей России общее негодование. Зато теперь любые расстрелы в СССР, став «бытовым явлением», никаких общественных негодований не вызывают, ибо и общественности-то просто нет. Дело о Ленском расстреле в конце концов перешло в суд. Адвокатом со стороны рабочих выступил А. Ф. Керенский (совершенно безвозмездно, конечно, слава дороже денег!), а со стороны предпринимателей – М. С. Маргулиес. И вот сразу после Октября, когда в Петербурге большевицкие банды врывались в квартиры «буржуев» с обыском – искать «нет ли оружия», к М. С. Маргулиесу тоже ворвались. – «Конечно, никакого оружия у меня не было, – рассказывал Маргулиес, – но командовал отрядом какой-то еврей, полуинтеллигент, страшная бестия! И эта бестия спросила меня, тот ли я самый адвокат Маргулиес, который выступал на процессе о Ленском расстреле со стороны «капиталистов и империалистов»? (Ленские прииски принадлежали смешанной англо-русской компании). Да, говорю, выступал на процессе, но ничего против рабочих не говорил. А эта бестия никак не отвязывается; нас, говорит, не интересует, *что* вы говорили, мы это можем установить. Нас интересует, почему эти «капиталисты и империалисты» обратились *именно к вам*, а не к другому адвокату? Этого, говорю, я вам объяснить не могу, не знаю почему... Ну, одним словом, под конец он отвязался, но ушел с какими-то полуугрозами. И я понял, что лучше мне – от греха подальше – эмигрировать. И вскоре же покинул Россию...».

Помню, за одним из завтраков М. С. угостил меня графом Орловым-Давыдовым. В России Орловы-Давыдовы были несметно богаты, о них говорили, что им принадлежит не то

весь правый, не то весь левый берег Волги. Сейчас со мной за завтраком сидел большой (такой же, как Маргулиес), полный, с расплывшимся лицом старый человек, очень приятный в манерах, в разговоре. Маргулиес (до завтрака) мне сказал, что граф – старый масон, высокого градуса. Это именно он во времена Временного Правительства ежевечерне или еженощно, вместе с вел. кн. Николаем Михайловичем (историком), приезжали к замученному за день премьеру Керенскому и вели с ним какие-то долгие разговоры, причем граф привозил с собой своего повара, который готовил ужин для трех друзей. Думаю, это были масонские визиты. Думаю, что либеральный вел. кн. Николай Михайлович был тоже вольный каменщик.

Но завтракая и разговаривая с графом, я видел перед собой только старого русского барина, светского человека, а отнюдь не к. н. «государственного мужа». И в моем представлении этот старый барин связывался только с известным цыганским романсом «Я ехала домой / Душа была полна неясным для самой / Каким-то новым счастьем...». Когда я был гимназистом, во всех газетах шли отчеты о скандальном процессе известной петербургской певицы Пуарэ и графа Орлова-Давыдова. В чем там была суть, уж не помню, знаю только, что для этой цыганской певицы, возлюбленной графа, кто-то сочинил, ставший знаменитым, этот романс, и Пуарэ исполняла его «бесподобно»: как она «ехала домой» и как что-то там «поняла»...

Гораздо интересней были завтраки с Маргулиесом, когда мы были вдвоем. Он рассказывал и рассказывал. Например, я как-то спросил его, масон ли Керенский? Маргулиес отмахнулся: – «Да какой он масон! Нет. Он был в Думской масонской группе, но эта же группа, как масонская, не признавалась ни во Франции, ни в Англии, потому что это было не ритуальное масонство, а именно *группа*, политически

сочувствующая масонским либеральным идеям. Ни инсталляций, ни лож, ничего там не было, были только некие политические связи с заграничными масонами. Только и всего. Были там Некрасов, Терещенко... А когда Керенский стал эмигрантом и приехал в Париж, он в масонство не вошел, не захотел. И вот недавно он читал у нас в «Великом Востоке» доклад о положении в России. Но доклад был en tenue blanche». Я спросил, что это такое? М. С. объяснил, что в масонские храмы часто приглашают на доклады разных политических и общественных деятелей не масонов, и тогда доклады их проходят, как обыкновенные лекции (без лент, передников, без всякого ритуала, разумеется). Это и называется на масонском языке – en tenue blanche.

Спрашивал я Маргулиеса о Милюкове и Гучкове – масоны ли они? Маргулиес рассказал, что и того и другого долго уговаривали вступить в орден, ибо их вступление было бы ценно, но и тот и другой отказались. Милюков на все уговоры отвечал: – «Я не мистик, а потому масоном стать не могу!». «И что вы хотите, он был прав, – говорил М. С., – до седых волос его любимым героем в русской литературе остается Базаров. А каким же масоном может быть Базаров? Кизеветтер правильно назвал Милюкова: «семидесятилетний комсомолец»! – «А Гучков?» – «И он отказался, заявив себя верным сыном Православной Церкви». – «Но ведь верующие православные в масонстве есть и были?» – «Конечно. У Гучкова это была просто отговорка. Причем, им обоим предлагали ведь не посвящение в «ученики», а сразу наивысший 33-й градус! Из русских его имеют только двое: я и Маклаков». – «А в какой ложе Маклаков?» – «У нас в «Великом Востоке», в ложе «Северная Звезда».

Помню, я сказал что-то лестное о Маклакове, но М. С. как-то даже «обиделся». Надо сказать правду: Маргулиес был очень тщеславен и честолюбив, и к таким людям, как

Милюков, Гучков, Маклаков, имевшим всероссийское (и даже мировое) имя, относился крайне ревниво, ибо у Маргулиеса такого имени не было и быть не могло. Был «33-й градус» – и только. Поэтому при всяком случае он пускал всевозможные шпильки всем трем: Милюков – Базаров, Гучков – бреттёр, а о Маклакове, когда я сказал о нем что-то лестное, М. С. ответил «снисходительно»: – «Ну, да он оратор неплохой. Но он же ведь психопат-бабник. Если вы только повесите на стену юбку, он сразу под нее полезет. И к тому же – это общеизвестно – он патологически скуп, просто жаден. На к. н. концерте или собрании всегда норовит так надеть пальто и улизнуть, чтоб не дать на чай в гардеробной, а в ресторане – чтоб не дать лакею на чай».

Когда я дал М. С. подписать еще раз прошение о визах, которое уже подписали Милюков, Гучков, Маклаков, Церетели и под их фамилиями везде было «ancien ministre», Маргулиес, взяв ручку, чтоб подписать, как бы невзначай, бросил: – «Собственно говоря и под моей фамилией вы могли бы напечатать «ancien ministre». Это относилось к его кратковременному «министерству» в эфемерном Северо-Западном правительстве при ген. Юдениче. Чтоб доставить старику удовольствие я, конечно, припечатал и под Маргулиесом «ancien ministre». Вообще, при несомненной одаренности и недюжинности в М. С. Маргулиесе было много (пожалуй, даже чересчур!) суетности. С библейским Экклезиастом – «все суета сует и суета всяческая» – он никак не мог бы согласиться. Суетой – *жил*.

Кстати, о суетности. Уже после моего вступления в ложу «Свободная Россия», я зашел как-то к Я. Б. Рабиновичу. У нас были очень хорошие, дружеские отношения, но, разумеется, о моем посвящении я бы ему не сказал: «тайна есть тайна». Но как только мы сели в его кабинете, Я. Б. говорит: – «Ну, поздравляю вас, Р. Б.». – Я удивленно: – «С

чем?» – «С вступлением в наш орден вольных каменщиков». – Я удивился вдвойне: – «Во-первых, откуда вы знаете? И во-вторых, почему в наш?» Я. Б. ответил с улыбкой: – «В „наш“? Потому, что я тоже состою в ордене и довольно давно. А узнали в нашей ложе «Юпитер» все мы, потому что для нас, масонов, никакое посвящение не секрет, мы всегда узнаем о них. И скажу вам, что все мы пожалели, что вы вступили не к нам в «Юпитер», а к Маргулиесу в «Свободную Россию». – «Какая же разница?» – «Большая. У нас в «Великой Ложе Франции» сохранилось больше от древнего масонства шотландского ритуала. А «Великий Восток», весь в целом, гораздо более политичен. Маргулиеса же ложа – это больше общественно-политическое объединение, чем масонское». – «Ну, мне это, пожалуй, как раз и более подходяще. Вы более-менее мистик, а я насчет мистики слабоват». – И я рассказал Я. Б. о том, что меня толкнуло в ложу Маргулиеса (о «прыгайте, гражданин!»). Я. Б. сказал: – «Боюсь, что и тут вы разочаруетесь. У Маргулиеса нет больших связей, которые бы вам помогли». – Дальше в разговоре я спросил Я. Б., давно ли он в масонстве, он сказал, что – довольно давно, но когда я спросил его, в каком же он градусе, Я. Б., смеясь, от ответа уклонился. Кто-то мне потом говорил, что он был в 17-м градусе (и это, если не ошибаюсь, последний градус перед 33-м).

Я. Б. был человек веселый, остроумный. Спросил, как мне понравились братья «Свободной России», я ответил: – «Ничего. Есть люди полноценные, интересные». – «Видите ли, в русские масоны идут две категории людей, – сказал Я. Б., – евреи и кавалергарды», – и засмеялся, – «у вас, кажется, насчет кавалергардов слабо, а вот у нас – князья, графы и прочие родовитые „кавалергарды“». Это было верно. Позднее я встречался на агапах и с Вяземским, и с Шереметевым, и с Давыдовым и с Товстолесом, и с другими «кавалергардами».

Толковали мы с Я. Б. о многом. Он пригласил меня в воскресенье на обед, сказав, что будут Н. Н. Евреинов и А. Н. Пьянков. Я понял, что оба – масоны. Но Евреинов отзвонил, не мог прийти. А А. Н. Пьянков пришел. После обеда, как-то случайно зашел разговор о суетности. Ученый египтолог А. Н. Пьянков, большой приятель Я. Б., был человек довольно парадоксальный: ум эксцентричного склада, цинический, но в меру, без вульгарности. Когда после обеда мы пили чай, Пьянков, шутя и смеясь, заговорил о суетности в масонстве.

– В наших черносотенных кругах всякие ихтиозавры и динозавры пишут о масонах пудовые глупости, приписывая нам какие-то «сатанинские мессы» и прочую чушь. Но в известном смысле можно сказать, что некий «сатанизм» в масонстве есть.

Зная любовь Пьянкова к «парадоксам», и Я. Б. и я улыбались. – «Нет, нет, не смейтесь, – продолжал, сам улыбаясь, Пьянков. – Давайте разберемся, но – мудро. Что такое сатана? На что он толкает? Конечно, прежде всего, на суету сует, ибо суета сует и есть его аура. А чем в своей сути живут масоны? Скажем, положа руку на сердце, именно суетностью, а в этом и есть «сатанизм». Все эти разговоры о «братской любви к людям», о «нравственном самоусовершенствовании», о «совокупном познании истины», «о Боге, как существе всемогущем, вечном и бесконечном», все это словеса, прикрывающие суетность. Часто человек идет в масонство, чтоб не быть простым обывателем Иваном Ильичем, а стать неким «братом, охраняющим входы» или «братом дародателем», и это льстит – чему? Его суетности. Наш «брат» Н. Н. Евреинов правильно развивает теорию «театрализации жизни», так называемого «театра для себя». «Театр для себя» живет в каждом. И вот, когда Иван Ильич преображается из простого обывателя в «брата, охраняющего входы», он входит уже в

какую-то «роль». И «роль» эта ему нравится. Пусть экзистенциально он тот же Иван Ильич Перепелкин, но *для себя* он уже «брат дародатель» или «брат, охраняющий входы». И какие-то в миру знаменитые люди называют его, простого Ивана Ильича, своим «братом». Вот и начинается «театр для себя», которым Иван Ильич *живет.* Причем, это еще прикрыто «тайной». А «тайна» – сильная вещь. «Тайна» великий мотор в человеке. Об этом умно говорит Зигмунд Фрейд. А все это вместе, конечно, *суета сует,* которую любит именно «сатана».

Пьянков сам улыбался. Я. Б. смеялся, хорошо зная Пьянкова. – «Но, Александр Николаевич, вы же не станете отрицать, что есть *подлинные масоны,* верующие в правду масонства, ну, например, Григорий Николаевич Товстолес как-то искренне сказавший: «Масонство, это мой монастырь».

– Ну, вот он и есть настоящий Иван Ильич! Он верит в пустоту высокопарных слов и пробует наполнить их своими довольно неясными, добрыми чувствами. Но от этого общая суета сует не исчезает.

Когда прошел какой-то положенный срок и мне надо было переходить из «учеников» во 2-й градус – в «подмастерье», М. С. сказал мне: – «Р. Б., прочтите к. н. доклад в ложе и мы переведем вас во второй градус». Я предложил, что прочту доклад «О начале коммунистического террора», из книги «Дзержинский», которую я готовил. – «Вот и великолепно!» – сказал М. С. Я прочел этот доклад в ложе «Свободная Россия», перейдя тем во второй градус со званием «подмастерья». Тут я снял кожаный передник «ученика» и надел голубую ленту с золотым шитьем, через плечо и такой же шитый золотом голубой передник. Так я вошел в «голубое масонство».

А через несколько дней вышеупомянутый советский стукач Н. Н. Алексеев напечатал в газете «Возрождение» статью

о маршале Тухачевском, тогда приехавшем в Париж из Лондона, куда был послан присутствовать на похоронах английского короля. Статья, подписанная буквой «А», была подкинута НКВД – чисто стукаческая, полная лжи и о М. Н. Тухачевском и обо мне. Н. Н. Алексеев писал, что еще со времен своего плена Тухачевский был немецким агентом и из плена он не бежал, а был послан в Россию немцами. Мне посвящался такой абзац: – «Наиболее обстоятельная книга о Тухачевском была написана несколько лет тому назад бывшим участником первого похода, затем перекинувшимся к большевикам и *от них уехавшим в Берлин и Париж* (курсив мой, Р. Г.) романистом Романом Гулем. К ней нельзя относиться с большим доверием потому, что *как раз в эти дни Р. Гуль выступал в Париже в одной из масонских лож с докладом о «масонстве в СССР», а М. Тухачевский сам принадлежал к масонству со времен еще пребывания в германском плену»* (курсив мой, Р. Г.).

Прочтя эту «работу» стукача, я пришел в ярость. Написал письмо в редакцию и сам поехал в «Возрождение». Первым, на кого я наткнулся там, был как раз Н. Алексеев. Он, конечно, понял, зачем я приехал, и с саркастической улыбкой вышел в соседнюю комнату. А меня принял секретарь редакции. Я дал ему письмо, сказав, что если оно полностью, без изменений, не будет напечатано в «Возрождении», я привлеку редакцию к суду за клевету. И попросил дать мне ответ сразу. Секретарь с письмом куда-то ушел. Через несколько минут ко мне вышел редактор Ю. Семенов (несчастная бездарность!) с моим письмом в руках и сухо сказал, что письмо будет напечатано.

16-го февраля 1936 года мое опровержение было полностью напечатано. А в 1937 году в Париже резидент НКВД Кривицкий бежал из полпредства, «выбрав свободу». И свои разоблачения стал печатать в меньшевицком «Социалистическом Вестнике», сообщив, что статья о Тухачевском была

подкинута НКВД и добавлял, что в «Возрождении» он, резидент НКВД, мог напечатать всё, что хотел.

Кстати о приезде Тухачевского в Париж. В Париже, как эмигрант, жил его друг-однополчанин по гвардии Семеновскому полку Сергей Ганецкий. Ганецкий был материально хорошо устроен, он был директор хорошего отеля «Коммодор». И зная его, Тухачевский встретился с ним. Может быть один. А может быть в сопровождении военного атташе (энкаведиста) Венцова, как тень везде бывавшего с Тухачевским. Этот Сергей Ганецкий раньше рассказывал друзьям интересную деталь биографии Тухачевского. Когда в Сов. России, после побега из немецкого плена, Тухачевский пошел в формировавшуюся Красную Армию, Ганецкий с удивлением спросил его: «Как ты можешь итти туда?» На что Тухачевский ответил: – «Я ставлю на сволочь...». И Тухачевский оказался исторически прав: сволочь победила (не без помощи «нашего Бонапарта», как иронически называл Тухачевского Ленин). Но Тухачевский просчитался в одном – в том, что *сволочь* убьет и его. И убьет подло и зверски. А за ним убьет и его старуху мать, замечательную русскую женщину, простую крестьянку из Смоленщины, которая, несмотря на все «допросы» и пытки, отказалась признать своего Мишу «врагом народа». В то время, как другие родственники «признали». Страха ради иудейска.

Собрания ложи «Свободная Россия» были не часты, сопровождались всегда братскими «агапами». Я их посещал. Иногда эти заседания бывали в русском масонском доме на 29, рю де л’Иветт, где собирались все русские ложи: шесть от Великой Ложи Франции и две от Великого Востока. Особняк русских лож на рю де л’Иветт поразил меня: старинный, барский особняк, красивый, окруженный какой-то зеленью, он стоял поодаль от других домов. Внутри прекрасный паркетный зал с двумя большими зеркалами. В нижнем этаже –

своя кухня, где готовил повар (вероятно, тоже вольный каменщик?). Тут иногда устраивались доклады для русских лож, а после доклада обмен мнений и превосходные агапы для всех. Надо честно сказать, что и публика, и атмосфера таких собраний и застолий были и приятны, и интересны.

Помню, например, доклад серьезного историка русского масонства Павла Афанасьевича Бурышкина. Бурышкин был коренной москвич, из старого купеческого рода, во времена Временного Правительства был, кажется, товарищем министра Коновалова. Умница. Образованный человек. Доклад его был: – «Лев Толстой и масоны». Как сейчас помню его начало. Бурышкин начал с заметки в дневнике Льва Николаевича: «Сегодня весь день думал о масонах, – Бурышкин сделал глубокую паузу и потом закончил цитату, – какие дураки...»

По залу пробежал невольный смех. Далее П. А. говорил о том, почему рационалист Толстой не мог стать масоном и в «Войне и мире» писал о масонстве несколько иронично, а иногда, говоря о Пьере Безухове, и довольно жестоко.

М. С. Маргулиес по-прежнему относился ко мне очень дружески. Мне думается и потому, что ему было немного стыдновато, что несмотря на обещания он ничем мне помочь не мог с визами. Стыдновато было за свое масонское бессилье. В 1937 году он попросил меня прочесть еще один доклад в ложе для того, чтоб он мог перевести меня в 3-й градус (из «подмастерьев» в «мастера»), на чем мое масонство и кончилось. Правда, после войны Я. Б. Рабинович и А. Н. Пьянков затащили меня, как мастера, в свою ложу «Юпитер», но это кончилось быстро и довольно драматично: я ушел из масонства совсем и ушел демонстративно по политическим мотивам, ибо в русском масонстве в Париже тогда началось некое примиренческое течение в отношении к сталинскому СССР. Но об этом я расскажу, когда хронологически дойду до послевоенных лет.

У графини Л. Н. Воронцовой-Дашковой

Чаи у Я. Б. Рабиновича и жены его Ольги Владимировны были всегда приятны. Кроме А. Н. Пьянкова бывал Ник. Ник. Евреинов (со своим «театром для себя»), всегда остроумен, парадоксален. Бывали братья Д. Н. и Б. Н. Ермоловы, наши пензяки, родственники известного генерала Ермолова, но их по Пензе я не знал, оба учились где-то в столицах. До революции Дмитрий Николаевич пошел по министерству внутренних дел, в гражданскую войну – в белой разведке, а сейчас у него был «бакалейный магазин», но в его «бакалею» я не особенно верил. Почему-то – без всяких оснований – казалось, что он и сейчас должен быть связан с какими-то Intelligence. Борис Николаевич был византолог, работал в Византийском Институте в Париже. Еще встречал я у Я. Б. гвардии капитана (артиллериста) М. Н. Сейдлера (досточтимый мастер ложи «Юпитер»). Он был тот самый офицер, который от имени офицерской организации предлагал вел. кн. Михаилу Александровичу (после его отречения) побег из России. План, говорят, был безошибочен. Но Михаил Александрович отклонял всякий побег, говоря «я не хочу бежать из своей страны». Отказ, по-моему, был не мудр. Я никогда не понимал этой «*нерасторжимой связи со своей страной*». Ну, а если моя страна осатанела, озверела, обокаянилась, как Россия в 1917–18 гг.? В Дневнике за 1921 г. И. А. Бунин записал: «И как надоела всему миру своими гнусностями и несчастиями эта подлая, жадная, нелепая святая Русь!». И был прав. Я всегда чувствовал свою бытийственную, личностную связь со *всем миром*, а не только со «*своей страной*». Весь мир – мой. Весь мир – Божий.

Вскоре после моего знакомства с М. Н. Сейдлером Я. Б. передал, что у него и его сестры графини Л. Н. Воронцовой-Дашковой возникла мысль: не записал ли бы я ее рассказы о

вел. кн. Михаиле Александровиче, с которым она была дружна, а ее покойный муж гр. Воронцов-Дашков был самым близким (с детства) другом Михаила Александровича? Я согласился.

В условленный день я пришел к Л. Н. в отель «Наполеон» (Авеню Фридланд), где она жила. Она поразила меня и приветливостью и своей красотой. Близкий к придворным кругам человек говорил мне, что графиня Людмила Николаевна слыла при дворе самой красивой женщиной. В таких оценках, думаю, «двор» был компетентен.

Так как Л. Н. рассказывала о великом князе, как о *человеке*, я предложил заглавие «Человек, отрекшийся от трона». Л. Н. согласилась. Так начались мои записи рассказов Л. Н. В ее комнату подавался чай и ч. н. к чаю. Ее рассказы я записывал скорописью. Дважды для уточнений рассказанного Л. Н. приглашала на эти «чаи» генерала кн. Бекович-Черкасского, бывшего командира Татарского полка Дикой Дивизии и быв. командира Дагестанского полка генерала кн. Амилахвари той же дивизии, которой во время войны командовал вел. кн. Михаил Александрович. Оба князя оставили у меня самое приятное воспоминание. Не помню, чем занимался эмигрант Бекович-Черкасский, но Амилахвари зарабатывал на жизнь, как парижский таксист.

И Л. Н. и я полагали, что ее рассказы о великом князе, отрекшемся от престола, заинтересуют и русскую и иностранную печать. Увы, мы ошиблись. «Последние Новости» отклонили печатание. А. А. Поляков сказал мне коротко: «*Нам* не подходит». Вероятно и единственный человек, уговаривавший в 1917 году Михаила Александровича принять престол, П. Н. Милюков был против печатания, ибо теперь стал республиканцем. Иностранные газеты совершенно не заинтересовались. И единственно, где я напечатал эти записи, была газета «Сегодня», за какие-то гроши, причем редакция сделала в тексте сокращения.

Роман великого князя

В 1912 году брак великого князя Михаила Александровича, брата Николая II и бывшего наследника престола, наделал в России не меньше шума, чем брак герцога Виндзорского в наши дни в Англии.

Браку великого князя предшествовал длительный роман.

Младший сын Александра III великий князь Михаил Александрович в 1908 году командовал эскадроном кирасирского её величества полка, шефом которого состояла мать великого князя, вдовствующая императрица Мария Федоровна.

Полк стоял в Гатчине, под Петербургом. Там на одном из полковых праздников великому князю в числе других жен офицеров была представлена Наталья Сергеевна Вульферт.

Это, казалось бы, мимолетное знакомство перешло быстро в длительный роман, закончившийся браком и отречением великого князя от всех присущих ему по положению прав.

Наталья Сергеевна Вульферт была женщиной красивой и образованной; происходила она из очень интеллигентной семьи. Её отец, С. Шереметевский, был известным адвокатом. Первым браком Наталья Сергеевна вышла за музыканта С. Мамонтова, вторым за кирасирского офицера Вульферта. В третьем браке с великим князем Наталья Сергеевна получила фамилию Брасовой.

Брака великого князя и Н. С. Вульферт не желали ни император Николай II, ни мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Когда император узнал о намерении великого князя все-таки жениться на Н. С. Вульферт, он вызвал великого князя во дворец и отдал краткий приказ:

– Черниговские гусары!

Великий князь назначался командиром Черниговского гусарского полка, стоявшего в Орле, куда он должен был немедленно отправиться.

Гатчина, кирасиры, Н. С. Вульферт, все было покинуто. Но мягкий по своему характеру великий князь в данном случае проявил непреклонную волю, решив жениться на любимой женщине, даже несмотря на противодействие императора.

Великий князь уехал в Орел. Но роман продолжался. По настоянию великого князя ротмистр Вульферт согласился на развод с

женой. И в 1912 году великий князь и Наталья Сергеевна покинули Россию, уехав за границу, в Вену, где великий князь в строгой тайне предполагал совершить обряд венчания.

Но даже в Вене при заключении брака великий князь вынужден был действовать с крайней осторожностью. Он нашел в Вене не русского, а сербского православного священника, дабы заключенный им брак не подлежал расторжению со стороны святейшего синода.

Так, в 1912 году в Вене в православной церкви великий князь Михаил Александрович обвенчался с Натальей Сергеевной Вульферт.

В опале в Лондоне

Как только император узнал о заключении брака, в ответ последовал указ, в котором, как мера репрессии, над всем имуществом великого князя устанавливалась опека, в составе трех назначенных государем лиц, а великому князю запрещался въезд в Россию.

Великий князь, как частное лицо, остался жить за границей. Из Австрии в 1913 году он вместе с женой и родившимся сыном Георгием, переехал в Англию в замок Небворт, недалеко от Лондона.

Здесь под Лондоном и проводил свои дни опальный великий князь, лишенный возможности вернуться в Россию. Для великого князя такая вынужденная разлука с родиной была нелегка. И в особенности она стала тяготить его, когда в 1914 году вспыхнула война и когда долг военного звал его вступить в ряды армии. Но великому князю, не подчинившемуся воле императора, возвратиться в Россию было нелегко.

1914 год я проводила во Франции, в Ницце. Но незадолго до объявления войны я выехала в Россию, и здесь в нашем крымском имении «Форос» получила от моего мужа (тогда еще жениха) графа И. И. Воронцова-Дашкова телеграмму, вызывавшую меня в Петербург.

Я быстро собралась и двинулась в путь.

Мой муж граф И. И. Воронцов-Дашков был ближайшим к великому князю Михаилу Александровичу человеком. Семья графов Воронцовых по древности своего рода и по положению при дворе

была одной из самых близких к династии. Великий князь и граф Воронцов вместе росли, их связывала дружба детских лет. И в Петербурге из разговоров с мужем я узнала, что великий князь в замке Небворт в эти дни чрезвычайно тяжело переживает свою оторванность от родины.

Об этих чувствах граф Воронцов был осведомлен из писем и, как истинный друг, мой муж взялся хлопотать о разрешении великому князю вернуться на родину.

Просьба к императору, а также к вдовствующей императрице была обращена от имени отца моего мужа, наместника Кавказа, генерал-адъютанта графа И. И. Воронцова-Дашкова, с чьим мнением считались государь и двор.

С письмом старого графа Воронцова мой муж был принят императором и вдовствующей императрицей. И в это же время государь получил от великого князя телеграмму, в которой тот просил о разрешении вернуться на родину. Великому князю было дано разрешение вернуться.

Возвращение в Петербург

В конце августа 1914 года великий князь приехал в Петербург, где временно остановился в «Европейской гостинице». Но от мужа я узнала, что всё-таки «лёд» между великим князем и государем (а главное, между ним и государыней) еще не разбит.

На приёме у государя великий князь, раньше командовавший Кавалергардским полком, просил дать ему в командование какой-нибудь полк в действующей армии, но государь приказал оставаться в Петербурге, то есть быть фактически в бездействии.

Великого князя, никогда не любившего придворной жизни и её этикета и мечтавшего поскорее вырваться на фронт, такое положение чрезвычайно тяготило.

Муж рассказывал, что когда ему приходилось провожать великого князя во дворец на официальные приёмы, тот часто говорил своему шоферу: – «Тише... езжай тише...» – Великий князь всегда старался приехать во дворец уже к моменту приёма, дабы сделать своё пребывание там возможно более коротким.

Чтобы спасти его от вынужденного бездействия придворной жизни на помощь ему во второй раз пришел старый граф И. И. Воронцов-Дашков, очень любивший великого князя.

Незадолго до этого у наместника Кавказа генерал-адъютанта графа И. И. Воронцова-Дашкова возникла идея сформировать из всех кавказских народностей кавалерийскую дивизию. И теперь граф телеграфно обратился к государю с просьбой о назначении великого князя начальником этой дивизии.

На такую телеграмму отказа быть не могло. И великий князь стал начальником «Дикой дивизии».

Моё знакомство с великим князем

В сентябре 1914 года формирование Дикой дивизии заканчивалось в маленьком городке Винница на Украине. Здесь я и познакомилась с великим князем Михаилом Александровичем.

Я приехала в Винницу провожать своего мужа перед выступлением на фронт. Никогда не бывав в этом городке, я ехала, окруженная целым штатом прислуги, не подозревая, что в этом местечке, занятом сплошь войсками, мне негде будет не то что разместить мою прислугу, но даже разложить привезенные вещи.

На вокзале меня встретил муж, сказавший, что великий князь уже несколько раз спрашивал, приехала ли я, и очень хочет со мной познакомиться.

Разумеется, и мне хотелось познакомиться с Михаилом Александровичем, о котором я так много слышала, но меня, очень молодую женщину, смущало одно обстоятельство. Я была еще тогда не разведена с моим первым мужем, развод бесконечно тянулся, и это положение при знакомстве с великим князем меня, естественно, смущало, хоть граф и успокаивал меня тем, что жена великого князя была дважды разведена, что «на такие пустяки великий князь не обращает ни малейшего внимания».

В Виннице я остановилась в единственном существовавшем там небольшом отеле с громким названием «Савой». От крошечных размеров номера и от всей обстановки я была в отчаянии. И вот, когда только что приехав, я с помощью горничной кончала свой

туалет, в мой номер раздался стук, а затем на пороге появился великий князь.

Никогда не забуду первого впечатления: высокий, стройный, как все офицеры Дикой дивизии затянутый в черкеску, с ласковым открытым лицом английского типа (в лице великого князя было много черт, близких английской королевской семье), с большими серыми глазами.

– Здравствуйте, Людмила Николаевна, – проговорил он, – простите, пожалуйста, что я так стремительно ворвался к вам, но я так хотел поскорее познакомиться с невестой моего лучшего друга, что, надеюсь, заслуживаю снисхождения.

Прощаясь, великий князь пригласил нас с мужем приехать к нему обедать. И в шесть вечера мы подъехали к небольшому скромному домику, где он жил со своей женой.

За простым обедом, кроме нас, были секретарь великого князя Н. Н. Джонсон и его адъютант хан Эриванский и Н. Н. Абаканович. Михаил Александрович много рассказывал о своей жизни в Англии, которую он очень любил и в которой, по его словам, «чувствовал себя как дома». Я знала еще от мужа, что великий князь был большим англоманом и не только поклонником английского характера и быта, но и сторонником политических форм Британской империи. Эта любовь к Англии была привита ему еще в детстве англичанином – воспитателем мистером Хет.

Я не преувеличу, если скажу, что мое первое знакомство с Михаилом Александровичем положило начало большой и долгой дружбе. В течение месяца, что я пробыла в Виннице, мы виделись с великим князем ежедневно. Мы вместе обедали, вместе выезжали на прогулку, а иногда по вечерам он играл у нас с мужем, князем Вяземским и Н. Н. Джонсоном по маленькой в карты, в «тетку».

Великий князь был самым богатым из великих князей и одним из богатейших людей России. Кроме личного состояния к нему перешло и состояние покойного брата Георгия Александровича, но Михаил Александрович был человеком, не замечавшим своего богатства. Я никогда не могла удержать улыбку, видя, как в Виннице он за карточным столом по-детски радовался, если выигрывал 15

копеек и становился расстроенным, если проигрывал такую же «сумму».

Подальше от придворной жизни

В характере великого князя было много прирожденного уменья очаровывать людей. Но в отличие от некоторых других членов династии, в Михаиле Александровиче прежде всего резко бросались в глаза его простота и какая-то особая скромность, переходившая даже в застенчивость.

Всего, что было связано с пышностью, парадностью, этикетом великий князь избегал. Всему, что было связано с проявлением каких-нибудь бурных чувств, он был чужд, был ровен, спокоен, уравновешен. И в полной гармонии с такой уравновешенностью были вкусы великого князя. Михаил Александрович любил искусство, музыку, спорт, животных, цветы.

Великий князь Михаил Александрович был блестящим наездником. В понимании коня великому князю мало было равных. В Гатчине великий князь не раз скакал на скачках. Но самым большим удовольствием его высочества было оседлать своего кабардинца и совершенно одному скакать по полям и лесам.

Кроме конского спорта великий князь любил автомобиль, которым прекрасно правил; любил гимнастику на приборах; и очень любил физический труд, в особенности пилить дрова, чем и занимался часто вместе со своим адъютантом князем В. А. Вяземским.

Любя музыку, великий князь сам немного сочинял. Особенно любил он народную восточную музыку. И в Виннице при нём был знаменитый зурнач Зубиев, который подолгу играл ему кавказские заунывные напевы.

Однажды на фронте в Австрии, в Тулстуместе, когда Дикая дивизия стояла в резерве в лесу, всадники-кабардинцы пели свои национальные песни. Присутствовавший тут же, сам кабардинец, помощник командира Татарского полка князь Бекович-Черкасский, приказал пение прекратить. Но великий князь удивленно обратился к нему:

– Почему вы прекратили пение, князь?

– Мне кажется, что для европейского уха оно просто ужасно.

– Нет, нет, – запротестовал Михаил Александрович, – напротив, это прекрасные напевы, я в них чувствую что-то древнее, похожее на индусское, пусть поют...

И он не только продолжал слушать, но даже попросил князя Бековича перевести ему слова песен, чтобы записать их.

– Я могу перевести, – ответил князь, – но это песни про национального кабардинского героя князя Кучук-Аджигиреева, сражавшегося в 1830 году против русских.

Михаил Александрович засмеялся и настоял на переводе песен.

Почему великого князя не хотели награждать орденом Св. Георгия

В октябре 1914 года, повенчавшись с графом Воронцовым, я поселилась в Петербурге на Английской набережной. Но из Петербурга я часто ездила в прифронтовую полосу к мужу, командующему Кабардинским полком Дикой дивизии, и я всегда, конечно, в эти приезды встречалась с Михаилом Александровичем. От мужа, от князя Бековича-Черкасского, князя В. А. Вяземского, Н. Н. Джонсона и командира Дагестанского полка князя Амилахвари я узнала многое из жизни на фронте.

Всему ближайшему окружению, начальнику штаба генералу Я. Д. Юзефовичу и командирам полков было много хлопот с вел. князем, желавшим быть возможно ближе к линии огня. Удерживать его было нелегко. Таков был характер Михаила Александровича. Вместе со скромностью он был чрезвычайно самолюбив и одна мысль, что, пользуясь своим положением, он может держаться в тылу, заставляла его делать всё обратное.

В начале 1915 года, когда корпус генерала Баяровича двигался к Перемышлю, на долю отряда великого князя выпала серьезная задача: задержать наступавшую немецкую кирасирскую дивизию. Задача была выполнена образцово и Михаил Александрович лично был под огнём.

По статуту ордена св. Георгия член императорской фамилии, бывший под огнем, получал Георгиевский крест, и командир корпуса хан Нахичеванский представил его к этой награде. Но представление показало, что при дворе осталось чувство нераспо-

ложения к великому князю, доставившему много хлопот своим морганатическим браком. Николай II-й оставил без движения представление к ордену. Говорят, это было сделано под влиянием императрицы.

Но война шла. За дела на Сане великий князь был вторично представлен к той же награде. Но и это представление не получило движения.

Тогда, после нового дела, по которому Михаил Александрович заслуживал награждения Георгиевским крестом, генерал Брусилов, командующий 8-й армией, взял на себя провести награждение через Георгиевскую думу своей армии. Дума признала великого князя достойным и постановление её пошло на высочайшее утверждение. В этом случае отказа быть не могло и Михаил Александрович получил, наконец, Георгиевский крест, привезенный флигель-адъютантом полковником Дерфельденом.

Священник возглашает многолетие императору Францу-Иосифу

Желание «быть в тени» было характерно для Михаила Александровича. Мне запомнились многие случаи, иллюстрирующие это.

Самым большим удовольствием для Михаила Александровича было снять с себя погоны и, накинув простой полушубок, идти со своим адъютантом князем В. А. Вяземским в солдатский кинематограф. Как рассказывал князь, там в толпе никем не узнанный, он чувствовал себя великолепно.

– «Вот в таком состоянии, князь, я совершенно счастлив», – говорил Михаил Александрович.

А когда во время войны великому князю в местечке Язловец надо было посетить женский монастырь, в замке князей Понятовских, где воспитывались аристократические молодые девушки, он, зная, что на него будет обращено большое внимание, попросил своего начальника штаба сообщить, что вместо великого князя приедет начальник штаба. Сам же он в этом посещении взял на себя роль адъютанта. И на приёме великий князь радовался, когда все обращались к генералу Я. Д. Юзефовичу и никто не обращал вни-

мания на адъютанта, под видом которого скрылся Михаил Александрович.

Это желание «быть незаметным» соединялось в нём с конфузливостью. Князь Вяземский рассказывал смешной случай, происшедший с Михаилом Александровичем и моим мужем.

Из Петербурга я посылала мужу посылки на фронт, но из-за переходов дивизии они задерживались и однажды в местечке Копыченцы в Галиции муж получил сразу множество посылок. Над таким изобилием плодов земных смеялись окружившие мужа друзья. Муж же мой, большой шутник, тут же на воздухе, словно торговец, разложил все продукты и стоя за импровизированным прилавком в одном бешмете, был сильно похож на «духанщика».

Михаил Александрович и приближенные стояли здесь же, все без черкесок, без погон, в одних бешметах. Как раз в этот момент мимо проходила воинская часть, от неё отделился военный врач и, приняв «прилавок» моего мужа за полковую лавочку, а Михаила Александровича за приказчика, начал, обращаясь к великому князю на «ты», необычайно хвалить его за расторопность, за организацию такого прекрасного прилавка.

– Вот это ты молодец! – кричал доктор, хлопая по плечу Михаила Александровича. – Две недели мечтаю выпить чаю с лимоном! Нигде нет, а у тебя, братец, все есть!

Порывистостью военного врача Михаил Александрович был так смущен, что ничего не мог выговорить... Улыбаясь, указывая на мужа, он только говорил: – «Да нет, это он не продает... это он для себя...»

Но доктор не унимался, пока князь Вяземский не шепнул ему, кто перед ним. Доктор оторопел, но Михаил Александрович уверил доктора, что ровно ничего не произошло и в виде подарка завернул ему с «лотка» моего мужа пакет с фруктами.

Вспоминаю еще эпизод, рассказанный мне князем Бековичем-Черкасским.

В декабре 1914 года Дикая дивизия шла по Галиции и подходила уже к Карпатам. Из штаба дивизии по телефону передали во все полки, что 6-го декабря приказано устроить парад и отслужить молебен по случаю именин Николая II. Во всех полках шли приготов-

ления к службе и параду. В расположении Татарского полка нашелся русинский священник, взявшийся отслужить службу.

Во время службы мусульмане Дикой дивизии собрались во дворе церкви, куда съехались муллы, а в церкви собрались христиане, организовав из офицеров и солдат импровизированный хор. Всё шло гладко, но когда хор пропел многолетие, управлявшему хором офицеру Вырубову показалось что-то странное в возгласах русинского священника. Офицер вслушался – и подумайте! – О, ужас! Русинский священник возглашает многолетие не императору Николаю II, а императору австрийскому Францу-Иосифу!

Произошло замешательство. Священника арестовали. Он оправдывался, что как подданный австрийского императора, сделал это по привычке. Через командира полка дело дошло до Михаила Александровича, но тот только рассмеялся, приказав забыть этот инцидент и отпустить испуганного священника.

Полковник Якимиди, по прозвищу «душка»

В кругу близких Михаил Александрович часто любил подшутить.

Однажды в комнате одного своего нервного адъютанта Михаил Александрович привязал все вещи веревками и привел ночью в испуг адъютанта, когда в его комнате вещи задвигались «сами собой».

Помню, как подшутил он еще над приближенным к нему офицером бароном Врангелем. За столом великого князя подавалось вино и водка, но сам он ничего не пил. И как-то шутя предложил со всех пьющих брать штраф в пользу раненых и завел для этого кружку.

Барон Врангель любил выпить, но был скуп и, дабы не платить штрафа, под разными предлогами стал во время обеда выходить из-за стола в свою комнату и там, выпив изрядно, возвращаться к столу. Однажды Михаил Александрович застал Врангеля на «месте преступления» и... барон должен был опустить в кружку великого князя целых 50 рублей!

Но вскоре эти шуточные «штрафы» были упразднены. Чтобы никого не стеснять, великий князь приказал подавать всем вино, а

для себя вместо красного вина клюквенный морс и вместо белого – жиденький чай.

Однажды пехотный офицер, приехавший в дивизию и приглашенный к завтраку, сказал оказавшемуся его соседом моему мужу: – «Смотрите, говорят, великий князь не пьет! Да он уже два стакана хлопнул!» – «А не хотите ли попробовать вина из великокняжеской бутылки?» – спросил муж. – «Отчего же, с удовольствием, если это удобно», – проговорил офицер, и муж обратился к Михаилу Александровичу за разрешением. Тот, улыбаясь, разрешил. Смутившемуся гостю пришлось выпить большой бокал кислого клюквенного морса.

Раз к завтраку был приглашен офицер Дикой дивизии полковник Якимиди, известный под прозвищем «душка», ибо всех встречных и поперечных Якимиди называл «душка», и при том был большой любитель Бахуса.

При поездке товарищи предупреждали Якимиди, чтобы он не забывал и не вздумал назвать «душкой» Михаила Александровича. Якимиди уверял, что всё будет хорошо. Но Якимиди вскоре совершенно позабыл, с кем имеет дело, и после завтрака великий князь, смеясь, рассказывал, что Якимиди назвал его «душкой» три раза.

Перед революцией

В 1915 году я встречала Михаила Александровича в Петербурге, когда тот приезжал с фронта в Гатчину. В эти приезды он часто заезжал за нами в своём открытом паккаре и мы вместе уезжали на охоту под Гатчину. Там мы останавливались в охотничьих царских домиках: муж мой, большой специалист в кулинарии, готовил сам замысловатые блюда, и время чередовалось между охотой и беззаботным весельем.

Возвращаясь с охоты в Гатчину, Михаил Александрович любил показывать нам мрачный Гатчинский дворец, где протекли его детские годы.

Однажды, показывая гимнастические комнаты дворца, он сбросил с себя черкеску и, оставшись в одном бешмете, стал на турнике и параллельных брусьях делать самые отчаянные упражнения, взвиваясь, как птица.

В начале 1916 года Михаил Александрович покинул Дикую дивизию, будучи назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса, а незадолго перед революцией переехал в Гатчину, получив назначение генерал-инспектора кавалерии.

В связи с этим назначением предполагалось, что Михаил Александрович встанет во главе особого крупного конного отряда, предназначенного для самостоятельных действий на фронте. Но этому не суждено было осуществиться. Разразилась революция.

Заговор против Александры Федоровны

К концу 1916 года, когда Михаил Александрович жил уже в Гатчине, атмосфера при «большом» дворе, в связи с неудачами на фронте, начинавшимися волнениями в Петербурге, а главное в связи с делом Распутина, становилась всё нервнее.

Я не ошибусь, если скажу, что подавляющее большинство придворных считало императрицу виновницей всех несчастий. Мне пришлось близко знать многое, чего не знали широкие круги, и я должна сказать, что императрица под влиянием постоянного страха за жизнь наследника Алексея в это время была тяжко больным, впавшим в мистицизм, человеком. Но обладая от природы сильной волей, императрица все же подчиняла своему влиянию государя. И многими великими князьями и людьми, близкими ко двору, это влияние считалось пагубным.

Попытки отдельных лиц (Балашов, Орлов) повлиять на государя, дабы парализовать влияние императрицы, успеха не имели. И в придворных кругах против императрицы началась закулисная борьба, подчас переходившая в заговоры. К этим конспирациям имели отношение многие из великих князей. И только Михаил Александрович оставался вне этой борьбы.

Это не значит, что он был индиферентен к тому, что волновало тогда людей, близких к престолу. Но в Михаиле Александровиче отсутствовало желание борьбы. Он по-прежнему хотел оставаться «в тени» и не принимал активного участия в политической жизни страны.

Вспоминаю характерный разговор с Михаилом Александровичем на тему об одном придворном заговоре, о котором мне пришлось узнать совершенно случайно.

Это было в конце ноября 1916 года. Меня вызвал по телефону мой близкий родственник, прося приехать к нему по важному делу. Я приехала и в его кабинете застала эффектную даму г-жу Т., носившую громкую фамилию мужа, но не принятую в петербургском свете из-за своего образа жизни и из-за своего происхождения. Тем не менее (я это знала), г-жа Т. имела знакомства среди великих князей и с некоторыми из них была хороша. Мой родственник рассказал, что зная мою дружбу с Михаилом Александровичем, он вызвал меня, дабы я сама услышала из уст г-жи Т. рассказ о предполагаемом заговоре, связанном как будто косвенно и с именем Михаила Александровича, и из этого рассказа, как друг великого князя, сделала бы любое употребление.

Г-жа Т. рассказала следующее. Недавно она виделась с князем Игорем Константиновичем, который рассказал г-же Т., что он узнал, что в особняке на Мытнинской набережной происходят по четвергам весьма конспиративные собрания и что слухи об этих собраниях уже дошли до Николая II и тот поручил Игорю Константиновичу достать список всех участвующих там лиц.

Не находя иного пути, Игорь Константинович предложил г-же Т., с которой был хорош, не узнает ли она, кто собирается на Мытнинской. При этом Игорь Константинович сказал, что государь этого еще не знает, но он-то, Игорь Константинович, знает, что там ведется заговор против императрицы, в котором участвуют многие великие князья, и собирающиеся там хотят обратиться к царю с петицией об устранении императрицы от влияния на государственные дела и даже о заточении её в монастырь, а в случае отказа государя на собраниях дебатируется вопрос о попытке переворота с отстранением государя, причем некоторые высказываются за Михаила Александровича.

Я ответила, что ничего подобного от великого князя ни я, ни мой муж не слыхали и, зная характер великого князя, я уверена, что он никогда на это не пойдет.

На этом мы расстались.

Тем не менее от своего родственника я узнала, что на следующий день ранним утром г-жа Т. поехала прямо к великому князю Сергею Михайловичу, прося его о приёме. Великий князь в приёме

отказал. Но г-жа Т. так настаивала, что ей нужно видеть великого князя по делу чрезвычайной важности, что тот, наконец, принял её.

Г-жа Т., сделав условный знак заговорщиков и тем войдя в доверие великого князя, сказала, что получены сведения, что все собирающиеся на Мытнинской будут на ближайшем собрании переписаны и единственное средство избежать этого, это сейчас же предупредить всех по телефону, но чтобы великий князь не делал этого из своей квартиры, ибо за его аппаратом следят. Поверивший г-же Т., великий князь дал телефонные номера, по которым нужно было позвонить, написав их собственноручно. И с этим списком г-жа Т. прямо из квартиры Сергея Михайловича поехала к Игорю Константиновичу, а последний со списком выехал в ставку к государю.

Вскоре после этого мне пришлось читать письмо Игоря Константиновича к одному из своих друзей, в котором тот писал, как он в ставке встретился с вызванным туда Сергеем Михайловичем, который «белый от злости» подошел к Игорю Константиновичу, сказав: – «Как ты смел передать государю какой-то список?» – «А зачем же вы, дядя, его писали?» – спросил Игорь Константинович.

На одном из обедов у нас я рассказала Михаилу Александровичу о всей этой истории с г-жой Т., спросив его, не знал ли он об этом?

– Не только не знал, но и совершенно всему этому не сочувствовал бы, – ответил князь.

– То есть, чему бы вы не сочувствовали? – желая уточнить ответ, переспросила я.

И, улыбнувшись, он прибавил: – Переходу короны ко мне, графиня. Вы ведь знаете, до чего меня никогда не соблазнял трон...

Через некоторое время я узнала, что результатом сборищ на Мытнинской набережной явилось то, что многим из великих князей и высокопоставленных лиц было велено покинуть Петербург.

Убийство Распутина

Как-то после моей встречи с г-жой Т. у нас обедал великий князь Дмитрий Павлович. Будучи еще под впечатлением рассказа о заговорщиках с Мытнинской и думая, что уж если многие великие

князья бывали там, то Дмитрий-то Павлович там должен был быть, я, шутя, предложила великому князю погадать по руке.

Взяв руку Дмитрия Павловича, я начала «гадать», но вскоре, сделав испуганное лицо, сказала: «Ваше высочество, я вижу у вас на руке – кровь...»

Каково же было моё изумление, когда Дмитрий Павлович изменился в лице и отдернул руку, а вскоре, внезапно вызванный своим адъютантом Шагубатовым, извинившись, куда-то уехал. Моё «гадание» оказалось пророческим: в тот же вечер произошло убийство Распутина.

Это убийство можно было предвидеть и, тем не менее, оно потрясло многих, как удар грома. В свете говорили только о нем. В момент убийства Михаил Александрович находился в Гатчине.

Мыс мужем тут же приехали туда.

Когда мы вошли в домик на Николаевской улице № 24, большинство гостей были в столовой, мы же с мужем, великим князем и Н. Н. Джонсоном прошли в гостиную.

Помню, как сейчас, наш короткий разговор и всю обстановку, в которой он произошел. Н. Н. Джонсон сидел у рояля, что-то наигрывая. Великий князь показался мне крайне взволнованным. Здороваясь со мной, он проговорил:

– Ах, графинюшка, как жаль, что не я убил эту гадину...

– Ваше высочество, но разве всё зло в нём? – сказала я.

– А в ком же? – проговорил великий князь.

– Вы не знаете? Распутинщина слишком глубоко пустила корни...

– Не будем об этом говорить, графиня, – изменившись в лице, проговорил Михаил Александрович.

Через несколько недель вспыхнула революция.

Мы узнаём о революции на охоте

Мой муж был страстным охотником, за свою жизнь убившим больше 50 медведей, на которых иногда ходил и с рогатиной. О революции мы узнали 27-го февраля 1917 года во время охоты в нашем имении «Шапки» под Петербургом.

По иронии судьбы, наша последняя охота в «Шапках» была на редкость удачной. К нам съехались князь Лопухин-Демидов, кн. Эри-

ванский, лейб-гусар Смицкой, граф Павел Шувалов, князь Гагарин и мн. др. Все были в самом хорошем расположении духа, в особенности муж, убивший трёх рысей.

Был прекрасный зимний день. По окончании охоты вдруг к моему мужу подскакал один из наших слуг и сказал, что в Петербурге стрельба, министры арестованы и солдаты переходят на сторону восставших.

Несмотря на то, что все мы, близкие ко двору, весь 1916 г. жили в напряженной атмосфере всевозможных слухов о заговорах и конспирациях, однако, никому из нас в голову не приходила мысль, что революция так близка к нам!

От нашего имения «Шапки» в Петербург на протяжении 20 верст шла наша собственная железнодорожная ветка. Через полчаса мы были уже в поезде. Когда мы остались с мужем в купе вдвоём, меня охватило предчувствие чего-то непоправимого. Когда поезд подошел к Николаевскому вокзалу, всё было полно солдатами в красных бантах.

Нашего шофера у вокзала мы не нашли. Кое-как на извозчике добрались мы до нашего особняка на Английской набережной. Везде слышалась стрельба. Неслись переполненные людьми грузовики.

Я пытаюсь узнать, где Михаил Александрович

Два дня, 28 февраля и 1 марта, прошли в лихорадке.

С первого же момента беспорядков беспокоились за судьбу Михаила Александровича. А когда узнали об отречении государя в его пользу, наше беспокойство перешло все границы. Ведь мы даже не знали, где он сейчас находится.

Телефоны бездействовали. В город было выйти нельзя. Но мне во что бы то ни стало хотелось узнать хоть что-нибудь о великом князе, который в этот момент становился как будто императором.

У меня был преданный шофер. Я просила его во что бы то ни стало поехать к знакомым, дабы узнать: где Михаил Александрович?

2-го марта 1917 года рано утром запыхавшийся шофер вбежал ко мне, рассказав, что Михаил Александрович здесь, в Петербурге, и находится сейчас у князя Путятина на Миллионной. Я и муж ре-

шили сейчас же ехать туда. Я хотела, чтобы ближайший к Михаилу Александровичу человек, мой муж, в этот ответственный момент был подле него. Я знала хорошо характер великого князя, знала его скромность, но в этом характере я знала и большое самолюбие.

Через двадцать минут во дворе нашего особняка стояла машина. Я второпях кончала свой туалет, как вдруг в передней послышалась возня, звон разбитых стекол и прямо к моему будуару раздался шум шагов.

Дверь в будуар распахнулась. В этот момент я стояла перед зеркалом с распущенными волосами, одна из горничных заплетала мне волосы, другая застегивала платье. Я только успела повернуться – на пороге были два матроса.

Машина уже ждала, чтобы ехать к князю Путятину. Понимая, что тут нельзя показать испуг, я закричала:

– Что вам здесь надо?! Вы врываетесь в дом! В спальню! Что это такое?!

Увидев перед собой совсем молоденькую безоружную женщину, матросы смутились.

– У вас в доме скрылся городовой, – проговорил первый из них.

– Что?! Городовой?! – перебила я его. – До сегодняшнего дня я не принимала у себя в доме городовых! И никогда бы не впустила вас, если бы вы не ворвались силой!

Свой монолог я закончила тем, что предложила искать где угодно. Но это так подействовало на матросов, что они ушли, а после их ухода наш швейцар слёзно благодарил меня за спасение своего брата, скрывшегося у нас в доме городового.

В квартире князя Путятина перед отречением великого князя от престола

Через пять минут мы уже мчались с мужем к Миллионной № 12, к князю Путятину. Мы приехали туда часов в 9 утра. Но даже в этот ранний час ехать по Петербургу было опасно. Стреляли, летали шальные пули. Нашу машину обстреляли дважды, пули пробили шины задних колес, и мы доехали уже на ободах. В этот день при таком же обстреле автомобиля был убит, ехавший с военным

министром временного правительства А. И. Гучковым, племянник моего мужа князь Д. Л. Вяземский.

Мы поднялись по знакомой лестнице в квартиру князя Путятина. В парадных комнатах, выходивших на улицу, никто не сидел, ибо на улице стреляли и сидеть здесь было небезопасно.

Нас провели в столовую. В столовой стоял бледный, одетый в китель Михаил Александрович. Вид его был чрезвычайно болезнен, я уже знала, что великий князь давно страдает приступом болей язвы желудка. В этот момент у него был такой вид, словно он еле держится на ногах.

Михаил Александрович рассказал нам с мужем, что, узнав о чрезвычайно напряженном положении в Петербурге, он еще 26 февраля приехал сюда из Гатчины, ибо многие политические деятели просили великого князя предупредить государя о серьезности надвигающихся событий и переговорить об этом с ним по прямому проводу.

26-го февраля из главного штаба Михаил Александрович вызвал ставку и через начальника штаба ставки генерала Алексеева просил государя подойти к проводу, дабы переговорить с государем о делах чрезвычайной важности. Но государь к проводу не подошел, несмотря на то, что великий князь дважды настаивал на этом. Оба раза государь ответил, через генерала Алексеева, что не видит никакой надобности в каком-либо спешном разговоре и предложил великому князю соединиться со ставкой завтра. Но на «завтра» Петербург был уже во власти революции. А через два дня государь отрекся от престола. Для Михаила Александровича было полной неожиданностью, что Николай II отрекся от престола не в пользу своего сына Алексея, а в пользу Михаила Александровича.

27-го февраля в главном штабе великий князь оставаться уже не мог из-за стихийно развивавшихся событий. Со своим секретарем Н. Н. Джонсоном он проехал в Зимний Дворец. Будучи чрезвычайно голодным, Михаил Александрович просил коменданта дворца Ратиева дать ему что-нибудь поесть. Но в то время, как великий князь начал есть, комендант вбежал, сказав, что он должен сейчас же покинуть дворец, ибо с минуты на минуту в него могут ворваться сюда. И Михаила Александровича с Н. Н. Джонсоном через Эр-

митаж дворцовая прислуга вывела на Миллионную, где Михаил Александрович и Н. Н. Джонсон нашли приют в квартире князя Путятина.

В то время, как Михаил Александрович рассказывал нам об этом, в столовую вошли Н. Н. Джонсон, управляющий делами великого князя А. С. Матвеев и украшенный красным бантом великий князь Николай Михайлович. Мне казалось, что все окружавшие великого князя охвачены нерешительностью. В нерешительности был и сам князь, часто морщившийся, превозмогая боли в желудке.

В мыслях всех был один вопрос: – что делать Михаилу Александровичу? Отказаться от престола и тогда вся власть перейдет к государственной думе, или взять на себя бремя власти?

– Ко мне приходили члены думы, но и у них нет единодушия, – обращаясь к нам, сказал великий князь тоном человека, чувствующего всю тяжесть ответственности.

Муж спросил великого князя, когда он должен дать ответ.

– Не позже завтрашнего дня. События идут страшным темпом. Я должен решать немедленно.

Надо сказать правду, никто, даже мой муж, ближайший человек к великому князю, не нашел в себе в этот момент мужества поддержать колеблющегося Михаила Александровича. Напротив, большинство говорило о том, что события зашли слишком далеко, что «великий князь не доедет до думы», что толпа «поднимет его на штыки».

Я была очень молода и, может быть, несдержанна. Но по-своему чувствуя всю трагичность момента, вразрез с общим настроением, я стала умолять Михаила Александровича, говоря, что он не имеет права в такой момент отказаться от трона.

– Ваше высочество, я женщина и не мне давать вам советы в такую минуту, но если пойдете сейчас же в думу, вы спасете положение!

Михаил Александрович проговорил:

– Нет, я думаю, графиня, если я так поступлю, польется кровь и я ничего не удержу. Все говорят, если я не откажусь от трона, начнется резня и тогда всё погибнет в анархии...

Я до сих пор уверена, что нерешительность Михаила Александровича выявилась только потому, что ни в ком из окружавших его он не видел железной решимости идти до конца. Одни молчанием подтверждали правильность его отрицательного решения, другие открыто это поддерживали. Думаю, что момент физического страдания играл тоже роль в принятии отрицательного решения. Боли по временам были настолько сильны, что Михаилу Александровичу было трудно говорить.

Отречение

С тяжелым чувством уезжала я в этот день от князя Путятина, решив во что бы то ни стало приехать завтра утром, а за это время попытаться убедить мужа переменить своё решение и повлиять на Михаила Александровича в обратном смысле.

Я была абсолютно уверена в том, что муж, ближайший друг Михаила Александровича, мог повлиять на него в смысле положительного решения. Но мужем, как другом великого князя, владело, прежде всего, чувство беспокойства за его жизнь. Возражая мне, он говорил, что принятие престола Михаилом Александровичем означает необходимость тут же пытаться силой усмирить революцию. Но в преданность войск веры не было.

Конечно, в этом была своя правда.

К сожалению, на другой день, 3-го марта, мы только к 5-ти часам дня могли приехать к князю Путятину. Меня поразила картина внутри особняка. Из передней я видела, что в гостиной, сидя в креслах, спали штатские люди; кажется, председатель кабинета министров князь Львов и другие общественные деятели, проведшие ночь в переговорах с Михаилом Александровичем.

Его не было. Я прошла в столовую, где возле стола стояли Н. Н. Джонсон и А. С. Матвеев.

– Всё решилось, графиня, великий князь отрекся, – сказал мне Н. Н. Джонсон, один из самых преданных ему людей, через полтора года разделивший его трагическую участь – расстрел в лесу под Пермью.

Н. Н. Джонсон рассказал, что в последние минуты перед отречением Михаил Александрович, всё ещё колебавшийся, спросил с

глазу на глаз председателя государственной думы М. В. Родзянко: может ли он надеяться на петербургский гарнизон, поддержит ли он вступающего на престол императора? Родзянко ответил отрицательно и добавил, что если великий князь не отречется от престола, то, по его мнению, начнется немедленная резня офицеров петербургского гарнизона и всех членов императорской фамилии.

После совещания с министрами временного правительства великий князь удалился в соседнюю комнату и там, оставаясь один в течение 15 минут, принял решение отречься от престола.

Принять положительное решение Михаила Александровича уговаривали только два министра временного правительства – П. Н. Милюков и А. И. Гучков, но голоса их были одиноки.

Для меня, казалось бы, уже вчера было ясно, что Михаил Александрович отречется от престола, и все-таки, когда я услыхала от Н. Н. Джонсона о совершившемся факте отречения, я была во власти страшных предчувствий.

В этот момент вошел Михаил Александрович. Бессонная ночь не прошла для него даром. Он казался восковым, только на губах играла прежняя улыбка.

– Стало быть, такая судьба, графиня, – тихо проговорил он.

– Но я уверена, что учредительное собрание призовет вас, ваше высочество, – проговорила я, чтобы подбодрить присутствующих.

– Не думаю, – ответил Михаил Александрович, и, улыбнувшись, добавил: – После отречения А. Ф. Керенский назвал меня благородным человеком и протянул мне руку не как великому князю, а как гражданину...

В этот же день Михаил Александрович, разбитый всем пережитым за эти три дня, уехал к себе в Гатчину, где его ждала жена Н. С. Брасова.

Помню наше последнее свидание с великим князем Михаилом Александровичем. Это было в Гатчине 4-го апреля 1917 года. Мы приехали туда с мужем и оставались у великого князя весь день. В это последнее свидание Михаил Александрович рассказал мне, что, оказывается, Николай II после своего отречения послал Михаилу Александровичу телеграмму, адресованную «Императору Михаилу I» и подписанную «твой верноподданный брат Николай», в кото-

рой убеждал Михаила Александровича принять корону. Но этой телеграммы Михаил Александрович так и не получил. Она не дошла до великого князя. О ней великий князь узнал от Николая II на свидании в Царском Селе, которое имело место с разрешения А. Ф. Керенского, в момент, когда отрекшийся царь находился под арестом.

Я спросила Михаила Александровича, могла ли телеграмма, если бы она была получена вовремя, изменить принятое великим князем решение?

– Могла бы, – ответил он.[23]

Говорить дальше о своем отречении от престола он не хотел.

Мы разговаривали в биллиардной комнате. На биллиарде лежало несколько фотографий Михаила Александровича. Я попросила у него одну из них. Это был большой портрет в генеральской шинели. Он написал на портрете «Михаил, 4.IV.1917. Гатчина» и передал мне. Этот портрет я храню до сих пор.

Смерть

Революционные события развивались стремительно. Уже в мае 1917 года я была вынуждена уехать из Петербурга в Крым и оттуда на Кавказ.

Вспыхнувшая гражданская война разорвала Россию на два лагеря, и на Кавказе мы с мужем оказались отрезанными от Михаила Александровича. Но мы, конечно, не думали, что отрезаны навсегда. Сведения о Михаиле Александровиче до нас доходили редко.

До нас доходили слухи, что после боёв под Гатчиной, когда красные разбили войска временного правительства, Михаил Александрович будто бы обратился с письмом к Ленину, прося оставить

---

[23] Только спустя 65 лет текст этой недошедшей телеграммы опубликован в кн. 149 «Нового Журнала». Вот этот текст: «Его Императорскому Величеству. Петроград. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня если им огорчил тебя и что не успел предупредить. Останусь навсегда верным и преданным тебе братом. Возвращаюсь в Ставку откуда через несколько дней надеюсь приехать в Царское Село. Горячо молю Бога помочь Тебе и нашей родине. Твой Ники».

его в покое, дав возможность жить в стране, как обыкновенному гражданину. Ленин будто бы оставил это письмо без ответа. И, живя в Гатчине, Михаил Александрович продолжал быть под угрозой ареста, а может быть и смерти.

От своего брата я узнала о попытке офицерской организации вывезти великого князя из Гатчины. Мой брат, артиллерийский офицер, был командирован к нему с этой миссией.

Михаил Александрович принял брата, но от побега категорически отказался, сказав, что бежать никуда не хочет, а если бы бежать все-таки пришлось, то комиссар Рошаль с глазу на глаз гарантировал в нужную минуту побег.

Было ли это искреннее желание Рошаля спасти ему жизнь, или это была ловушка – я не знаю.

Судьбе было угодно, чтобы Рошаль вскоре погиб на румынском фронте, где он, как комиссар, был расстрелян по приказу генерала Щербачева, а великий князь арестован в Гатчине и увезен в Петербург, в Смольный.

До последней минуты Н. Н. Джонсон был неразлучен с великим князем. Это была давняя дружба. Вместе с Михаилом Александровичем Н. Н. Джонсон окончил Михайловское артиллерийское училище и выйдя в офицеры всегда оставался его личным секретарем.

Когда в Гатчине арестовали Михаила Александровича, Н. Н. Джонсону заявили, что он свободен и может ехать куда угодно. Джонсон отказался от свободы, сказав, что поедет с великим князем.

– Я хочу разделить всё, что ждет Михаила Александровича и прошу меня считать арестованным.

Великого князя и Н. Н. Джонсона повезли сначала в Петербург в Смольный, где они долго оставались заключенными, а потом из Смольного повезли далеко на Урал, в Пермь, где первое время их поместили в гостиницу.

«Номера Королева»

Там, в небольшом провинциальном городе, Михаил Александрович и Н. Н. Джонсон сначала жили довольно свободно. Ежедневно от неизвестных лиц они получали передачи.

В 1920 году, когда я вместе с мужем уже покидала Россию, по пути за границу, я узнала об ужасном конце Михаила Александровича и Н. Н. Джонсона.

Мне рассказали, что отправка в Пермь произошла, будто бы, по личному приказу Ленина, и что Ленин, якобы, выслал охрану во главе с чекистом, лично перед Лениным ответственным.

Но в это время по всей России действовала «власть на местах» и в Перми осуществлял эту «власть на местах» кровожадный коммунист Мясников. Этот коммунист стал добиваться расстрела Михаила Александровича во что бы то ни стало. Мясников ночью явился к Михаилу Александровичу, объявив ему и Н. Н. Джонсону, что их сейчас увезут, потому что на город наступают белые.

Михаила Александровича и Н. Н. Джонсона под сильным конвоем повезли из Перми по направлению к близлежащему фабричному поселку Мотовилиха. Но по дороге, в лесу Мясников внезапно выстрелил, ранив Михаила Александровича. Тот уже раненый бросился на него, но силы были чересчур неравны и Михаил Александрович и Н. Н. Джонсон были расстреляны. Тела Михаила Александровича и Н. Н. Джонсона были брошены в плавильную печь на заводе в Мотовилихе.

По жестокой иронии революции теперь в Париже живут, как эмигранты, жена великого князя Михаила Александровича графиня Н. С. Брасова, в 1931 г. потерявшая разбившегося на автомобиле единственного сына Михаила Александровича Георгия; и там же в Париже живет убийца великого князя Михаила Александровича коммунист Мясников, превратившийся в «контрреволюционера».

Вспоминая трагическую судьбу Михаила Александровича, я всегда задаю себе один и тот же вопрос: почему он не воспользовался еще в Гатчине услугами людей, предлагавших ему бегство?

В Гатчине предлагали три серьезных плана бегства. Один план предлагал приближенный к нему генерал Врангель. Второй план от имени офицерской организации предлагал мой брат. В третий раз летчики предлагали бегство на аэроплане. Но все три раза Михаил Александрович отклонял бегство, говоря – «Мне не нужно и я не хочу бежать из своей страны».

«Кинжал»

На этом – отказе от побега – кончаются рассказы Людмилы Николаевны. А теперь о Григории Мясникове, которого я единственный раз встретил в Париже.

Телефона у нас в Париже не было. Тогда во Франции телефон был некой роскошью (не то что в Америке у каждого свой телефон!). Поэтому я заходил к Б. И. Николаевскому без предупреждений. Жили мы неподалеку. И вот захожу как-то к Б. И., стучу в дверь его комнаты и вхожу. Б. И. – за столом, а в кресле какой-то смуглый, муругий, плотный человек с бледно-одутловатым лицом, черными неопрятными волосами, черные усы, лицо будто замкнуто на семь замков. При моем появлении муругий сразу же поднялся – невысокий, крепко сложенный. «Ну, я пойду, Борис Иваныч», – и протянул ему руку. Николаевский пошел проводить его до выходной двери.

Возвращается Б. И., спрашивает с улыбкой: – «Видали?» – «Видел, кто это?». Б. И. *со значением*: – «А это Григорий Мясников...» Я пораженно: – «Как? Лидер рабочей оппозиции? Убийца вел. кн. Михаила Александровича?!» Б. И. подтверждающе кивает головой: «Он самый. Работает на заводе. Живет ультра-конспиративно по фальшивому паспорту, французы прикрыли его. И все-таки боится чекистской мести. Совершенно ни с кем не встречается. Только ко мне приходит. – Рассказывает много интересного». – Я подумал, вероятно, рассказы Мясникова Б. И. для истории записывает. «Знаете, – продолжал Б. И., – он как-то рассказал мне *что* толкнуло его на убийство великого князя. Это целая беллетристика и довольно сложная, это уж больше по вашей части...»

И Б. И. передал мне рассказ Мясникова, что когда он был еще молодым рабочим и впервые был арестован за революционную деятельность и заключен в тюрьму, то, беря из тю-

ремной библиотеки книги, читал Пушкина, как говорит, «запоем» (оказывается, Пушкин – «любимый поэт» Мясникова!). И вот Мясников наткнулся на стихотворение «Кинжал». «И он, – говорит Б. И., – рассказывал, что «Кинжал» произвел на него такое потрясающее впечатление, что в тюрьме он *внутренно поклялся* стать именно вот таким революционным «кинжалом». Вот где психологические корни его убийства великого князя. И говорил он об этом очень искренне...»

Конечно, Александр Сергеевич Пушкин не мог бы, вероятно, никак себе представить такого потрясающего читательского «отзвука» на его «Кинжал». Но зная «Кинжал» и обстоятельства убийства вел. кн. Михаила Александровича надо сказать, что большевик Мясников был вовсе не человеком того «кинжального» типа, о которых писал Пушкин. Приведу стихотворение и посмотрим, есть ли в нем хоть какая-нибудь связь с той «манией», которая «вспыхнула» в большевике Мясникове.

КИНЖАЛ

Лемносский Бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона,
Свершитель ты проклятий и надежд,
Ты кроешься под сенью трона,
Под блеском праздничных одежд.

Как адский луч, как молния Богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет
Среди своих пиров.

Везде его найдет удар нежданный твой:
На суше, на морях, во храме, под шатрами,
За потаенными замками,
На ложе сна, в семье родной.

Шумит под Кесарем заветный Рубикон,
Державный Рим упал, главой поник закон;
Но Брут восстал вольнолюбивый:
Ты Кесаря сразил – и мертв объемлет он
Помпея мрамор горделивый.

Исчадье мятежей подъемлет злобный крик:
Презренный, мрачный и кровавый,
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый поник.

Апостол гибели, усталому Аиду
Перстом он жертвы назначал,
Но вышний суд ему послал
Тебя и деву Эвмениду.

О, юный праведник, избранник роковой
О, Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.

В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе –
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

Марк Юний Брут был заговорщиком против Цезаря и участвовал в его убийстве довольно подло. «Tu quoque, fili mi!», «Et toi aussi, mon fils!» «И ты – о, Брут!» – приписываются слова Цезарю, увидевшему среди «кинжальщиков» своего любимого Брута. Зато кончил Брут мужественно – самоубий-

ством. Но оставим древности. Перейдем в новую историю. Известно, что под «апостолом гибели» Пушкин разумел кровавую гадину, якобинца Марата, а под девой Эвменидой – Шарлотту Кордэ. Занд – немецкий студент, убивший консервативного писателя Коцебу. Но все эти «кинжалы» отнюдь не похожи на убийство Мясниковым великого князя Михаила Александровича. Идя убивать Шарлотта Кордэ *знала, что убивает и себя,* она *жертвовала* собой. И умерла на эшафоте. Студент Занд, идя на убийство Коцебу, предвидел и свою участь. И был казнен на плахе. Эти «кинжалы» были скорее людьми типа Ивана Каляева, не только знавшего, что, убивая вел. кн. Сергея Александровича, он и сам идет на смерть, но и отказавшегося от подачи прошения о помиловании, о чем настойчиво просили его в тюрьме и прокурор Федоров и вдова убитого Сергея Александровича, вел. кн. Елизавета Федоровна. Каляев отказался от «помилования», ибо добровольно *шел на смерть.* И был повешен во дворе Петропавловской крепости. Он был действительно пушкинским «кинжалом», так же, как и Шарлотта Кордэ. Ну, а Мясников?

Великий князь Михаил Александрович был беззащитным пленником его (Мясникова!) большевицкой партии. Никаких правительственных постов он никогда не занимал. От престола отрекся. Планы побегов отклонил. Так что весь его «грех» перед рабочим-большевиком Мясниковым состоял только в том, что он был одним из династии Романовых. И только. «Грех» не велик. К тому же, убивая безоружного, беззащитного пленного великого князя Мясников *свою жизнь* не только не отдавал (как Кордэ и Каляев), но и решительно ею никак не рисковал. Он попросту был уголовным бандитом, убийцей-большевиком беззащитного человека, как Юровский и Голощекин были уголовными убийцами-большевиками царя и его семьи.

Но рассказ Бориса Ивановича об этой Мясниковской «кинжальной» мании меня беллетристически распалил. Мне

захотелось с Мясниковым встретиться – «Борис Иванович, нельзя ли это устроить?» – спросил я. Николаевский отрицательно покачал головой: – «Ausgeschlossen, – сказал, – Мясников боится всех русских встреч. В Париже встречается единственно со мной потому, что знал меня еще по России...»

Но чем же кончил этот «сверхконспиратор» Мясников? В большевицкой России он был герой-убийца вел. кн. Михаила Александровича, потом «лидер рабочей оппозиции», попробовал после Октября перечить даже непререкаемому большевицкому «идолу» Ленину, за что и получил ссылку на Кавказ, а оттуда бежал заграницу, ибо хорошо понимал партийные «военные хитрости»: сначала – на Кавказ, а потом – на Тот Свет! Так он и пробрался в Париж. Но кончил – глупее глупого.

После победы союзников, когда русскую эмиграцию (от князей до Григория Мясникова!) охватил угар «советского патриотизма», этот старый партиец-подпольщик тоже поверил кагебешной сталинской пропаганде. Из своего стопроцентного «конспирата» вышел, поехал прямо в советское посольство «на разговоры». Вероятно, «разговаривал» с первым секретарем (резидентом КГБ) А. А. Гузовским, с тем, который угощал И. А. Бунина (вместе с послом Богомоловым) «русской рябиновкой» и «русской икрой», заливая Ивану Великому тары-бары о «полном собрании сочинений Ивана Алексеевича в Москве, в Госиздате». А. А. Гузовский посылал и Н. А. Тэффи букеты роскошных цветов, напоминая ей, как когда-то она сотрудничала в Петербурге в легальной «Новой Жизни» у Ленина. Что и как «заливал» А. А. Гузовский Григорию Мясникову – тайна. Но «залил» так, что убийца вел. кн., старый конспиратор-подпольщик-большевик Григорий Мясников вернулся в Москву, где его, конечно, и «шлёпнули» на Лубянке. Жизнь отплатила не правой рукой, так левой!

У Н. П. Саблина

На одном из последних «чаев» Людмила Николаевна сказала, что виделась с Н. П. Саблиным (бывшим флигель-адъютантом государя) и он просил узнать у меня: не соглашусь ли я записать и его рассказы, ибо сам он человек не пишущий, к тому же больной. Я с удовольствием согласился, ибо знал о близости Саблина к быв. государыне и государю и рассказы его должны были быть исторически интересны. Людмила Николаевна дала мне его телефон. Я созвонился с Николаем Павловичем и мы встретились.

Жил Саблин, бывший флигель-адъютант императора, капитан 2-го ранга гвардейского экипажа[24] на рю Эрланжэ в небольшой, но хорошей квартире. Жена его (красивая, эффектная), кажется, бывшая арфистка. Приняли меня любезно. Но сразу я увидел, что Н. П. – больной человек (сердце). Мы сговорились, когда я приеду к нему на «сеансы» (как он назвал мои записывания его рассказов). Был Н. П. совсем седой, но по-прежнему очень красивый, по-военному (несмотря на возраст) выправленный. К сожалению таких «сеансов» было всего пять-шесть. Болезнь Н. П. их прервала. Вот что рассказал мне Николай Павлович.

С царской семьей на «Штандарте»

«Я был представлен императрице и императору в 1906 году в апреле месяце в Царском селе. Я был тогда 26-летним лейтенантом гвардейского экипажа. Помню, как сейчас, в Царском селе парад морскому батальону, только что вернувшемуся с подавления революционных беспорядков в Прибалтике. После парада в присутствии государя в Александровском дворце состоялся высочайший завтрак.

---

[24] Кстати, это слово гвардейцы произносили при склонении с ударением на последнем слоге: экипажá, экипажý и т. д.

В громадном круглом зале дворца были сервированы два стола; за одним, круглым, сидели государь Николай II, императрица, княжны, великая княгиня Мария Павловна младшая и двенадцатилетний Дмитрий Павлович. С царской семьей сидели несколько приближенных офицеров. Мы же, остальные офицеры гвардейского экипажа, заняли места за другим столом.

Я уже знал о моем будущем назначении на царскую яхту «Штандарт», но все же был взволнован, когда дежурный, старший капитан I ранга Чагин, командир «Штандарта», подошел ко мне, сказав, что хочет меня представить императрице, как будущего офицера яхты. И Чагин подвел меня, представляя, к императрице, стоявшей возле сервированного стола. Императрица подала мне руку, сказав:

– Я очень рада.

И я занял место за царским столом, неподалеку от императрицы. Меня поразила ее спокойная, величавая красота. Императрица держала себя очень просто, разговаривала, смеялась, она хорошо говорила по-русски, хоть и с заметным немецким акцентом. Неподалеку от императрицы и прямо против меня сидела ее фрейлина Анна Вырубова, с которой тогда уже была очень близка императрица. Но насколько очаровательное впечатление произвела на меня, молодого лейтенанта, императрица, настолько же мне не понравилась ближайшая к ней фрейлина. Я уже знал от лиц близких ко двору, что этой слабовольной, доброй женщиной многие пользовались для влияния на императрицу и это влияние причиняло тогда уже немало зла.

После окончания завтрака, во время которого я удостоился разговора с императрицей, я получил официальное назначение на яхту «Штандарт» и с тех пор в продолжение десяти лет стал одним из близких людей к царской семье. Вплоть до трагической катастрофы и революции я был одним из ближайших к императору и императрице людей. В продолжение лета и зимы 1906 года мы, несколько офицеров с яхты гвардейского экипажа: я, Тимирев, Салтанов, Вадбольский часто ездили в Петергоф к фрейлине Вырубовой, где жила она в дворцовом особняке; там обычно играли в домино, любимую игру государыни; иногда ездили к балалаечникам, музы-

ку которых государыня также любила. Это времяпрепровождение вблизи государыни и близких ей лиц всегда было чрезвычайно приятно своей непринужденностью, простотой, весельем.

А в следующем 1907 году мы отправились на яхте с царской семьей в плаванье. В этом плаванье произошло в свое время обошедшее все газеты событие, когда царская яхта наскочила на камень около Аосских шхер. Помню, как сейчас, великолепный июньский день; в четыре часа я сдавал вахту старшему лейтенанту Терпигореву и лег отдохнуть в каюте, которая выходила на правый борт яхты, и заснул мертвым сном. Государыня с семьей в это время, окончив дневные игры с детьми, мыла руки, чтобы идти пить чай. Как вдруг в этот момент словно что-то подняло яхту и раздался страшный удар. Полетели со звоном битая посуда, стекла, в коридоре, в буфете творился форменный хаос, когда я выскочил из своей каюты, бросившись на носовую часть, узнать, в чем дело, где уже была вся команда.

Мы шли в этот момент в шхерах в конце Финского залива к северу. После страшного удара на носовой части на мгновение воцарилась полная тишина. Общий взгляд был устремлен наверх, где находилось все начальство. Оттуда раздался крик капитана I ранга Чагина, командира яхты:

– Гичка! К спуску! Для его императорского величества!

Колокола громко в бой! На яхте тревога! По всей яхте водяные звонки тревоги. Все бросились по местам. Я как офицер заведующий всем кормовым отделением, по уставу должен был проверить, все ли закрыто от днища до верха, и поэтому волей-неволей встретил государя в его каюте. Государь был спокоен, но быстро собирал бумаги в портфель. (Это было трехнедельное плаванье).

– Что случилось? Каково положение наверху? – проговорил, обращаясь ко мне, государь. – Каким местом мы сидим на корме? – В каюте были государыня и дети.

Но ничего точного сообщить государю я не мог. Картина же в этот момент была такова: «Штандарт» накренился градусов на 19, кругом яхты масса кораблей, 15–20, все двигались прямо к яхте, не понимая, что случилось, в сознании необходимости подать помощь. Все начало выясняться спустя первые тревожные мгновенья.

Оказалось, что яхта – саженях в двадцати от каменного острова, но на фарватере появилось какое-то неизвестное препятствие. Палуба начала проваливаться, стуки раздавались в днище яхты, нос и корма вылезли, став свободными. Командир вошел к государю, прося его тут же съехать с яхты. В первый момент катастрофы мы все бросились искать матроса Деревенько, дядьку цесаревича.

Кругом яхты масса судов, шлюпок, все столпилось на случай оказать помощь яхте. Ревельское спасательное общество выслало свой пароход. Были вызваны немедленно все яхты, но ни одна из них не успела прийти. И государь с семьей перешел на рабочий крейсер «Азию», где и заночевал в 7 вечера.

Тем временем мы, офицеры, вместе с механиками, во главе с командиром осматривали яхту, доискиваясь причины катастрофы. При осмотре яхты мы нашли громадную вогнутость в днище, настолько большую, что если б эта вогнутость превратилась в пробоину, катастрофа могла бы принять куда более страшные формы.

К 12 часам ночи яхта была уже пуста. Весь экипаж был снят прибывшими ревельскими пароходами спасательного общества, а вместе с экипажем сняты были и уланские трубачи, всегда увеселявшие музыкой государя и его семью в этих увеселительных прогулках на яхте.

Наступил день отплытия царской яхты. Этому предшествовал – и сопровождался большой пышностью – церемониал. Собрались все суда, назначенные к плаванью, с утра в полном составе и в полном порядке, как в смысле погрузки углем, так и в смысле порядка всей команды. Почти всегда плавание государя начиналось в 4 часа. И к этому времени «Штандарт», представлявший из себя красивейшую игрушку, – каждый момент слушал и ждал сигнала кондуктора, который стоял на мостике, наблюдая и ожидая выхода из Петергофа «Александра» под флагом императора.

Как только кондуктор кричал: «Государь император выходит из порта на «Александре»! – с этого момента и начиналось плаванье. Охрана судна становится на свои места. Все по своей службе. Паровые катера, два чудесных корабля – «Петергоф» и «Бунчук», под командой флаг-капитана идут медленно навстречу «Александру». А «Штандарт» уже готов к принятию государя, его семьи и ближай-

шей свиты. На «Штандарте», уходящем в плаванье с государем, обычно было такое количество народу: 10 человек ближайшей к государю свиты со своей прислугой; около 50 человек лакеев I, II и III классов (лакеи I класса служили государю, II класса – ближайшей свите, III класса – прочим сопровождавшим); 25 поваров и кухонной прислуги; хор музыкантов и певчих около 100 человек; и экипаж «Штандарта» – офицеры и матросы.

Паровые катера встречают «Александр», на борту которого находится государь. Государь с семьей переходит с «Александра» на «Бунчук»; оба катера, «Бунчук» и «Петергоф», судна замечательной красоты, и такова же подобранная на них команда: на одном подобраны все брюнеты, молодец к молодцу, на другом такие же молодцы блондины. Катера оборудованы по последнему слову морской техники.

На яхте оркестр играет встречу – в момент, когда с катера «Бунчук» государь переходит на свою царскую яхту. Государь обходит фронт офицеров и матросов. Государыня принимает поднесенные ей цветы. Наконец раздается команда: – По местам стоять! – и яхта снимается с якоря под звуки оркестра, уходя в море, под флагом государя, и тогда все крепости Кронштадта салютуют. Но это зависело всегда от желания государя – идти ли под вымпелом или под флагом. Иногда государь приказывал выбросить флаг, а в море – брейт-вымпел.

Жизнь на яхте всегда шла по своему точному регламенту. В начале июля 1909 года яхта уходила в плаванье на 24 дня. Первый курс был к шведским берегам, где государь должен был отдать визит шведскому королю, который был с визитом в прошлом году. Чудные берега, шхеры идут до самого Стокгольма; днем – видны укрепления; подходя к Стокгольму, государь вышел на борт – смотреть на лагерные укрепления и занятия шведских войск. В этот момент мы ясно различили отплывающий от берега катер, шедший по морю. Оказывается, на катере плыли высшие морские шведские офицеры, везшие ящик орденов для всех офицеров яхты «Штандарт», чтобы, прибыв в Швецию, мы все уже вместе с русскими орденами имели на груди шведские.

Ясный день. Солнце. Легкий бриз. Яхта подходит, скользит к Стокгольму. Чудный порт, все в нем сделано на широкую ногу, кра-

сиво. Полковник королевской гвардии встречает государя, у пристани уже стоит карета для эскорта государя во дворец, куда государь и уезжает с государыней с пристани под звуки музыки и крики далекой толпы.

Вечером в королевском дворце – обед. А на другой день – ответный завтрак на яхте. Дабы принять шведского короля и королеву, на рейд выезжаем мы, офицеры, на громадной гондоле в сорок гребцов. Гондола, сделанная из старинного дерева, очень красива. Итак, обменявшись визитом со шведским королем, побывав кроме того у великой княгини Марии Павловны младшей, вышедшей замуж за ненаследного принца Альбрехта, государь отдал приказ яхте плыть дальше, взяв курс на Киль, на свидание с германским императором Вильгельмом II.

В Киле было известно о приходе царской яхты; в городе царило оживленье, все готовилось к пышному приему. Но согласно приказанию государя, яхта, против всеобщего ожидания, прошла прямо к входному шлюзу. И только здесь, в шлюзе, встретил яхту громадный почетный караул в полковых старинных формах, в белых брюках, с громом оркестров музыки. И в тот момент, когда яхта дала ход из шлюза по каналу, справа и слева по берегу появились кавалерийские эскорты первых кавалерийских гвардейских полков Вильгельма II и полк Августа (бессмертные гусары). На каждых 11 человек конников приходился один офицер, все в полной парадной форме, необычайно красивой. На замечательных тонкокровных конях они скакали, сопровождая быстро идущую царскую яхту, скакали в карьер, и через каждые пять верст стоял новый взвод кавалеристов, сменявших доскакавших. Это было чрезвычайно эффектное зрелище, на которое государь и государыня, окруженные свитой, глядели с борта быстро идущей яхты.

Чтоб не отстать от яхты, кавалеристам приходилось делать объезды, они неслись карьером и ни на минуту не отставали. В трех главных местах были выставлены большие отряды пехоты с гремевшими оркестрами.

А на переходе из Киля в Вильгельмсхафен к яхте подплыл катер, везший на борту императора Вильгельма II. В это время я уже был близок к царской семье, как к императору, так, в особенности,

и к императрице, и я знаю, что этого свиданья государь не хотел, им он тяготился, поэтому яхта и не заходила в Киль, но тут уже свиданье с германским императором состоялось, хотя было очень кратко и официально.

К вечеру из Вильгельмсхафена мы вышли в неуютное туманное Немецкое море. Тут началась качка. Налетел ветер, все наполнилось густым туманом. И только благодаря разным усовершенствованиям на немецких миноносцах, которые сигнализировали и в тумане, яхта могла спокойно выйти в бурное море. Началась морская качка, плохо действовавшая на великих княжен.

Зато к Шербургу мы подходили в ясную погоду, в полдень, по залитому солнцем морю. У Шербурга на рейде нас уже ждал весь французский флот. Под гром салютов со всех судов яхта стала в Шербурге на якорь. Из-за тумана навстречу нам были высланы курсировавшие крейсера. И в час дня на дредноуте «Репюблик» в высочайшем присутствии и в присутствии президента Франции – Фальера – состоялся завтрак. После завтрака у государя была беседа с президентом Фальером с глазу на глаз. А вечером на рейде началось необычайное празднество, электрическая иллюминация, морской маскарад, венецианский оркестр.

На другой день произошел неприятный случай, который, к счастью, окончился благополучно. Надо было грузить уголь для похода в обратный путь. И надо было выбрать такое время, когда государя не было бы на яхте. Выбрали обеденное время, государь как раз отбыл на обед на дредноут «Прованс». Но когда в спешке подтягивали баржу с углем, между яхтой и баржой лопнул трап и три человека сорвались в воду. К счастью, их спасли. И все обошлось.

Через несколько дней царская яхта, провожаемая французскими судами, отбыла в Англию, в Портсмут. Посреди пролива нас встретил английский эскорт – три крейсера – и повел нас к Портсмуту. На громадном портсмутском рейде императорскую яхту встретил весь английский флот, построенный в каре. На нем было более тридцати английских адмиралов. Здесь же яхту государя встретил король Георг V на своей яхте «Виктория и Альберт» и, пропустив «Штандарт» вперед, пошел сзади нас. Между англий-

скими кораблями стояли катера с названием эскадры, к которой мы подходили. Обход всего флота продолжался более полутора часов, после чего мы взяли направление к одному острову, где были собраны все частные яхты для международных гонок. Тут была и яхта английского короля, и яхта императора Вильгельма. Это была красивейшая картина, так как яхты были богатейшие и все только парусные. Международные гонки яхт продолжались три дня, на них выявились лучшие силы мира этого спорта.

В свободное время государь принимал на «Штандарте» офицеров английского полка, шефом которого он состоял. Играл английский военный оркестр. Принимал государь и разных высших английских должностных лиц, в числе которых был лорд-мэр в своем старинном одеянии.

В один из вечеров я был позван к государю, который предупредил меня, что на катере он совершит поездку на одну яхту и что эта поездка не подлежит никакой огласке. Яхта, которую посетили государь и государыня, принадлежала бывшей французской императрице Евгении (жене Наполеона III, она скончалась в 1920 году). На яхте государя и государыню встретила очень пожилая женщина, они провели в разговоре около 20 минут, простились и отбыли на «Штандарт».

Из всех офицеров только я и командир не были на берегу. Я командовал катером государя и получил тогда от государыни подарок в память этой стоянки в Англии.

Обратный путь был тот же. Немецкое море. Вильгельмсхафен. Киль. Мимо Киля мы проходили днем. И вдруг на одном из поворотов совершенно неожиданно увидели катер. Я был на вахте и вижу: катер императора Вильгельма. Он был в русской адмиральской форме (летней, белой), с большим букетом цветов. Это никого не обрадовало. Великие княжны Вильгельма не любили и были недовольны, потому что, как они говорили, – Вильгельм всегда паясничает, любит «валять дурака». Появление его было столь неожиданно, что принят он был на яхту через передний (грузовой) трап. Оставался он на яхте около двух часов и, как я узнал от государыни, – уговаривал их остановиться в Киле, чтоб видеть весь германский флот и участвовать в морских праздниках, которые

должны были состояться на другой день. Но государь под каким-то предлогом отказался. И яхте было приказано в Киле взять запас воды и идти в шхеры в Финляндию, что и было сделано. Все плавание продолжалось 24 дня. Было это в 1910 году.

Григорий Распутин

Впервые я услышал имя Распутина в 1907 году в Финляндии. И услышал от государыни. Заговорила она о Распутине наедине со мной, сказав, что хотела бы узнать о нем мое мнение. Она попросила меня с ним встретиться. До этого я слышал, что какой-то простой человек бывает в царской семье. Но не придавал этому никакого значения. Я, разумеется, согласился с желаньем государыни, совершенно не представляя себе кого я встречу. Государыня предупредила меня, чтоб я не искал в этом человеке «чего-то особенного». – «Это очень набожный, прозорливый, настоящий русский мужичок, – сказала она, – он знает наизусть церковные службы. Конечно, это человек не вашего круга, но с ним вам будет интересно встретиться». И государыня дала мне его адрес.

Дня через два я поехал на какую-то улицу (не помню сейчас точно), где-то около Знаменской. В простом доме, как мне кажется, Лахтиных, я разыскал Распутина. По тому, как он меня встретил, я понял, что о моем приезде он уже знал. Встретил он меня очень доброжелательно. И сразу заговорил со мной о религии, о Боге. Я отвечал довольно сдержанно. Распутин начал восторженно говорить о царской семье. Потом он перешел к обычным темам. В частности, спросил, пью ли я? Одет Распутин был в длинную русскую рубаху, штаны заправлены в высокие сапоги, поверх рубахи – какой-то полукафтан, полузипун. Производила неприятное впечатление неопрятная, неровно остриженная борода. Был он шатен, с большими светлыми, очень глубоко сидящими в орбитах, глазами. Глаза были чем-то не совсем обыкновенные. В них «что-то» было. Распутин был худой, небольшого роста, узкий, можно даже сказать, тщедушный. Когда я уходил, он попросил у меня пять рублей. «Дай, голубчик, мне пятерку, а то совсем я издержался». Я этому удивился, но дал. Произвел он на меня впечатление скорее неприятное.

Так как это было желанием государыни, я встречался с Распутиным не раз на его квартире. Государыня хотела, чтобы я ближе его узнал и чтоб получил от него благословение. После нескольких встреч с Распутиным я все-таки сказал государыне о своем не очень благоприятном впечатлении о Распутине. Она ответила: «Вы его не можете понять, потому что вы далеки от таких людей, но если даже ваше впечатление было бы верно, то это желание Бога, что он такой».

Во время этих моих встреч с Распутиным я вел разговоры о нем и с А. Вырубовой, стараясь узнать, что он за человек? От Вырубовой я узнал, что Распутина близко знала вел. кн. Милица Николаевна (жена вел. кн. Петра Николаевича) и Анастасия Николаевна (жена вел. кн. Николая Николаевича), что его хорошо знает и сам вел. кн. Николай Николаевич, Распутин бывает у него во дворце. На мой вопрос, почему сейчас Распутин ближе к Вырубовой, чем к вел. кн. Николаю Николаевичу и его окруженью, Вырубова ответила, что это желание императрицы: ей легче и удобней сноситься с Распутиным через Вырубову, чем через Николая Николаевича или через Сандро Лейхтенбергского. Государыня, будто бы, хотела держать свои встречи с Распутиным втайне, она, будто бы, почувствовала, что окруженье вел. кн. Николая Николаевича через Распутина хочет влиять на нее.

Должен сказать, что, узнавая ближе Распутина, я позволял себе говорить ему резкую правду в глаза. Так я говорил, что ему не следует ездить из Царского в Петербург в 1-м классе; сказал, что он держит себя в отношении царской семьи неподобающе развязно; сказал, что мне известно, что на одной станции он крайне грубо ругал начальника станции, а этого он делать не должен. Говорил ему, что он не должен «требовать» приглашений во дворец, не должен лезть нахрапом. На это Распутин ответил: «Вот когда надо молиться о наследнике – зовут, а когда не надо – то нет!».

Я видел, что Распутин старается «втереться» во дворец, в царскую семью. Поэтому, когда в 1912 г. царская семья была в Ялте, я, чтоб не допустить распространения всяческих слухов (которые уже начали ходить по стране), сделал все, чтобы Распутин не приезжал на яхту, на которой я был старшим офицером. Я попросил священника, бывшего на яхте, пойти и поговорить об этом с Распути-

ным. Он был, говорил. И вынес то же отрицательное впечатление. В частности, священник тоже обратил внимание на глаза Распутина, сказав: «У него в глазах что-то есть». Так я все-таки устранил приезд Распутина на яхту.

Помню, в конце войны, в 1916 году летом, как-то в одну из поездок с государем из Царского в Петергоф купаться в Финском заливе (государь любил плавать и хорошо плавал), я решил сказать государю кое-какую неприятную правду о Распутине. Дело в том, что как раз накануне я видел Распутина у него на Гороховой № 2 – в совершенно пьяном, безобразном виде. Это – в первый раз я увидел его в таком непотребном состоянии. Я решил доложить об этом государю. После купанья, не без труда, но я все-таки доложил.

Государь принял мой рассказ совершенно спокойно, сказав: «При смене дежурства доложите об этом императрице». Я видел, что все, что касается Распутина государь всецело оставляет на решение государыни. Надо сказать, что в противоположность государю у государыни был очень сильный характер, сильная воля.

На другой день в 9 час. утра императрица приняла меня, и в присутствии государя я рассказал все, чему был свидетелем на Гороховой 2. Я видел, какое тяжелое впечатление произвел мой рассказ на государыню. Она сдерживала слезы, но не выдержала и заплакала. Овладев собой, она сказала: «Это Господь Бог шлет испытания нам, проверить – признаем ли мы его даже и таким...»

Мое отношение к Распутину ухудшалось: я видел, что он приносит много зла и династии и стране. Государыня мое отрицательное отношение к Распутину чувствовала, видела. «Вы его не поняли», – как-то сказала мне государыня. И с некоторых пор из наших разговоров тема о Распутине была исключена. Поэтому я не знал ни дня похорон Распутина и ничего, связанного с убитым Распутиным. Со мной на эту тему ни государь, ни государыня не говорили...

На этом прерываются мои записи рассказов Н. П. Саблина, ибо сердечная болезнь Н. П. осложнилась и я больше навещать его не мог. Вскоре, как мне говорили, Н. П. скончался. Но я хочу привести одну фразу из рассказов

Н. П. Саблина, которую он мне повторял несколько раз, хотя хронологически мы в своих беседах до этого времени и не дошли. Эта фраза относится ко времени революции, ко времени перевода государя и его семьи из Царского в Тобольск. Н. П. Саблин несколько раз говорил мне, что «государь через Нилова передал ему, что он правильно поступил, не поехав с ними в Тобольск». Думаю, эту фразу Саблин повторял мне несколько раз потому, что в кругах монархистов некоторые упрекали его («ваше место было: быть с царской семьей до конца») в том, что он, очень близкий царской семье человек, не поступил так, как поступил граф Илья Татищев, который остался верен царской семье до конца, поехал с ней в Тобольск и вместе с ней был зверски умерщвлен большевиками.

Рассказы А. Д. Нагловского

Н. П. Саблин и А. Д. Нагловский были людьми одного петербургского «высшего круга». Саблин был флигель-адъютант царя. Отец Нагловского был придворный, генерал. В детстве А. Д. играл с детьми великих князей. Потом – «пушкинский» Александровский лицей. Но жизнь они прошли разную. Н. П. Саблин – «опора режима», «слуга царю». А. Д. Нагловский – «разрушитель режима», большевик, нарком в Петрокоммуне Гришки Зиновьева. Но под конец жизни судьба «уравняла» их, сделав обоих – русскими эмигрантами в Париже, похороненными на русском эмигрантском кладбище.

А. Д. Нагловский рассказал мне, что еще в лицее, лет 16–17-ти, он «увлекся марксизмом». А студентом Института Путей Сообщения вступил в с. д. партию (большевиков). К революции 1917 года Нагловский был уже «старым большевиком», хорошо знавшим всю «партийную головку».

В Париже А. Д. Нагловский жил в Иси-лэ-Мулино, в том же доме, что и Б. И. Николаевский. Дом этот был «оккупиро-

ван» меньшевиками: С. Шварц и В. Александрова, Л. Пистрак и мн. др. Нагловский жил у Фарбер. Был он уж в годах, очень худой, щуплый, слабого здоровья. При первом же знакомстве он показался мне человеком – в смысле жизненной энергии – конченным. Думаю, полная разочарованность «в деле жизни» (революция), риск побега из Рима в Париж, объявление его большевиками «вне закона», всё вместе как-то надломило энергию. Он нигде не работал, ничего не делал. За него работала молодая, боевая, красивая жена – Женя Фарбер.

Борис Иванович постоянно твердил, что Нагловский для истории большевицкой революции – клад. И дал мне идею записать его рассказы. Но уговаривать меня было и не надо: А. Д. Нагловский, как «необычайная биография», меня самого интересовал. И как-то я предложил ему: – записывать его рассказы. А. Д. согласился с удовольствием, но только при условии: – публиковать под псевдонимом. И вот Александр Дмитриевич стал приходить к нам и рассказывать: о Красине, Воровском, Зиновьеве, Троцком, Ленине, о том, как назначенный советским торгпредом в Италию он порвал с большевиками, попав из Рима в Париж и ставши «невозвращенцем». За что получил титул – «изменника родины и врага народа» и был объявлен – «вне закона». Из записей его рассказов я дам здесь только три: о Ленине, о Троцком и о Зиновьеве.

Ленин

Я тогда работал в партийной организации в Казани. Это было время нарастающего революционного взрыва по всей России, уже чувствовались его предвестия и в нашей провинциальной организации велась энергичная революционная работа.

Перед приближающейся революцией у нас жестоко дебатировался вопрос о вооруженном восстании. Он являлся центральным на всех заседаниях и конференциях. Но в провинциальных организациях по этому вопросу чувствовалось колебание, шатание,

нерешительность. Партийная провинция решить этот вопрос самостоятельно не могла. Многие противились вооруженному восстанию. Одним словом: – большевицкой

провинции требовались ясные «директивы» вождей.

Вот тогда-то казанская организация большевиков и послала меня в Женеву к В. И. Ленину, уже в то время пользовавшемуся громадным авторитетом в партии.

В середине июня я выехал из Казани. Ехал я к Ленину не только для того, чтоб привезти от него директивы. Кое-что вез и для Ленина. Казанская организация к моему отъезду собрала около 20.000 рублей для ЦК партии, каковой взнос я и должен был вручить Ленину.

Мне было ровно 20 лет и я был «убежденным большевиком», прошедшим уже несколько тюрем, знававшим и нелегальную жизнь и надзор полиции, вообще окунувшимся целиком в бытие подпольщика и партийного агитатора.

Как сейчас помню, лето стояло великолепное. Я ехал легально. Переезд мой через границу Германии прошел вполне благополучно. В Германии я не задерживался и в последних числах июня уже был за швейцарской границей; поезд мчал меня к Женеве.

В первый же день моего приезда в Женеву я отправился по данному мне в Казани адресу. Но явка была не прямо к Ленину, а к другому члену партии, грузину, настоящую фамилию которого я так и не узнал.

О моем приезде ЦК был уведомлен. Грузин тут же дал мне адрес Ленина, сказав, что лучше всего зайти к нему между 5–6 часами вечера. И в этот час я уже шел по скромной женевской улице в районе рю де Каруж, разыскивая дом, где жил Ленин.

Свидание с Лениным меня, разумеется, волновало. До этого мне приходилось видеть многих партийных лидеров и должен сказать, что у большинства из них всегда было и чванство и «взгляд свысока» и все прочие атрибуты лидерства. Тем приятнее поразила меня встреча с Лениным всем совершенно обратным. Эта встреча произвела на меня сильное впечатление.

Обстановка, в которой жил Ленин, была больше, чем скромная. Бедная. Он жил с Крупской в одной комнате. На стук в дверь я услыхал картавящий на «р» крик. И вошел.

Внешность Ленина помню отчетливо. Небольшого роста человечек с монгольским лицом, очень живой, очень приветливый, одетый в потрепанный пиджачный костюм. Характерны были живые, быстрые глаза, пронзительно глядевшие из-под большого крутого лба.

Несмотря на разницу лет и положения в партии, естественно-приветливое, живое товарищеское обращение без тени какого бы то ни было чванства меня сразу подкупило. От «бонзы» в Ленине не было тогда ничего. Это был старший товарищ, к тому же горящий «огнем дела».

Сразу же Ленин попросил Крупскую «приготовить чайку» и за пустым, без всяких «аблимантов» чаем Ленин жадно принялся меня расспрашивать о партийных делах в Казани, о настроениях в России, о возможности большевицкой деятельности в столицах и прочем. Видно было, что Ленин всем этим горит.

С первых же слов в нем чувствовался сразу большой ум, тонко схватывающий каждую мелочь, хитрая практическая сметка и, конечно, абсолютная преданность делу партии. К тому ж, в противоположность другим вождям, в Ленине тогда было что-то еще очень живое, молодое. Ему тогда минуло 35 лет.

Единственно, что производило неприятное впечатление, это общий тон Ленина, когда он начинал говорить о противниках. Это был тон беспардонного издевательства, пересыпанный грубой руганью.

Давно забыв о стоявшем перед ним чае, Ленин уже быстро ходил, засунув большие пальцы рук на груди в карманы жилета. Это была обычная привычка Ленина – говорить, ходя из угла в угол. Хотя собственно он даже не говорил, обращаясь ко мне, а словно читал лекцию о «текущем моменте».

Отмечу здесь мимоходом одну черту, сразу бившую в облике Ленина. Теперь о Ленине коммунисты обычно пишут как о каком-то «спокойнейшем мудреце», вещавшем истины. Напротив, уж тогда Ленин был крайне нервен, непоседлив, взвинчен. Это был, конечно, явный *неврастеник*, а вовсе не мудрец «божественного спокойствия».

Когда я взял быка за рога, начав говорить о том, что больше всего волновало партийные низы в России – о вооруженном восста-

нии – быть ему или не быть, итти на него или не итти, Ленин, на минуту было присевший к столу, вдруг быстро вскочил и резко, очень сильно картавя, совершенно не выговаривая «р», заговорил:

– Что нужно делать? Нам нужно одно – *вооруженное восстание*! – повторял он тоном непререкаемой необходимости, повелительно и бесспорно. Когда же я указал, что в партийных кругах в России живет сомнение в том, что восстание едва ли может быть победным, Ленин сразу даже остановился.

– Победа?! – проговорил он. – Да для нас дело вовсе не в победе! – и делая правой рукой резкие движения, словно вбивая какие-то невидимые гвозди, Ленин продолжал: – От моего имени так и передайте всем товарищам: – нам иллюзии не нужны, мы трезвые реалисты и пусть никто не воображает, что мы должны *обязательно* победить! Для этого мы еще слабы. Дело вовсе не в победе, а в том, чтобы восстаньем потрясти самодержавие и привести в движение широкие массы. А потом уже наше дело будет заключаться в том, чтобы привлечь эти массы к себе! Вот в чем вся суть! Дело в *восстаньи как таковом!* А разговоры о том, что «мы не победим» и поэтому не надо восстания, это разговоры трусов! Ну, а с ними нам не по пути!

Все было ясно. Директивы получены. Мой первый визит к Ленину кончался. Прощаясь, Ленин жал руку, говорил всякие подбадривающие комплименты. В Ленине тех времен было много силы, здоровья, энергии. Но, в противоположность холодному барственному Плеханову, в Ленине не было ничего от «высокой мудрости». Это был умный, смелый, очень хитрый партийный заговорщик, властный водитель клана. Политический боец, исполненный абсолютного цинического презрения ко всему, кроме себя самого. Всей манерой речи, каждой фразой, каждым словом он как бы говорил: – «Знайте, во-первых, что все кроме меня, дураки и никто ни в чем ничего не понимает! А во-вторых, если все товарищи будут слушать меня, то из этого выйдет настоящий толк! И даже очень большой толк! Вот и извольте мне беспрекословно подчиняться! А я уж знаю, что буду делать!»

Прощаясь, я сказал Ленину о привезенных деньгах. Это Ленина очень обрадовало. Он ответил, что деньги я должен передать тому

самому грузину, который дал мне его адрес. И на мгновенье задумавшись, Ленин вдруг сказал, что было бы правильнее, чтобы я после Женевы ехал не в Казань, а в Петербург, где необходимо усилить большевицкую агитацию среди питерских рабочих. Я согласился. На том мы и порешили. Перед отъездом Ленин обещал дать точные инструкции.

Через две недели, в течение которых в Женеве я несколько раз встречался с Лениным, поезд мчал меня уже назад в Россию, но не в Казань, а, по указанию Ленина, в Петербург, где я должен был стать ответственным пропагандистом Нарвского района. Мне была дана явка в страховом обществе на углу Морской и Гороховой.

В те предгрозовые предреволюционные месяцы ленинские вожделения в Петербурге направлялись главным образом на Путиловский завод. Сознание, что в этой цитадели русского пролетариата нет *никакой* большевицкой организации, приводило Ленина в бешенство.

Насколько вообще тогда, в 1905 году, были слабы большевики и насколько не имели корней в массах, показывает факт, что вся организация их в Петербурге едва ли насчитывала около 1000 человек. А в Нарвском рабочем районе – человек около 50-ти. Связи с рабочими были минимальны, вернее сказать, их почти не существовало. Большевицкое движение было чисто интеллигентское: студенты, курсистки, литераторы, люди свободных профессий, чиновники, мелкие буржуа, вот где рос тогда большевизм. Ленин это прекрасно понимал и по его плану, эти «кадры» партии должны были начать завоевание пролетариата. Тут-то и интересовал его Нарвский район и самый мощный питерский Путиловский завод, где тогда имели большое влияние гапоновцы.

В страховом обществе, куда я пришел с явкой от Ленина, меня встретил мрачный бородатый мужчина, дал все указания, адреса. И вскоре я приступил к попытке создать на Путиловском заводе «большевицкую организацию».

Увы, дело это было очень трудное. Только теперь у большевицких историков все выходит очень гладко. На самом же деле все обстояло куда менее импозантно, а подчас и вовсе безнадежно.

Питерские рабочие шли тогда за меньшевиками и эсэрами. В течение многих недель я пытался сколотить хоть какой-нибудь большевицкий рабочий кружок на Путиловском заводе. Но результат был плох. Мне удалось привлечь всего-навсего пять человек, причем все эти пять, как наподбор, были какими-то невероятно запьянцовскими типами. И эта пятерка на наши «собрания» приходила всегда в неизменно нетрезвом виде.

Вскоре эта моя «деятельность» неожиданно оборвалась: – был издан манифест 17-го октября, после которого большевицкая организация в Петербурге могла уже приступить к более или менее широкой полулегальной работе.

Тут-то после манифеста и встретил я снова Ленина. Правда, эта петербургская встреча была «мимолетна». – В трамвае. Помню, я ехал по Бассейной, вдруг в вагон вошел человек по всему обличью очень напоминающий Ленина, но с чрезвычайно большими светлыми усами. Эта странная фигура, не замечая меня, шла в мою сторону и вдруг села прямо передо мной. Мне достаточно было пристального взгляда, чтобы узнать Ленина. Я слегка подмигнул ему. Он меня тут же узнал, но явно не пожелал быть узнанным, заволновался, сделал отрицательный знак головой, чтоб я, мол, не подавал никаких признаков знакомства. И вдруг даже встал и на следующей остановке вышел из трамвая.

Вскоре я увидел Ленина во второй раз, уже без усов, без грима, он выступал на митинге на курсах Лесгафта. Ораторская манера была совершенно та же, как тогда передо мной в Женеве. Ленин так же ходил по трибуне из угла в угол и сильно картавя на «р», говорил резко, отчетливо, ясно. Это была не митинговая речь (на что в те поры среди большевиков был только один мастер – «товарищ Абрам», Крыленко). У Ленина это была даже не речь. Ленин не был оратором, как, например, Плеханов, говоривший по французской манере с повышениями и понижениями голоса, с жестами рук. Ленин не обладал искусством речи. Ленин был только – логик. Говоря ясно, резко, со всеми точками над «i», он с огромной самоуверенностью расхаживал по трибуне и говорил обо всем таким тоном, что в истинности всего им высказываемого вообще не могло быть никаких сомнений. Раз он, Ленин, говорит, стало быть это так и есть. И

только полемизируя, Ленин выходил из тона этой безграничной самоуверенности и впадал в дешевую насмешку и грубость издевки.

В Петербурге под прикрытием легальности в организованных тогда большевиками нескольких рабочих клубах под энергичным руководством Ленина пошла довольно-таки широкая работа по привлечению масс и в частности по подготовке вооруженного восстания. В эти дни большевицкая работа стала давать уже гораздо большие результаты. И, например, большевицкий клуб за Нарвской заставой привлекал уже на свои лекции и агитационные собрания порядочное количество путиловцев.

В те дни большевиками были собраны значительные суммы. Партия стала копить оружие. Организовалась и первая большевицкая боевая дружина в 25 человек, поступившая в распоряжение заведывавшего тогда всеми дружинами большевиков – Л. Б. Красина.

Но сам Ленин в Петербурге в те дни пробыл недолго. Не помню куда он исчез, но исчез быстро, дав директивы и окончательно сплотив большевиков на лозунге вооруженного восстания. Помню, за восстание были тогда – Г. Алексинский, И. Сталин (тогда незаметный член партии), Н. Крыленко и главный руководитель боевыми отрядами – Л. Красин.

Но так как ни широкие массы питерских рабочих, ни другие революционные партии в Питере лозунга вооруженного восстания не разделяли, то начать вооруженное восстание здесь большевики не решились, обратив все свое внимание на восстание в Москве.

Разумеется, и это восстание имело немного шансов на успех. Оно и было подавлено. И в результате разгрома как восстания, так и партии, в среде последней возникла острая оппозиция к Ленину, критиковавшая его «авантюристическую тактику», обрушившаяся на его «нечаевщину», на тактику «вспышкопускательства». Но Ленин в своей «линии» был абсолютно твердокаменен. Ленин остался на своем. По его мнению, восстание было нужно и прекрасно, что оно было. От своих положений Ленин никогда не отступал, даже если оставался один. И эта его сила сламывала под конец всех в партии.

Следующие мои встречи с Лениным относятся уже к 1917 году.

Теперь уже стало известным, что до приезда Ленина в Россию большевицкая партия пребывала в состоянии полной растерянности. Мне, как «очевидцу», тогдашнему члену партии, остается этот факт только подтвердить: – без директив «вождя» в 1917 году в партии шел невероятный разброд. Приезд Ленина считался совершенно необходимым, хотя надо сказать, что тогдашнее большинство видных партийцев ждало Ленина с опасениями, предчувствуя, что в этом хаосе Ленин сразу займет крайнюю атакующую позицию в отношении Временного Правительства и Совета Рабочих Депутатов.

Таврический дворец тех дней, где заседал Совет, представлял тревожную картину. На трибунах – головка Совета – лидеры меньшевиков и эсэров. Где-то по кулуарам растерянно мечутся, мнутся, пробегают большевики – Стасова, Бубнов, Сталин, Каменев, Стеклов и другие. А зал залит революционной толпой, производившей, надо сказать, самое гнетущее впечатление. В большинстве это был, конечно, не народ, а большевицки-настроенный *охлос*, на который и оперся в скором времени Ленин. Но пока что речами Чхеидзе, Церетели, Керенского даже в самом остром вопросе – о войне – этот охлос сдерживался все-таки на позициях оборончества, хоть и было ясно, что скрепы, пролегавшие от трибуны в зал, чрезвычайно хрупки. Хрупкость обнаруживалась ежечасно.

Помню выступление Плеханова – о войне. Прекрасный оратор западноевропейской манеры, Плеханов на этот раз говорил необычайно резко о войне до победного конца, о германском милитаризме, о славных союзниках, о героической Бельгии. При уважении к его имени в зале стояла тишина. Но когда он кончил, тишина так и осталась стоять, не прерванная ни единым хлопком. И чтобы как-нибудь выйти из положения встал Чхеидзе, произнося сглаживающую половинчатую речь.

Приехавшего Ленина я увидел на вокзале. Этот приезд достаточно описан в литературе, и я не коснусь его подробностей. Скажу только, когда я увидел вышедшего из вагона Ленина, у меня невольно пронеслось: – «Как он постарел!» В приехавшем Ленине не было уже ничего от того молодого, живого Ленина, которого я когда-то видел и в скромной квартире в Женеве и в 1905 году в Петер-

бурге. Это был бледный изношенный человек с печатью явной усталости.

Приняв поздравления, Ленин ответил на них известной демагогической речью. Для всех стало ясно, что Ленин совершенно готов к продолжению заговорщицкой борьбы. И он повел ее из дворца Кшесинской.

Впечатление о сильной «постарелости» Ленина подтвердилось и в последующие дни, когда я часто встречал его в этом дворце. Весь вид Ленина был резко отличен от прежнего. И не только вид. В обращении исчезли всякое добродушие, приветливость, товарищеская легкость. Ленин этого времени по всей своей цинической, замкнутой, грубоватой повадке казался заговорщиком «против всех и вся», не доверявшим никому, подозревавшим каждого и в то же время решившим всеми силами, не считаясь ни с чем, итти в атаку на захват власти.

Разумеется, как и в былые дни, его обаянье в партии было сильно. Но тем не менее, прежде чем захватить власть в стране, Ленину предстояло еще завоевать свою партию. Против него шло не только «будированье по закоулкам», но оказывалось и резкое открытое сопротивление. Не только Каменев, Зиновьев, но подавляющее большинство партии было не на его стороне. И все же Ленин был настолько уверен в себе, настолько «самодержавен», что сразу же перешел в атаку на оппозиционеров.

Помню, как уже на первых собраниях во дворце Кшесинской он кричал – «Или теперь или никогда! Наш лозунг – вся власть советам! Долой буржуазное правительство!» – и перекосив лицо, картавя, в демагогической речи звал «итти с кем угодно, с улицей, с матросами, с анархистами», но итти на немедленный захват всей полноты власти! И в самое короткое время Ленин подмял под себя всю партию, чувствовавшую, что сил сопротивляться ему – нет, а без этого заговорщицкого кормчего она – ничто.

Временный уход Ленина в подполье после июльских дней увел его из поля моего зрения. Я увидел Ленина снова уже в Смольном в роли председателя Совета Народных Комиссаров. Тут мне приходилось наблюдать его довольно часто.

Суммируя впечатление, которое у меня не опроверглось и последующими общениями с Лениным, я, вероятно, пойду в разрез с установившейся репутацией Ленина не только уж в большевицкой, но даже, пожалуй, и в антибольшевицкой литературе.

Обычно Ленин «все-же» признается «государственным человеком». Встречаясь с Лениным на государственной работе, делая ли ему доклады, получая ли от него распоряжения, этого впечатления у меня *никогда не создавалось.* Напротив, все говорило о противоположном.

Среди большевиков были люди государственного размаха, могущие быть «министрами» в любой стране. Это – Л. Б. Красин, человек большого ума, расчета, инициативы, трезвого глаза. Это – Л. Д. Троцкий, несмотря на то, что ни на кого эта фигура никакого «обаяния» не производила. Но только, разумеется, не Ленина зачислять в государственные люди.

Прежде всего Ленин был типичным человеком подполья. Ленин не знал ни жизни, ни России, ни русского крестьянства, не знал фактов. Ленин был существом *исключительно партийным.* Ни в одной стране он не мог бы быть «министром», зато в любой стране мог бы быть главой заговорщицкой партии. Ленин был *узкопартийный конспиратор до мозга костей.*

И сидя ли в Кремле или в Смольном, Ленин действовал везде именно так, как привык действовать в партии. В то время как распоряжения и назначения Троцкого или Красина обычно как-то базировались на здравом смысле, распоряжения и назначения Ленина бывали иногда поистине шедеврами нелепости.

Дара подбора людей, более-менее обязательного для «государственного человека», у Ленина не было. *Партиец* у Ленина мог получить *любое* назначение. Так, с первых же дней Ленин выдвигал и прочил чуть ли не в «главнокомандующие» бездарную пустоту, партийца Лашевича, дошедшего в мировой войне до чина унтерофицера. В вопросах промышленности, отметая мнения людей здравого смысла, Ленин сплошь и рядом обращался за советами к Ю. Ларину, человеку ни в чем не компетентному, фанатическому начетчику большевицкой программы. Можно безо всякого преувеличения сказать, что деятельность Ларина заключалась в система-

тическом разрушении промышленности. Но мнение этого прикованного болезнью к постели фанатика с полуокостенелым телом и воспаленным мозгом было часто решающим в распоряжениях Ленина.

Чтоб охарактеризовать Ларина приведу случай из его распоряжений. В декабре 1917 года ко мне в комиссариат пришел знакомый студент-технолог, беспартийный, единственным занятием которого были бега и игра на бильярде. Студент спрашивал, нет ли какой-нибудь для него «работенки»? Даю ему письмо к Ларину, полагая, что может быть у него он что-нибудь найдет. Через три часа студент приходит в очень веселом настроении.

Прочтя письмо и узнав, что этот студент – «технолог» – Ларин тут же устроил ему назначение комиссаром правления одного из крупнейших Русско-Бельгийских металлургических заводов на юге России. Студент был не из нерешительных. Поехал действовать по директивам Ларина и в самый короткий срок закрыл правление завода, остановив всю деятельность этого крупнейшего предприятия. Окончил же свою деятельность этот студент – директором советской балетной школы.

«Неталантливость» в подборе людей в Ленине была поразительна. Помню, позднее, в бытность Ленина в Москве, из Питера я приехал к нему в составе «пятерки» представителей железнодорожников с «челобитной» снять с поста наркома путей сообщения литератора Невского, под нелепостью распоряжений которого железнодорожники задыхались.

Приехавшие входили в кремлевский кабинет Ленина не без волнения. Было неизвестно с какой ноги встал «Ильич». Но каково же было удивление, когда после первых же наших слов, Ленин сразу перебил:

– Знаю, знаю, что у Невского происходит черт знает что! Он никуда не годится! И я его выгоню вон! У меня для вас есть замечательный нарком! – и Ленин назвал фамилию, – Кобызев.

Кобызев – средней руки инженер. Чем он пленил Ленина – неизвестно. Но высказывания каких бы то ни было сомнений в кабинете диктатора неуместны. И Кобызев стал наркомом ровно... на месяц, после чего его Ленин тоже «выгнал вон».

В характере Ленина, как в отношении людей, так и дел, была мелочность. И в Смольном и в Кремле впечатления главы правительства Ленин не производил. Это был всегда партийный заговорщик, но не глава государства.

В Москве впервые я увидел Ленина в Кремле в мае 1918 года, в день восстания в Поволжьи чехов. В небольшой кремлевской комнате, непосредственно примыкавшей к кабинету Ленина, шло очередное заседание совнаркома, обсуждавшего один из бесчисленных докладов «об эвакуации».

У стены, смежной с кабинетом Ленина, стоял простой канцелярский стол, за которым сидел Ленин, рядом – его секретарша Фотиева, женщина ничем кроме преданности вождю непримечательная. На скамейках, стоящих перед столом Ленина, как ученики за партами, сидели народные комиссары и вызванные на заседание видные партийцы.

Такие же скамейки стояли у стен перпендикулярно по направлению к столу Ленина; на них так же тихо и скромно сидели наркомы, замнаркомы, партийцы. В общем, это был класс с учителем довольно-таки нетерпеливым и подчас свирепым, осаживающим «учеников» невероятными по грубости окриками, несмотря на то, что «ученики» перед «учителем» вели себя вообще примерно. Ни по одному серьезному вопросу никто никогда не осмеливался выступить «против Ильича». Единственным исключением был Троцкий, действительно хорохорившийся, пытаясь держать себя «несколько свободнее», выступать, критиковать, вставать.

Зная тщеславие и честолюбие Троцкого, думаю, что ему внутренно было «совершенно невыносимо» сидеть на этих партах, изображая из себя благонамеренного ученика. Но подчиняться приходилось. Самодержавие Ленина было абсолютным. Хотя все-таки шило распаленного тщеславия и заставляло Троцкого вскакивать с «парты», подходить к Ленину, выходить из комнаты и вообще стараться держаться перед остальными «учениками» так, как бы всем своим поведением говоря: – «вы не воображайте, что я и вы одно и то же! Ленин, конечно, Ленин, но и Троцкий тоже Троцкий!» И уже «тоном ниже», но все-таки пытался подражать своему шефу помощник Троцкого исключительно развязный Склянский.

На этом заседании во время прений Ленину подали свежую телеграмму о восстании чехов в Поволжьи. Ленин взволновался до крайности. Заседание было прервано. И когда я в соседней комнате разговаривал с Троцким, туда быстрыми шагами вошел Ленин и, обращаясь к Троцкому, резко проговорил:

– Сейчас же найдите мне Розенгольца!

Стало ясно: Ильич почему-то решил отправить в Поволжье Розенгольца. Это внезапное назначение ни в Троцком, ни в других наркомах явно не могло встретить сочувствия. Но все ж все тут же бросились разыскивать Розенгольца.

Два слова о Розенгольце. Этот человек выдвинулся на военно-чекистской работе. По основной специальности он фельдшер. Издавна знавшие его отзывались о нем не иначе, как «ужасный тип». Обязан он отмеченности Лениным только из-за необычайной жестокости и абсолютного наплевательства на жизни хотя бы десятка тысяч людей. Когда Розенгольц был назначен заведующим политическим управлением НКПС, этот круглый, гладкий человек подбирал служащих по политуправлению так. Вызывал в свой кабинет и задавал один вопрос:

– Сколько контр-революционеров вы расстреляли собственноручно?[25]

Если опрашиваемый мялся или сообщал, что «не приходилось», то уходил из кабинета не получив никакого назначения. Впоследствии Розенгольц эту свою деятельность сменил на дипломатическую, став полпредом в Англии. В Лондоне он начал давать блестящие балы, танцуя с дамами английского дипломатического корпуса и чувствуя себя совершенно «в своей тарелке».

В мае 1918 года Ленин отправил Розенгольца с аршинными мандатами в Поволжье, ибо Розенгольц принадлежал к тем «рукастым» коммунистам, которых особенно ценил Ленин.

Чем шире развивалась гражданская война, тем усиленней Ленин интересовался ВЧК и террором. В эти годы влияние Дзержинского на Ленина – несомненно. И тем нервнее, раздражительнее и грубее становился Ленин. В 1918–19 годах нередко приходилось его

---

[25] А. Розенгольц своё получил: в 1937 г. Сталин его расстрелял.

видеть на собраниях совнаркома, выходившим из себя, хватавшимся за голову. В прежние времена этого не бывало. Старый заговорщик, Ленин явно изнашивался. И тут действовала не одна болезнь. Иногда глядя на усталое, часто кривящееся презрительной усмешкой лицо Ленина, либо выслушивающего доклады, либо отдающего распоряжения, казалось, что Ленин видит какая человеческая мразь и какое убожество его окружают. И эта усталая монгольская гримаса явно говорила: – «да, с таким „окружением“ никуда из этого болота не вылезешь».

– Фанатик-то он фанатик, а видит ясно куда мы залезли, – говорил о Ленине Красин, относившийся к октябрьской верхушке большевиков тоже с нескрываемым презрением.

Вот именно в эти-то годы и влиял на Ленина Дзержинский, еще более узкий фанатик чем он. Ленин брал на себя, разумеется, всю ответственность за террор ВЧК. Он считал его необходимым. И Дзержинский был ему подстать.

Их силуэты особенно запомнились мне на одном из заседаний. Не помню, чтоб Дзержинский просидел когда-нибудь заседание совнаркома целиком. Но он очень часто входил, молча садился и так же молча уходил среди заседания. Высокий, неопрятно одетый, в больших сапогах, грязной гимнастерке, Дзержинский в головке большевиков симпатией не пользовался. Но к нему люди были «привязаны страхом». И страх этот ощущался даже среди наркомов.

У Дзержинского были неприятны прозрачные больные глаза. Он мог длительно «позабыть» их на каком-нибудь предмете или на человеке. Уставится и не сводит стеклянные с расширенными зрачками глаза. Этого взгляда побаивались многие.

Вот на одно из заседаний, при обсуждении вопроса о снабжении продовольствием железнодорожников, в этот же «класс» с послушными «учениками» и вошел Дзержинский. Он сел неподалеку от Ленина. Заседание было в достаточной мере скучным. Но время было крайне тревожное, были дни террора.

Обычно Ленин во время общих прений вел себя в достаточной степени бесцеремонно. Прений никогда не слушал. Во время прений ходил. Уходил. Приходил. Подсаживался к кому-нибудь и, не

стесняясь, громко разговаривал. И только к концу прений занимал свое обычное место и коротко говорил:

– Стало быть, товарищи, я полагаю, что этот вопрос надо решить так! – Далее следовало часто совершенно не связанное с прениями «ленинское» решение вопроса. Оно всегда тут же без возражений и принималось. «Свободы мнений» в совнаркоме у Ленина было не больше, чем в совете министров у Муссолини и Гитлера.

На заседаниях у Ленина была привычка переписываться короткими записками. В этот раз очередная записка пошла к Дзержинскому: – «Сколько у нас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?» – В ответ от Дзержинского к Ленину вернулась записка: – «Около 1500». Ленин прочел, что-то хмыкнул, поставил возле цифры крест и передал ее обратно Дзержинскому.

Далее произошло странное. Дзержинский встал и как обычно, ни на кого не глядя, вышел с заседания. Ни на записку, ни на уход Дзержинского никто не обратил никакого внимания. Заседание продолжалось. И только на другой день вся эта переписка вместе с ее финалом стала достоянием разговоров, шепотов, пожиманий плечами коммунистических сановников. Оказывается, Дзержинский всех этих «около 1500 злостных контрреволюционеров» в ту же ночь расстрелял, ибо «крест» Ленина им был понят как указание.

Разумеется, никаких шепотов, разговоров и, качаний головами этот крест «вождя» и не вызвал бы, если бы он действительно означал указание на расправу. Но как мне говорила Фотиева:

– Произошло недоразумение. Владимир Ильич вовсе не хотел расстрела. Дзержинский его не понял. Владимир Ильич обычно ставит на записке крест, как знак того, что он прочел и принял, так сказать, к сведению.

Так, по ошибочно поставленному «кресту» ушли на тот свет «около 1500 человек». Разумеется, о «таком пустяке» с Лениным вряд ли кто-нибудь осмелился говорить. Ленин мог чрезвычайно волноваться о продовольственном поезде, не дошедшем вовремя до назначенной станции, и подымать из постели всех начальников участков, станционных начальников и кого угодно. Но казнь людей, даже случайная, мне казалось, не пробуждала в нем *никакого* душевного движения. Гуманистические охи были «не из его департамента».

Последний раз я видел Ленина в 1921 году. Видел тоже в Кремле и тоже на заседании. Ленин, как всегда, то ходил меж скамеек по комнате, то садился за председательский стол. Но уже тогда он производил впечатление человека совершенно конченного. Он то и дело отмахивался от обращавшихся к нему, часто хватался за голову. Казалось, что Ленину «уже не до этого». Ни былой напористости, ни силы. Ленин был явный нежилец и о его нездоровье плыли по коридорам Кремля всевозможные слухи. А за спиной этого желтого истрепанного человека, быстро шедшего к смерти, кипела ожесточенная борьба – Сталина, Зиновьева, Каменева, Троцкого.

Когда через три года Ленин умер, я видел многих видных вельмож коммунизма, которые плакали самыми настоящими человеческими слезами. Плакали не только Крестинский, Коллонтай, Луначарский, но (в самом буквальном смысле) плакали заматерелые чекисты. Эти слезы были довольно «трогательны». Но любовь партии к Ленину и даже не любовь, а какое-то «обожание» были фактом совершенно несомненным.

В Ленине жила идея большевизма. Он олицетворял ее. Людям нужны «идолы». И Ленин был великим идолищем большевизма.

Троцкий

Впервые я встретил Троцкого в 1905 году в Петербурге на заседании Совета Рабочих Депутатов в Вольном Экономическом Обществе. Я был членом Совета от Путиловского завода. Троцкий же, как известно, был товарищем председателя. Надо сказать, что тогда Троцкий пользовался в революционных кругах Петербурга большой популярностью. Заслонив ничтожную фигуру официального председателя Совета, Хрусталева-Носаря, Троцкий вел тогда за собой весь Совет, а Совет вел питерский пролетариат.

Время горячее. Горяч был и Троцкий, эдакий «молодой Лассаль» на питерском фоне. Коньком его тогдашних речей была изобретенная им теория перманентной революции. С этой теорией он и выступал, зовя рабочих «от восстания к восстанию» и обещая неминуемую окончательную победу.

Его выступления помню очень хорошо. Среднего роста, темный шатен, с громадной шевелюрой откинутых волос, большим лбом,

острым носом Троцкий на трибуне как бы вырастал и казался высоким. Голос резко-металлический. Демагогический оратор он уже тогда был хороший, хотя речи его всегда, как говорили греки, «попахивали лампадным маслом»: – чувствовалось, что это не экспромты, а сопровождающиеся эффектными жестами и эффектными паузами тщательно разученные выступления.

По своей манере говорить Троцкий был полным антиподом Ленину. Ленин ходил по трибуне. Троцкий стоял. У Ленина не было никаких цветов красноречия. Троцкий ими засыпал публику. Ленин не слушал себя. Троцкий не только слушал, но, пожалуй, и любовался собой. В речах Ленина всегда было ясно чего он хочет. У Троцкого предельной ясности никогда не было; его речь всегда можно было несколько вывернуть: – и так и иначе.

Разница душевного строя этих несхожих между собой революционеров сказывалась тогда и в их деятельности в Петербурге. Большевик Ленин редко появлялся на массовых собраниях, он вел борьбу в своей партии, этот «крот» рыл «подземные ходы». Меньшевик Троцкий сразу бросился к «ослепительному» свету рампы, к публике, к аплодисментам. Тут было не только чрезмерное тщеславие, которым очень богат был Троцкий, но был и правильно выбранный плацдарм своей деятельности, ибо Троцкий был действенен только на толпе, «на миру», он должен был быть всегда «любимцем публики», хотя бы даже галерки. Успех Троцкого был всегда успехом актера. И в то время, как в Ленине во всем чувствовалась крайняя деловитость, в Троцком – неизменный треск фейерверка.

Разность этих людей оттенялась даже в одежде. Ленин всегда был одет, «как попало». Троцкий одевался с некоторой тщательностью, ему вовсе было не все равно, как и какой повязать галстук.

Но тогда на революционном фоне Петербурга Троцкий был куда более приметен. Ленин вел только большевицкую партию, Троцкий же, через Совет, несомненно вел питерских рабочих. И удайся революция 1905 года, революционным вождем в Петербурге стал бы, конечно, Троцкий.

Но дело кончилось иначе: – письмом Троцкого к Витте, от которого, как известно, Витте пришел в бешенство и Троцкий был аре-

стован. Невольно хочется сказать, что судьбы этих двух людей, Витте и Троцкого, впоследствии оказались очень схожи. Достигший власти Витте, в сущности, всегда оставался «чужим» среди придворных Зимнего дворца и кончил опалой. Во время революции, достигший «высшей власти» Троцкий неизменно оставался «чужим» среди придворных Кремля и всем известно, чем он кончил.

Приехавшего из Америки в 1917 году Троцкого я встречал в Таврическом дворце на заседаниях Совета Рабочих Депутатов. Суммируя впечатление от общений с ним и от его выступлений, скажу, что в отличие от всех социалистов, проведших войну внутри России, Троцкий был отмечен некой «девственностью». Живший вдали от России, не переживавший войны, Троцкий как бы «законсервировался» на позициях 1905 года и в то время, как внутри страны российские социалисты неминуемо отражали в себе все сомнения, колебания и тяжелые переживания народа, Троцкий в этом отношении был «девственен». Для него ничего этого не существовало и задумываться Троцкому не приходилось, у него имелась всё разрешающая теория «перманентной революции»: – японская война, 1905-й год – первый удар; мировая война, 1917-й год – второй удар. И Троцкий выскочил на русскую землю эдаким туристом – «прямо с корабля на бал».

В противоположность Ленину внешне Троцкий за эти годы не сильно изменился. Казался очень бодрым и «полным сил». Да ему и было всего 38 лет.

Возвестив о совпадении своих позиций с позициями Ленина, Троцкий пошел вместе с ним в атаку на Временное Правительство, но и теперь, соответственно характерам, распределялись их роли. Приманивая массы на «червя большевизма» Ленин, как свинцовый груз, тянул леску вглубь, а поплавок-Троцкий моментально поплыл по поверхности. Новый свет рампы, речи, аплодисменты, интервью, словом, те же подмостки Совета Рабочих Депутатов, только тут уж приходилось из задних рядов протискиваться в завоеватели Совета. В этом и есть заслуга Троцкого перед большевизмом: – демагогией своих речей он завоевал большевизму Совет (хотя это было и не особенно трудно).

Не будет преувеличением сказать, что и в 1917 году в массах Троцкий был известнее и популярнее Ленина. Но то, что было не-

заметно для зрителя извне, было очевидно всякому более-менее крупному партийцу: – как только Троцкий менял роль «поплавка» и уходил вглубь большевицкой партии, он неизменно в ее теле оказывался «чужероден».

Вражда к Троцкому главных партийных деятелей вовсе не родилась в 1924 году по смерти Ленина. Тогда она только «пришла в действие». Жила же она и не скрывалась все время с 1917 года. Положение Троцкого в партии было всегда как бы положением «кандидата в большевики», а не большевика.

С 1917 года по 1920 мне часто приходилось встречаться и с Троцким и с его противниками и могу засвидетельствовать, что крайняя неприязненность к нему Зиновьева, Крестинского, Сталина, Стучки, Дзержинского, Стасовой, Крыленко и многих других правоверных ленинцев существовала всегда и редко чем-нибудь прикрывалась. Все эти люди только «терпели» Троцкого потому, что он был нужен большевицкой революции и потому, что Ильич заключил с ним некое «джентльменское соглашение». Эта владычная рука Ленина, поддерживающая Троцкого под спину, всегда была ощутима и без этой руки падение Троцкого могло быть ежедневным.

Отказ в кредите Троцкому и недоверие к нему происходили от следующих причин. Во-первых, Троцкий действительно был многолетним меньшевиком. Правда, он занимал всегда более выгодную его натуре межеумочную позицию, плавая по социал-демократическим водам заманчивым поплавком «перманентной революции» и не идя ни под Ленина, ни под Мартова, ни тем более под Плеханова с Потресовым. Но вот именно поэтому со стороны таких совершенно нетерпимых, узко-большевицких мозгов, какими обладали и обладают твердокаменные ленинцы, Троцкий и был всего только «сменовеховцем». Кредит измерялся подпольным стажем и заслугами. У Троцкого ничего этого не было. К тому ж психологически Троцкий и ленинцы были разны. Это чувствовала головка партии и это тоже против Троцкого вызывало раздражение.

Чтобы быть объективным надо сказать, что Троцкий интеллектуально был выше ленинцев на голову, хотя это и не Бог весть уж какой комплимент, ибо интеллектуальные силы ленинизма были

всегда чрезвычайно убоги. Но умственное и культурное превосходство, эта бывалость и просвещенность, при невероятно-эгоцентрическом характере и надменности Троцкого, при его жажде «наполеонства», сквозившей во всем, в манере, речи, полемике, вызывали естественное озлобление у головки ленинцев. А у некоторых, как у Зиновьева и у Сталина, это чувство переходило в буквальную ненависть.

В рамки большевицкой организации Троцкий не вкладывался, он, как резиновый чертик, неизменно из нее выпрыгивал. Стать «нечужеродным», «своим» мешали болезненное честолюбие, сознание, что если он и не Ленин, то почти Ленин. А я думаю, что наедине Троцкий ценил себя куда выше Ленина!

После октябрьского переворота я видел Троцкого в роли наркоминдела. Тут мне казалось, что на короткое время о Троцком в партии как-то забыли. Дали наркоминдел, «делай, мол, там что хочешь!» И в самом Троцком на короткое время проснулся, пожалуй, больше журналист, чем «министр». Он бросился в секретные архивы, ими зачитываясь, пиша ноты и лозунги, дал волю своей революционной фантазии. На первой же министерской должности Троцкий стал приближать к себе специалистов. В противоположность Ленину, у которого «партиец все мог понимать и все делать», Троцкий искал и брал людей дела, как, например, племянника бывшего военного министра Поливанова, сына быв. министра Муравьева и других. Троцкий хотел быть окружен «настоящим министерством», настоящими чиновниками, а не большевицкими импровизаторами, к которым в ответ на недоверие относился с презрением.

Но фантазии Троцкого в роли революционного дипломата революционнейшей страны кончились... Брестом. На этом его дипломатическая карьера оборвалась и Ленин назначил Троцкого наркомвоеном.

Этому шумному назначению Троцкого предшествовало не лишенное интереса и в литературе неосвещенное событие. В марте 1918 года, когда совнарком переезжал из Петербурга в Москву, Ленин заявил в Смольном, что хочет оставить Троцкого в Петрограде главой питерского совнаркома, а Зиновьева взять с собой в Москву.

Вопрос этот обсуждался на собрании актива петербургских большевиков, где вызвал взрыв возражений, демонстрировавших открытый отказ в кредите Троцкому со стороны ведущей головки большевизма. Из питерских большевиков Троцкого не поддержал никто, тогда как кандидатура Зиновьева в председатели петербургского совнаркома выставлялась как самоочевидная. И Ленин с этим вынужден был согласиться.

В результате, в марте 1918 года Зиновьев взял Петроград своей вотчиной, а Троцкий стал наркомвоеном. С Зиновьевым в 1918–19 гг. я виделся почти ежедневно. Отношение его к Троцкому было самое отвратительное, причем и Троцкий платил Зиновьеву той же монетой.

Причина этой обоюдной ненависти была ясна. Зиновьев требовал себе как раз ту самую роль, на которую претендовал Троцкий: – дублера Ленина. И чистокровный большевик, старый наперсник Ленина, Зиновьев пытался всеми силами отпихнуть Троцкого от попытки дублировать Ильича. Троцкий, разумеется, не оставался в долгу. В своей драке они забыли только о Сталине, который одинаково ненавидел их обоих.

В 1918–19 гг. взаимная враждебность Зиновьева и Троцкого не оставалась только в сердцах двух вельмож, борьба их явственно реализовалась и в жизни. В то время, как Троцкий начал организовывать военное ведомство, подбирая опять-таки «настоящих военных», генералов, полковников и комиссаров, долженствующих быть ему преданными, Зиновьев не желал выпускать из рук военную организацию Петрограда. Игра Зиновьева опиралась на то, что «полубольшевик» Троцкий подбирает людей политически ненадежных, в то время, как Зиновьев создаст надежную организацию.

Парируя эту игру, Троцкий в 1918 году стал привлекать к себе чекистов, организовав при себе чекистский отряд во главе с Павлуновским. Привлек он к себе и видного чекиста Берзина. Из этого чекистско-коммунистического аппарата впоследствии и выросла, в сущности, оппозиция троцкистов. Тогда же, в ведомственной борьбе Троцкого (с Зиновьевым в Петербурге, со Сталиным в центре, с Ворошиловым на юге), этот аппарат играл большую роль, спасая часто положение Троцкого и поддерживая его у власти.

Троцкий был властолюбив и тщеславен, подчас даже мелочно. В психологии его было что-то от нувориша. Так, помню приезд его в Петроград весной 1919 года. Из Москвы в Петроград Ленин обычно ездил в купе 1-го класса. Троцкий – в комфортабельном поезде. В этот приезд я был вызван к нему на Николаевский вокзал. На Николаевском вокзале – поезд из вагонов бывших царских поездов, оборудованный по последнему слову комфорта, тут и типография, и отдельный вагон для свиты, и первоклассная кухня, и ванны, словом «царский» поезд. Чтоб дойти до поезда, мне пришлось пройти сквозь две цепи солдат. В поезде меня принял адъютант, бывший царский офицер, который и доложил обо мне наркомвоену. Троцкий принял меня в салон-вагоне, сидя за столом. Следов былого «молодого Лассаля» в Троцком тогда уже не было. Необыкновенная надменность человека, привыкшего к безграничной власти, вот каков был тон Троцкого. Его окружение из офицеров перед ним держалось необычайно подтянуто. Ни перед Лениным, ни перед Зиновьевым никто бы так не стоял. Тут пахло настоящим аракчеевским фрунтом.

Пока я ждал, Троцкий тут же принимал какой-то доклад, высокомерным тоном министра задавая вопросы и как только ответы ему казались неудовлетворительными, он тут же обращался к секретарю, говоря коротко:

– Запишите, что было сейчас сказано!

Иногда такие записи означали вызов Павлуновского и расстрел на месте. Это был стиль Троцкого.

В небрежном постукивании карандашом по столу, во взгляде свысока, в позе нога на ногу, в повелительном обращении со своим окружением из бывших офицеров, во всем у Троцкого чувствовалось, что этот человек упивается властью. Царские поезда, свита, помпа, расстрелы, – в Троцком очень даже теплился «стиль Бонапарта». Но в то время, как извне, иностранцам, белым армиям, обывателям Троцкий казался необычайно властным, на самом деле властность Троцкого, наталкиваясь на партийный аппарат, вглубь не шла. Ленинцы только давали Троцкому резвиться. Победно воевавшему на фронтах Троцкому приходилось жестоко отгрызаться внутри партии, где его хватали за икры со всех сторон.

Именно благодаря этому Троцкий и создавал вокруг своего поезда «государство в государстве», подбирая и обласкивая нужных ему людей, хотя надо сказать, что критические моменты гражданской войны иногда выносили Троцкого наверх и с этого верха Троцкий презрительно тыкал сапогом Зиновьева и его товарищей.

Таким моментом для Троцкого было наступление генерала Юденича на Петроград. Эти мрачные, страшные дни конца октября 1919 года заслуживали бы отдельных воспоминаний. Юденич под Петроградом, занял Царское, подошел к Пулковской горке и угрожает Тосно и Ораниенбауму. Головка питерских большевиков переживала подлинную панику. Красные войска разбегались куда глаза глядят. Зиновьев, панически трусливый в моменты опасности, теперь только и делал, что по прямому проводу требовал из Москвы директив по эвакуации Петрограда, заявляя, что «держаться больше не может!»

Попытки организовать наскоро сбитые рабочие дружины ни к чему не привели, под нажимом Юденича подступы к столице обнажались и с часу на час ожидалось занятие города белыми. Предавшийся панике Зиновьев почему-то еще был убежден, что и Финляндия выступит против Петрограда. Вот в этот-то момент, когда в Смольном Зиновьев собрал всех петербургских наркомов и истерически кричал: – «Вы все останетесь тут! Хоть три дня! Я никуда никого отсюда не выпущу!» – из Москвы сообщили, что в Петербург выехал Троцкий. Для Зиновьева – конфуз. Для Троцкого – триумф, кратковременный, но несомненный.

Троцкий приехал в Петроград поздно вечером. С той же помпой пришли два царских поезда. С Троцким – большая свита двух сортов, военные во главе с генералом Надежным и чекисты во главе с Павлуновским. Окруженный этой свитой, Троцкий с вокзала проехал прямо в Смольный и вошел в кабинет Зиновьева (прежний кабинет Ленина), где вокруг Зиновьева собрались питерские комиссары. С места в карьер, обращаясь к Зиновьеву, Троцкий проговорил:

– Здравствуйте, товарищ Зиновьев! На ваш запрос об эвакуации заявляю, что Петроград сдан не будет! Я приехал от Совнаркома с неограниченными полномочиями. А за сим – созовите собрание партийного актива Петрограда!

И когда Зиновьев еще не успел произнести слова, Троцкий повернулся к Павлуновскому и резко-металлически, с резонансом, рассчитанным на всех присутствующих, проговорил:

– Товарищ Павлуновский, приказываю немедленно арестовать и расстрелять весь штаб защиты Петрограда! А вам, – обратился он к генералу Надежному, – немедленно принять на себя командование 7-ой армией и организацию штаба защиты!

Минута – «бонапартовская». При полном молчании Надежный и Павлуновский, окруженные помощниками, вышли из кабинета. В эту же ночь Павлуновский расстрелял совершенно ни в чем неповинный штаб защиты Петрограда во главе с бывшим офицером генерального штаба Линденквистом. Защита перешла в руки генерала Надежного. А расстрелы – к чекисту Павлуновскому, этому обер-палачу при Троцком, вызывавшему во всяком человеке бесконечное отвращение: – высокий, худой, с жуткими глазами убийцы, одетый в «лихую» кавалерийскую шинель до пят, с рукой на перевязи, Павлуновский со своим отрядом по мановению руки Льва Давыдовича расстреливал бесчисленное количество людей.

Когда Павлуновский и Надежный вышли и в кабинете остались Зиновьев и человек пять питерских комиссаров, Троцкий сразу же как-то «размяк». «Железный жест» был сделан и в ожидании нового жеста на собрании петербургского актива, Троцкий похаживал по большому кабинету Зиновьева, подшучивал над тем, что «Зиновьев, кажется, осунулся», брал с полки книги, перелистывал, читал наугад какие-то цитаты и по поводу их острил, потом снова клал книгу на полку и снова подшучивал над Зиновьевым и над телефоном с громкоговорителем, стоявшим у него на столе. На эти остроты Зиновьев реагировал слабо. В это время, по приказу Троцкого, происходила смена всей охраны Смольного. Прежнюю охрану сменили приехавшие с Троцким какие-то такие морды, что на них смотреть было жутко. Эта смена, вероятно, должна была подчеркнуть окончательную победу Троцкого над Зиновьевым: не оставалось камня на камне.

Когда в зале Смольного собрался актив петербургских большевиков (это было красочное, «историческое» заседание, занятия Петрограда белыми ждали с минуты на минуту), – Троцкий высту-

пил с речью. Тут снова из посмеивающегося журналиста Троцкий превращался в «железного вождя». Гремела речь о постыдности поведения коммунистов, о психологии дезертирства, о беспощадности мер, которые он примет, всем и всему Троцкий грозил расстрелом.

Ночь в Смольном прошла в лихорадочной работе. Сюда привезли арестованный штаб бригады, действовавший под Ораниенбаумом. Этой же ночью Троцкий в сопровождении генерала Надежного выехал на фронт, а в Смольный из Москвы приехал Красин, на которого было возложено поручение в случае сдачи Петрограда подготовить приведение петербургских заводов в полную негодность. Этим Красин и занялся.

На утро я застал Троцкого в Смольном. Обсуждался вопрос о переброске на фронт подходивших из Москвы и с Мурманского фронта подкреплений. Троцкий стоял посредине кабинета Зиновьева, у двери – двое чекистов, Павлуновский в своей кавалерийской шинели и начальник особого отдела петроградской ЧК Комаров. За столом секретарь Троцкого с неизменным блокнотом, а перед Троцким – перепуганный начальник военных сообщений Петрограда Араратов.

– Сколько времени нужно, чтобы перебросить войска с Финляндского вокзала на Балтийский? – кричал Троцкий Араратову.

– 24 часа, по-моему.

– Что?! Саботаж! Запишите сказанное! – кричит Троцкий и тут же Павлуновскому: – Арестовать!

Павлуновский и Комаров уже двинулись к потерявшему всякое присутствие духа Араратову и если бы за него не вступились все присутствовавшие, Араратов был бы немедленно расстрелян, как было уже расстреляно множество людей. Троцкому объяснили, что перебрасывать войска по железной дороге с вокзала на вокзал не нужно, гораздо быстрее войска пройдут в пешем строю.

В этот день под руководством Троцкого Петроград спешно делился на три зоны, из которых две могли быть сданы, а третья должна была защищаться до последнего. В деле обороны Петрограда Троцкий, конечно, сыграл роль, но все же чудес не бывает и Троцкий ничего бы не сделал, если бы ему не помог... сам генерал Юденич.

Уверенность в том, что если Юденич будет продолжать наступление, то город будет взят, была абсолютна, а сдача Петрограда грозила самыми серьезными последствиями и для центральной власти. Но генерал Юденич в это время три дня простоял перед беззащитным Петроградом в полном бездействии. Бездействие генерала Юденича было непонятно. Оно и создало триумф Троцкого: – в течение этих трех дней все время подходили красные подкрепления.

Под Петроград были переброшены уже довольно значительные части, и для подъема духа войск Троцкий сам выехал на автомобиле в Гатчину. Я сопровождал его. Это был решительный момент, когда красные перешли в наступление, а белые дрогнули.

О Троцком коммунисты-военные частенько говорили, как о человеке трусливом. Придерживаясь объективности, должен сказать, что в Гатчине Троцкий держал себя вполне соответственно своей роли. Может быть, у него и дрожали поджилки, когда автомобиль под обстрелом белых влетел в еще не занятую Гатчину. Но трусости Троцкий не проявил. Напротив, несмотря на предостережения окружающих, он вылез из автомобиля, шел под обстрелом, вообще все было именно так, как подобает «полководцу».

Об энтузиазме красных войск при защите Петрограда говорить, конечно, не приходится. Этот энтузиазм создали чекистские и курсантские отряды, шедшие с пулеметами сзади войск, расстреливая на месте всех дрогнувших или пытавшихся дезертировать.

В гражданской войне защита Петрограда была моментом большого ведомственного успеха Троцкого и поражения Зиновьева. Но насколько Троцкий был непопулярен в партии показывает хотя бы тот факт, что несмотря на такие «головокружительные» заслуги он уже в следующем году под давлением головки партийцев ушел с поста наркомвоена и стал народным комиссаром путей сообщения.

Тут, в Москве, на Ново-Басманной, в здании НКПС, я не раз видел Троцкого. Привыкший ко всему «военному», он и тут действовал на военный манер: – часовые в коридорах, часовые у кабинета.

В мае 1920 года я был вызван Троцким по поводу назначения на работу по железнодорожному ведомству. Разговор ничем особым примечателен не был. Но от этого визита осталось ощущение, что

снятый с поста наркомвоена Троцкий уже на ущербе, затерт и поражен ленинцами.

Изменился и вид Троцкого, он сильно постарел, лицо бледно-желтое, пробилась сильная седина, было ясно, что сивку укатывали крутые горки. Популярностью на посту наркома путей сообщения Троцкий не пользовался. Видные коммунисты-железнодорожники, как всегда, считали его не своим, а спецы и низший технический персонал ненавидели за вводимые дикие террористические методы, за военизацию железных дорог. На железных дорогах Троцкий ввел подлинную аракчеевщину. Его чекисты, перешедшие сюда вместе с ним из военного ведомства, в смысле бессудных расстрелов творили нечто неописуемое. Военизация приводила к невероятному самодурству местных властей. Но в роли наркома путей сообщения Троцкий уже явно пел свою лебединую песню. Он падал медленно, но верно. Подпорка, в виде руки больного Ленина, уже ослабела, а самостоятельной силы удержать власть не было.

В то время, как за Лениным стояла вся партия, за Дзержинским вся ВЧК, за Сталиным сильная часть партии и даже за Зиновьевым в Петербурге была довольно крепкая группа лично ему преданных «зиновьевцев», за Троцким была пустота. Дара водительства у Троцкого не было.

В недрах большевиков Троцкий не свой, у него нет ни друзей, ни последователей. В массах, где когда-то Троцкий имел популярность, он ее сам давно потопил в крови расстрелов. В партии за Троцкого была лишь часть интеллигенции и одиночные военные, лично им выдвинутые, да группа чекистов, подобных Павлуновскому. Чтобы сыграть роль, этих сил было слишком мало. И в итоге оказалось, что все свои рулады Троцкий пропел соло, с закрытыми глазами, как глухарь на току.

Так, пролетев по большевицкому небу фейерверочной ракетой, с шумом, треском, пальбой, Троцкий все снижался и потухал. Наконец, перелетев границы России, ракета с шипением упала в воды у Принцевых островов и потухла.

Зиновьев

В первый раз я увидал Зиновьева в 1917 году в Совете Рабочих Депутатов, когда он произносил речь. Среднего роста, плотный, ожирелый, с откинутой назад вьющейся восточной шевелюрой Зиновьев не говорил, а кричал необычайно пронзительным фальцетом. Легкость речи его была удивительна. Казалось, Зиновьев может так говорить часами, днями, неделями. Охваченный ораторским жаром, иногда он казался на трибуне даже эффектным. Во всяком случае производил впечатление и темпераментного и убежденного человека.

Позднее, когда мне пришлось встречать Зиновьева в кругу видных питерских большевиков, я замечал, что очень многие (напр., Стучка, Крестинский, Коллонтай) к этому «убежденному большевику» относятся не только без всякого пиетета, но и с плохо скрываемым раздраженным неуважением. При разговорах с этими людьми о Зиновьеве, часто приходилось видеть брезгливое пожимание плечами, иногда с добавлением «нечистый человек».

Но таково отношение к Зиновьеву было только в головке питерских большевиков, в широких же слоях партии и среди революционно-настроенных рабочих Зиновьев пользовался тогда несомненным большим влиянием и все его выступления проходили неизменно с шумным успехом.

Речи Зиновьева были совсем непохожи на речи Ленина и Троцкого. Ленин вообще не обладал ораторским дарованием, к тому же Ленину всегда была нужна аудитория, которая к его идеям была хотя бы минимально подготовлена. Не рассчитаны на самые последние ряды галерки бывали и речи Троцкого. Речи же Зиновьева были как раз для галерки. Зиновьев был демагогом черни.

Рассказывают, когда Ленин задолго до революции на эмигрантском собрании, впервые услыхал визгливый фальцет, произносившего речь Зиновьева, он сразу же обратил внимание на экспансивного молодого человека и приблизил его к себе, как могущего стать «первоклассным агитатором». С тех пор близость Зиновьева к Ленину никогда не порывалась. А после октябрьской революции именно Ленин выдвинул Зиновьева на руководящий

пост в Петербурге, где с отъездом Совнаркома в Москву, Зиновьев стал полновластным диктатором Петрокоммуны.

Для определения размеров власти Зиновьева в Петрограде надо сказать о том, какими учреждениями осуществлялась тогда вообще власть большевиков в революционной столице. Тогда, в Петрограде было три сорта коммунистических учреждений олицетворяющих власть.

Первым был Совет Рабочих Депутатов, деливший Петроград на районы (Нарвский, Спасский, Василеостровский и другие, соответственно прежним полицейским частям). В районах действовали районные советы. Разумеется, компетенция их никаким законодательством ограничена не была и советы занимались всем, чем хотели: реквизицией зданий, мобилизацией населения на работы, обложением налогами, арестами и пр.

Вторым учреждением, олицетворяющим власть, была – партия, в лице Питерского Комитета, имевшего также районные комитеты. Круг действий районных комитетов был аналогичен кругу действий районных советов; их функции почти всегда переплетались, создавая тем невообразимую неразбериху.

Третьей властью в столице был Совет Народных Комиссаров. Правда, название «народных», по приказу из Москвы, очень скоро было отменено и питерские комиссары стали просто «комиссарами» Петрокоммуны. Деятельность этого наивысшего органа власти сплеталась тоже с деятельностью Совета Депутатов и с работой Комитета партии. И вся хаотичность работы этих трех учреждений триедино скреплялась только личностью Зиновьева, который в своем лице объединял все три учреждения. Зиновьев был председателем Совета Комиссаров, председателем Совета Рабочих Депутатов и председателем Питерского Комитета партии, являясь таким образом абсолютным диктатором Петрограда и Петроградской области.

В Смольном, в кабинете Зиновьева, сосредоточивалось всё. Окружали Зиновьева следующие лица: Комиссаром народного хозяйства был Молотов. Этому небольшому безличному человеку с плоским, невзрачным лицом в то время никто бы не предсказал его головокружительной карьеры. На больших собраниях сильно заикавшийся Молотов не выступал. Собственных идей не имел, за ис-

ключением одной. Молотов носился тогда с идеей «всеучета». И надо сказать, в этой «гениальной идее» было что-то от «идей» капитана Лебядкина. Молотов хотел «учесть в России решительно все», от запасов сырья, оборудования фабрик, транспорта, военного снаряжения до площади квартир и всей «движимости», имеющейся на руках всего населения. В его предложениях идея «всеучета» приобретала настолько юмористический характер, что Зиновьев всегда снимал ее с обсуждения.

Комиссариат внутренних дел Зиновьев отдал одной из своих жен – г-же Равич. Говорят, что в частной жизни Зиновьев был хорошим семьянином. Во всяком случае, придя к власти, Зиновьев сразу же позаботился о постах для своих обеих жен. Правда, «сексапильная» дама, г-жа Равич, делами своего комиссариата почти не занималась, да, вероятно, и не имела к этому данных, зато большую роль она играла в Питерском Комитете партии, где была секретарем и, так сказать, верным «оком и ухом» своего мужа.

Своей первой жене, престарелой Лилиной, Зиновьев отдал комиссариат социального обеспечения. В противоположность Равич, Лилина была антипатичной, увядшей женщиной лет 55-ти, чрезвычайно желчной и раздражительной. Административных дарований у нее было не больше, чем у второй жены, но она была старым партийным работником, а потому имела вес и сама по себе и, в особенности, как жена Зиновьева.

Комиссаром городского хозяйства (должность в те времена глубоко номинальная) был М. И. Калинин. Ввиду его дальнейшей карьеры на нем хочется остановиться. Тогда, в продолжении двух лет, я чрезвычайно часто встречался с Калининым. В Совете комиссаров, в Совете депутатов, в Комитете партии, везде Калинин был абсолютно безгласен. Крайне невзрачного мужичка не замечал никто и не по какой-нибудь злонамеренности, а просто потому, что его, действительно, нельзя было заметить, настолько сер и даже как-то несчастен был будущий президент Советского Союза. Зиновьев третировал Калинина, как хотел, и употреблял его только на единственное амплуа: – если где-нибудь в городе возникал какой-нибудь конфликт, Калинин посылался туда и опять-таки не из-за дипломатических способностей Калинина, а всецело из-за его декоративной

крестьянской внешности. На ней-то Калинин, как известно, и сделал карьеру.

Зато человеком совсем другого склада был комиссар печати Володарский. Разбитной, наглый парень из портных, Володарский был весьма энергичен и к тому ж недурной оратор. Среди своих он был всегда любитель анекдота и «душа общества», во внешнем же мире появлялся, как фигура крайне свирепая и Зиновьев выбрал его, чтобы задушить печать.

Володарский создал «трибунал по делам печати», председателем которого был назначен рабочий Зорин. Между Зориным, рабочим от станка, вовсе нежелавшим никакого удушения печати и Володарским, действительно душившим печать, вспыхивали частые раздоры и всегда по одному и тому же поводу. Зорин ни за что не хотел соглашаться с «предрешенностью» приговоров трибунала. В Зорине жил еще призрак «свободы» и на безапелляционные указания Володарского закрыть такую-то газету Зорин вспыхивал и кричал: – «Не буду закрывать! Если хочешь все закрыть, так и объяви, что все закрываешь!» Но в такие моменты в спор вмешивался Зиновьев, и все кончалось все-таки тем, что в трибунале Зорин объявлял очередной приговор о закрытии той или другой газеты.

Остальное окружение Зиновьева составляли – Урицкий, председатель ЧК, в распоряжении которого была так называемая «волчья сотня Урицкого», с бору с сосенки набранный охлос, действовавший не только в столице, но и в прилегающих к Питеру районах; Луначарский, Залуцкий, Марков, Позерн, Бадаев и три левых с.-р. Из всех этих «министров» революционного Петрограда диктатор Зиновьев был самой колоритной фигурой. Иногда, глядя на Зиновьева, мне казалось, что в этом разжиревшем человеке с лицом провинциального тенора и с длинной гривой вьющихся волос, проснулся какой-то древний восточный сатрап. В периоды опасности (октябрьская революция, восстание Кронштадта, наступление Юденича) Зиновьев превращался в дезориентированного, панического, но необычайно кровожадного труса. В периоды же спокойного властвования Зиновьев был неврастеничен, безалаберен и, в противоположность многим старым большевикам, не имевшим вкуса к плотским «прелестям жизни», Зиновьев с боль-

шим удовольствием предавался всем земным радостям. Хорошо выпить, вкусно поесть, сладко полежать, съездить в театр к красивым актрисам, разыграть из себя вельможу и мецената, все это Зиновьев чрезвычайно любил и проделывал с большим аппетитом.

В то время, как при Ленине в Петербурге частная сторона жизни комиссаров в Смольном была в полном небрежении, при Зиновьеве на нее сразу же было обращено сугубое внимание. По его личному распоряжению в Смольном стали даваться, так называемые комиссарские обеды, которые не только уж на фоне революционного всеобщего недостатка, но и в мирное-то время могли бы считаться лукулловскими. Только когда в столице голод принял чрезвычайно сильные размеры, комиссары стали указывать Зиновьеву на неудобство в Смольном этого «гурманства» и «шика». И Зиновьев приказал перенести комиссарские обеды в «Асторию», гостиницу целиком занятую коммунистической знатью, где подобные «отдыхи» могли проходить более незаметно.

Говоря о трусости Зиновьева, надо сказать, что в Смольном он ввел необычайную охрану. У входа в Смольный сидели бессменные пулеметчики за двумя пулеметами. Пропуска всех контролировались не только при входе в здание, но еще на каждом этаже. В смысле «охраны» был образцовый порядок. Зато на заседаниях комиссаров у Зиновьева беспорядок достигал апогея. Митинговый демагог и мастер интриги, как организатор Зиновьев был очень слаб. Заседания совета в Смольном происходили в бывших институтских классах, где попало, не имелось даже определенной комнаты. На заседаниях Зиновьев говорил очень мало, вел заседания безалаберно, протоколы составлялись уже после заседаний секретаршей Красиной (у Сталина попавшей в тюрьму). Одним словом, с педантической аккуратностью Ленина у Зиновьева не было ничего общего. Зиновьев был «на коне» только в демагогических выступлениях и в темноте интриг.

Зато как в демагогии, так и в интриге Зиновьев был мастер. От природы необычайно хитрый и ловкий, Зиновьев тут возвышался до большого мастерства. Особенно памятна мне игра Зиновьева с левыми эсэрами накануне их восстания, когда на областном съезде большевиков и левых эсэров, Зиновьев, ненавидевший левых эсэров

и ждавший только случая перегрызть им горло, вдруг выступил с предложением увеличить число мест левых эсэров в Совете Комиссаров и, в частности, назначить левого эсэра Лапиера на место комиссара путей сообщения.

Этому предложению все комиссары-большевики были крайне удивлены. И на ближайшем заседании Совета Комиссаров несколько из них подошли к Зиновьеву, спрашивая, что сей сон означает? Хитро улыбаясь, Зиновьев увел спрашивавших в свой кабинет, сообщив под величайшим секретом, что у него имеются сведения о готовящемся восстании левых эсэров, но что меры им уже приняты и он хочет только своим предложением усыпить бдительность левых эсэров.

Действительно, назначенное левыми эсэрами выступление Зиновьев предупредил полным разгромом их штаба. В этот день ранним утром правая рука Зиновьева, комендант Петрограда, приехавший в Россию из Америки полубандит-полуанархист, действовавший под псевдонимом «Владимир Шатов», уже оцепил Садовую улицу и с отрядами большевиков пошел «штурмом» на Пажеский корпус, где помещался штаб левых эсэров, причем штурму предшествовал обстрел здания из подвезенных орудий. Штаб левых эсэров был быстро взят и Штейнберг, Лапиер и другие засевшие в корпусе левые эсэры, бежали. Зиновьев потирал от удовольствия руки.

Но не только в отношении к врагам Зиновьев был беспощаден. В отношении к людям вообще в характере Зиновьева были преувеличенная подозрительность и недоверчивость. Зиновьев доверял только своим двум женам. Всех же других он мог выдвигать на видные места, но тут же и сбрасывать в неизвестность. В отношении же врагов Зиновьев проявлял исключительную жестокость.

Разумеется, никто из вождей коммунизма не отличался ангельской добротой к «человеку». Но жестокость их была разная. У Ленина она покоилась на полной безынтересности к людям вообще. Троцкий был жесток для жеста, для позы. В Зиновьеве же было что-то эмоционально-жестокое, я бы сказал даже, садистическое. В Петрограде именно он был вдохновителем террора.

Помню два случая. Однажды в августе 1919 года по делам службы я был в кабинете Зиновьева, когда туда пришел председатель

петербургской ЧК Бакаев. Бакаев заговорил о деле, сильно волновавшем тогда всю головку питерских большевиков. Дело было в следующем. Одна пожилая женщина, старая большевичка, была арестована ЧК за то, что при свидании с знакомой арестованной «белогвардейкой» взяла от нее письмо, чтобы передать на волю. Письмо было перехвачено чекистами. Дело рассматривалось в ЧК и вся коллегия во главе с Бакаевым высказалась против расстрела этой большевички, в прошлом имевшей тюрьму и ссылку. Но дело дошло до Зиновьева и Зиновьев категорически высказался за расстрел.

В моем присутствии в кабинете Зиновьева меж ним и Бакаевым произошел крупный разговор. Бакаев говорил, что если Зиновьев будет настаивать на расстреле, то вся коллегия заявит об отставке. Зиновьев взъерепенился как никогда, он визжал, кричал, нервно бегал по кабинету и на угрозу Бакаева отставкой заявил, что если расстрела не будет, то Зиновьев прикажет расстрелять всю коллегию ЧК. Спор кончился победой Зиновьева и расстрелом арестованной женщины на Охтенском полигоне, где обычно расстреливали добровольцы-железнодорожники Ириновской дороги.

Другой случай таков. В дни наступления Юденича на Петроград, в моем присутствии Зиновьеву однажды доложил «начальник внутренней обороны Петрограда» известный чекист Петерс, что чекистами пойман человек, вероятно, белый, перешедший границу с целями шпионажа. Помню, как у Зиновьева вдруг как-то странно загорелись глаза и он заговорил отвратительной скороговоркой:

– Это прекрасно, прекрасно, вы его, товарищ Петерс, пытните, как следует, все жилы ему вымотайте, всё, всё из него вытяните.

Зиновьев в этот момент был необычайно отвратителен.

Но при всей своей хитрости, ловкости и мастерстве интриги, что-то все-таки помешало Зиновьеву вовремя разглядеть сложный клубок партийных интриг, ведшихся в Москве вокруг заболевшего, сдававшего Ленина. Зиновьев промахнулся, недооценив силы Сталина. Мне запомнилась одна встреча этих людей.

Помню, летом 1919 года между первым и вторым наступлением Юденича, в Смольный к Зиновьеву приехал из Москвы член реввоенсовета Сталин для обсуждения вопросов, связанных с эваку-

ацией Петрограда. На это совещание я был вызван Зиновьевым, ибо вопросы эвакуации непосредственно касались моего ведомства.

Барственно и небрежно развалясь, Зиновьев сидел в массивном кресле, громко и резко говорил, страшно нервничал, то и дело откидывая со лба космы длинных волос. Сталин ходил по кабинету легкой кавказской походкой, не говоря ни слова. Его желтоватое, чуть тронутое оспой лицо выражало какую-то необычайную скуку, словно этому человеку все на свете давно опротивело. Только изредка он задавал односложные вопросы и эта односложность и неясность позиции самого Сталина в вопросе об эвакуации Петрограда, на которой настаивал Зиновьев, последнего еще больше нервировала и горячила. Но Сталин так и промолчал все заседание, закончив его односложной репликой:

– Обдумаю и скажу, – и вышел от Зиновьева.

По уходе Сталина Зиновьев пришел в совершенно необузданное бешенство. Человек неврастенический, Зиновьев сейчас кричал и на Сталина и на ЦК, который не мог прислать к нему никого другого, а «прислали этого ишака!» Этот сочный эпитет Зиновьев в своем бешенстве варьировал на все лады, разумеется, не предполагая, что вот именно этот «ишак» после смерти Ленина и окажется самым сильным человеком в партии и через пятнадцать лет посадит Зиновьева в тюрьму, как «белогвардейца» и «Контрреволюционера».

Зиновьев пал по той же причине, что и Троцкий. У обоих, по смерти Ленина, без его «поддерживающей руки», самостоятельных сил не было».

Мои записи воспоминаний А. Д. Нагловского были напечатаны в «Современных Записках» (кн., 61, 62). Но – я удивился – с сильными сокращениями, Через некоторое время удивление мое, как будто, разъяснилось. Как-то в помещении Архива Николаевского я встретил М. В. Вишняка (члена редколлегии «Сов. Запп.»). Мы не были знакомы. Борис Иванович познакомил нас. И вдруг Вишняк с места в карьер говорит: «Читал ваши записки воспоминаний Нагловского. В целом, конечно, небезинтересно (со снисхождением говорит!), но я нахожу, что *так писать* все-таки нельзя». Я не по-

нял. «Как?» – говорю. «Ну, некоторые места, по-моему, неудачны, ну, например, о Зиновьеве *так* все-таки писать нельзя...». Я как будто стал понимать. Но, чтоб уточнить, переспрашиваю: «О Зиновьеве? Да Зиновьев же самый настоящий прохвост...» – «Ну, да, прохвост, но *так* все-таки писать нельзя...». На этом разговор как-то оборвался, Вишняк сел за стол работать.

Идя домой, я всё думал, что это за притча такая? Завзятый антибольшевик, завзятый эсэр, секретарь двухдневного Всероссийского Учредительного Собрания, счастливо и случайно бежавший в Москве из-под большевицкого ареста и скрывшийся, М. В. Вишняк вдруг «запрещает» *так писать.* О ком? О настоящем, кровавом мерзавце, большевике Зиновьеве!? Неужели, думаю, только потому, что Зиновьев – еврей (Радомысльский) и Вишняк, как еврей, считает, что подавать Зиновьева во всей его «красе и прелести», значит, – «сеять антисемитизм»? Я знал, что и такая точка зрения существует. Но эту точку зрения считал и считаю *совершенно порочной.* Президент Израиля Вейцман был прав, сказав: – «Разрешите и нам иметь своих мерзавцев». Я всегда «разрешал». Но теперь я догадывался, почему в «Сов. Зап.» многое смягчили или опустили вовсе. Наверное «надавил» Вишняк. Психологически Марк Вишняк был не похож на еврея Леонида Канегиссера, застрелившего омерзительного еврея-чекиста Моисея Урицкого. Позднее, в Америке в «Новом Журнале» я напечатал воспоминания Нагловского полностью, добавив весьма поучительную главу «Воровский в Италии». Поучительную потому, что эта глава рассказывает о наглых методах советского шпионажа в Западных странах. Тогда в Италии у Воровского главой шпионажа был известный чекист Яков Фишман, бывший левый эсэр, но после «покаянного письма» о своих «заблуждениях» дослужившийся в ВЧК до высоких постов.

Нищета и чудеса

В «Mémoires d’outre-tombe» Шатобриан подробно описывает, как он, будучи эмигрантом в Лондоне, голодал: – «...Голод меня пожирал; я сосал куски белья, которые мочил в воде; жевал траву, бумагу. Когда я проходил мимо булочных мои страдания были ужасны. В один такой мучительный зимний день я, как приросший, простоял два часа перед магазином сухих фрукт и копченого мяса, глотая глазами всё, что видел; я готов был съесть не только всю эту еду, но и упаковку, коробки, корзинки».

В Париже я не перед какими такими магазинами не стоял. Но мы с Олечкой достаточно хватили эмигрантской нищеты. В большом городе она начинается, когда не на что купить трамвайный билет. В дни этой бедности мы ели картошку и капусту, на это как-то хватало. За квартиру – не плачено за шесть месяцев. Это – привилегия парижан. В другом городе вас давно бы с полицией выкинули на улицу. А в Париже такая уж неписанная традиция: терпят. И правильно делают. В конце концов всегда приходит какое-то чудо[26] (и домовладельцы не в накладе). Конечно, время было неприятное. Консьержка (стервистая, чахоточная) будто норовила прищемить тебя дверью, бросая полные презренья взгляды.

Всё это происходило на рю де ля Конвансьон 158. Но что это была за квартира! Одна (небольшая) комната. Посредине (почти всю ее занимал) высокий, красно-полосатый, пружинный матрац на двоих, накрытый покрывалом. Этот «многоуважаемый» матрац приобрели на Блошином рынке. И Олечка долго возилась пока вывела из него керосином клопов. Кроме матраца в углу стоял колченогий стол, около него

---

[26] Приехал же через несколько лет Шатобриан французским послом именно в Лондон, где так «гомерически» голодал, жуя траву и бумагу.

два стула. В стену вделан шкаф (для белья, платья). Крохотная газовая кухонька (на двоих) примыкала к комнате. Все это – на 5-м этаже и если старенький, дребезжащий лифт отказывался вас поднимать, приходилось «итти ногами». Вот за эту-то «квартиру» мы и не платили шесть месяцев.

За колченогим столом я писал «Дзержинского», «Ораниенбург», статьи для «Иллюстрированной России», «Иллюстрированной Жизни», «Последних Новостей», «Современных Записок». За ним отделал рассказы гр. Л. Н. Воронцовой-Дашковой, Н. П. Саблина, А. Д. Нагловского.

Помню, зашел как-то в гости давний знакомый еще по Берлину, Давид Вениаминович Пружан. Мы встречались с ним у Станкевичей. Пружан – старый журналист, думский корреспондент «Биржевки» («Биржевых Ведомостей») и в Государственной Думе сидел в «черте оседлости», как иронически называли в Думе места для журналистов. Во Франции жил под Парижем, на собственной ферме. Все было в порядке.

Ну, сидим, разговариваем. Вдруг Пружан говорит: – «Гульчик, а хорошо бы чайку выпить!» (Меня он называл «Гульчик», а жену – Олечка). – «Конечно, – отвечаю, – недурно бы, да трудновато». Пружан как-то «остолбенел»: не понимает. Потом: – «Как, – говорит, – *чаю нет*?» – «Вот именно», – говорю я, смеясь. – «Да вы серьезно?» – Наконец он поверил и вдруг как-то застеснялся, начал что-то мямлить и вскоре ушел. А наутро мы получаем пакет: чай, сахар, печенье.

Но не единым чаем жив человек. И когда стало совсем невтерпеж, мы пошли к моей двоюродной сестре Ляле (дочь дяди Анатолия) и рассказали, как и что. Ляля была добрейшей душой. Была она замужем за художником Эдуардом Мейером, сыном профессора Казанского Университета, жили не Бог весть как, но не так, как мы. И тут же Ляля и Эдуард обязали нас ежедневно приходить к обеду и ужину. Так мы и

начали ходить к ним на рю Лакретель Пролонжэ. Но вскоре нищету сменили *чудеса*!

Чудо первое произошло так. Стучат в дверь. Отворяю. Какая-то быстрейшая «пневматичка» от Александра Тимофеевича Руденко. Вызывает немедленно. Добрался. Александр Тимофеевич радостно жмет мне руку, улыбается: – «Ну, ваши визы устроены, получите немедленно! Мутэ стал министром в кабинете Блюма. Я ему все рассказал. Он обещал позвонить министру внутренних дел Салангро, с которым хорош. Мутэ просит только, чтоб я вас завтра привез к нему в 10 утра и вы ему сами все расскажете. Обещал дать письмо, с которым вы и поедете к этому самому мсье Бланшару».

Как хорошо, что на свете, кроме стервистых консьержек, существуют еще Александры Тимофеевичи Руденки. Разумеется, в 10 утра мы были уже у Мариуса Мутэ, ставшего «министром колоний» в новом правительстве. Мутэ был известен, как «друг русской эмиграции». Он произвел на меня чудесное впечатление: прост, приветлив. Я все рассказал о своих прошениях о визах и об отказах. Он ответил: – «Будьте уверены, визы для вашей семьи вы немедленно получите. Я уже говорил с министром внутренних дел. Всё в порядке. Через два дня езжайте в Сюртэ Женераль с моим письмом к вашему «другу», – Мутэ улыбнулся, – мсье Бланшару. И дайте мне знать о результате».

Так первое «чудо» свершилось. Конечно, всякое чудо можно назвать какой угодно базаровской прозой: «стечением обстоятельств», «простой случайностью». Для меня это было «чудо». «Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог!». Я не знал, как благодарить А. Т. Руденко, а он только радостно отшучивался, говоря, что он тут совершенно не при чем. Забегая вперед, скажу о трагической смерти лейтенанта запаса французской армии мэтра Александра Тимофеевича Руденко. Когда нача-

лась война с Гитлером, Руденко был мобилизован, ушел на фронт и был убит, пытаясь поднять свою роту в атаку на наступающих немцев. Увы, французская армия была в полнейшем разложении. И в атаку поднялся только француз, лейтенант запаса Александр Тимофеевич Руденко, которого и изрешетили немецкие пули. А рота, отступая, бежала в беспорядке, как вся французская армия, нежелавшая сражаться...

Как сказал Мутэ, через два дня я приехал в Сюртэ Женераль с его письмом к мсье Бланшару. Боже мой, какой же он оказался очаровательный и любезный человек! И как это я не заметил этого раньше! Вероятно, раньше я «обознался». Бланшар любезнейше сказал, что визы уже ушли во французское посольство в Берлине и моя семья может получить их, когда захочет. Мсье Бланшар даже проводил меня до двери. И так мило сказал: «Au revoir, monsieur Goul!». Но никаких «оревуаров» я уж не хотел.

Я занял у Ляли деньги на телеграмму в Фридрихсталь, чтоб перекинуть туда мое первое чудо. Нищета, конечно, еще продолжалась. Но через несколько дней и тут произошло «чудо». В нашу «замечательную квартиру» раздался сильный стук в дверь в неурочное время. Отворяю. Срочный почтальон передает телеграмму из Лондона. Раскрываю: телеграмма в 52 слова! Читаю вслух и оба не верим в читаемое. Да, конечно, отчаянье всегда худший выход из положения. Оказывается, в самых отчаянных положениях человек обязан надеяться на... *на чудо*! И оно придет в самой скромной одежде.

Этой телеграммой меня немедленно вызывали в Лондон на работу в фильме Марлэн Дитрих, причем за баснословный (для меня!) гонорар. Телеграмма была от Лазаря Меерсона, который делал для этого фильма декорации. В ней говорилось, что режиссер фильма Жак Фейдер и «продюсер», знаменитый фильмовый «тайкун» Александр Корда обяза-

тельно хотят меня в качестве «technical advisor». И чтоб меньше, чем на 50 фунтов в неделю я не соглашался. Сие *повторялось трижды*! В Париже я немедленно должен ехать к представителю А. Корды Паллосу и подписать с ним контракт, чтоб не задерживаясь плыть в Лондон. Кончалась телеграмма: свяжись с Мэри, она всё знает.

Но «связываться» с Мэри не было надобности. Через час в дверь квартиры опять раздался стук и почтальон передал «пневматик». Мэри немедленно вызывала на Монпарнас, в кафе «Дом». Приезжаю «немедленно». Мэри сидит на своем традиционном месте, улыбается. «Я, – говорит, – всё знаю. Меерсон (она его всегда так называла) мне рассказал всё по телефону, и вы, Роман, должны завтра же ехать к Паллосу». Отвечаю, что, конечно, поеду, но 50 фунтов в неделю (фунт стоял тогда очень высоко) я просто выговорить не смогу. «Не валяйте дурака! Требуйте 50 фунтов! Меерсон говорит, что Фейдер прочел по-французски ваш роман и настаивает на вашем немедленном приезде. Только в таком виде «скромного труженика» вы не можете ехать к Паллосу. Поедемте сейчас же ко мне, я вам дам прекрасный костюм Меерсона, рубаху, галстук и тогда отправляйтесь за 50-ю фунтами в неделю».

Поехали с Мэри в их белую студию у парка Монсури. Меерсон был физически плохо сложен и никакими костюмами эту нескладность было не скрыть. На мне же его костюмы были, как по заказу, что невропата Лазаря даже приводило в раздраженье. «Почему мои костюмы на тебе сидят лучше чем на мне, как на тебя шитые?» – «А это тайна природы». Мэри вынула прекрасный сероватый какой-то «в диагональ» костюм, две «тонкие» рубахи от Диора и чудеснейший шерстяной серо-голубой галстук. Когда я всё это взял, говорю: – «Ну, это просто не на 50, а на все 100 фунтов в неделю!». Дала Мэ-

ри и денег на непредвиденные расходы. И в таком костюме я назавтра был уже у Паллоса возле Елисейских Полей.

Очень было трудно мне выговорить эти самые «50 фунтов». Я бы и за 5 фунтов поехал с восторгом. Но телеграмма *требовала*. И ничего не поделаешь. Паллос, верткий делец, как и Корда, венгерский еврей, встретил меня очень любезно, сразу сказав, что получил от Александра Корды телеграмму обо мне, по которой я должен работать в фильме, как «technical advisor». Паллос сказал, что контракт он уже приготовил, по которому мне дадут въездную и выездную визы, и спросил наконец, сколько же я хочу получать в неделю? Я выдавил из себя (вышло вполне естественно): – «Ну, 50 фунтов». – «О, нет, мсье Гуль, это много, знаменитый Фернанд Лежэ тоже сейчас работает у Корды в другом фильме и получает 20 фунтов в неделю». Конечно, знаменитым художником Фернандом Лежэ Паллос меня несколько сбил, но не убил. – «Нет, – говорю, – за такую сумму я поехать не могу». – «Ну, я предлагаю вам 25 фунтов», – проговорил Паллос. «Господи, подумал я, да для меня это же целое состояние!». Но голосом, которым я остался вполне доволен, сказал: – «Нет, мсье Паллос, чтоб нам долго об этом не говорить, давайте подпишем на 40 фунтов в неделю». Довольно неожиданно для меня Паллос ответил: – «Знаете, мсье Гуль, я предлагаю 35 фунтов в неделю!». Тут уж я сопротивляться не мог (не могу «играть не свои роли»). И сказал: «Хорошо, пусть будет 35». В мгновенье ока мы подписали контракт на два месяца, по 35 фунтов в неделю. А проработал я 6 месяцев.

В нашей омерзительной «квартире» Олечка ждала меня в большом волнении. Когда я вошел: – «Ну, как?» – бросилась ко мне. – «35 фунтов в неделю!» – сказал я, обнял ее и расцеловал. – «Ну, и очень хорошо!» – обрадовалась Олечка и смеялась, радостная, второму совершившемуся чуду. Нищета кончалась, и семья приезжает.

Взяв у Мэри деньги под будущий гонорар, мы расплатились с консьержкой за шесть неплаченных месяцев. И стервистая консьержка, получив чрезмерный «пурбуар», сразу превратилась в херувима. Теперь она уж не только не норовила прищемить нас дверью, а широко открывала ее, говоря самые ласковые «бонжур'ы, бонсуар'ы и комман т'аллэ ву».

В Англии

Переправа через Ла-Манш была бурной. Газеты писали, что за 50 лет в проливе не было такой бури, ибо дули «перпендикулярные» ветры-штормы (северо-южный и западно-восточный) и наше утлое судно трещало так, будто вот-вот развалится. Пассажиры лежали полумертвые, кто на койках, кто просто на полу. И только стюарды (чему я поражался) эквилибристически ходили среди пассажиров-трупов, помогая чем нужно. Но до Саутхэмптона мы все-таки дошли.

И вот я иду уже по Лондону, по Оксфорд-стрит. И меня охватывает необычайное чувство какой-то полной и странной уверенности во всем. Анархический Париж, бессмысленная толчея неврастенического Монпарнаса – позади. Я чувствую полное душевное отдохновение. «Английская почва» тверда, пряма, тут ты «никуда не оступишься, не провалишься». Никто (как в Париже) тебя не толкнет, не заденет. В Лондоне (и во всей Англии, наверное) словно разлита разумность, ясность, доброжелательство.

В первые дни меня поразило «джентльменство» бриттов, увиденное «в пустяках». Не зная английского, я разыскивал знакомого, написавшего адрес на клочке бумаги. Улицу, мне казалось, я нашел. Но дом с таким номером – хоть убей – не мог. Я стал приходить уж в отчаяние. Улица, как назло, пустынна. Вдруг вижу, по другой стороне идет какой-то средней руки англичанин. Я – к нему. Сказал, что английского не знаю, и показываю нужный мне адрес. Он добродушно сме-

ется и говорит, что это не здесь. Далее он берет меня за локоть и с бумажкой в руке ведет совсем в противоположную сторону. Так, молча, мы прошли квартала два, он подвел меня к нужному дому, поднялся со мной по каменной лесенке к звонку, позвонил. И только, когда входная дверь открылась, сдал меня на руки отворившей прислуге. Я благодарил, как мог. А он засмеялся и пожелал мне «гуд бай!» Если б это было в Париже, я почти наверное наткнулся бы на грубое «j'chais pas!». На эти «шэ па» я нарывался не раз. Уличные французы почти всегда грубы и «погибающим» иностранцем никак не заинтересуются. И в Германии этого доброжелательства к первому встречному не было.

Второй случай джентльменства среднего бритта был еще удивительней. Я заболел кашлем. Доктор что-то прописал. И я пошел в аптеку. Фармацевт стал мне объяснять, что у них этого лекарства нет (это я с грехом пополам понял). Но, вероятно, на моем лице было такое незнание, что же мне делать, что фармацевт вдруг вышел из-за прилавка, взял меня за руку, вывел на улицу и стал показывать на какую-то голубую вывеску (это я понял), говоря, что там это лекарство я наверное найду. Я пошел на голубую вывеску (полквартала) и увидел, что это тоже аптека. Вошел. Дал рецепт. И купил нужное. Внутренне я был поражен тем, что аптекарь послал меня к своему конкуренту-аптекарю. И это было, конечно, джентльменство.

Меерсон жил в дорогой зеленой части Лондона – Хемпстеде, в чудесном особнячке. Платил очень много, потому что у Мэри и Лазаря обязательной нормой жизни был снобизм. Но в комфортабельном особнячке я переночевал только ночь. На следующий день милая шотландка, миссис Литтль (наша хорошая знакомая по Парижу) нашла мне в том же Хемпстеде на Александра Роуд дешевый пансион (крохотная комната с завтраком) у двух русских евреек, давно ставших лондонками.

Миссис Литтль была одинока, свободна и с удовольствием стала моим «опекуном» и гидом по всем достопримечательностям британской столицы. Конечно, мы были на разводе караулов у Сент-Джеймского дворца – видели этот подлинный «солдатский балет». Посмотрели снаружи и Букингемский дворец. Были и в Сохо, во французском ресторане, и – на Пикадилли в каком-то фешенебельном отеле. Были, разумеется, и в Гайд-Парке. Тут меня, «большого любителя свобод», привлекли и ораторы – «поднимайся на возвышение и говори что хочешь!» – а тебя слушает окружающая каждого оратора небольшая, но всё-таки толпа. Английского, повторяю, я не знал. С миссис Литтль говорили по-французски. Но «мой гид», старая лондонка, все мои восторги «свободы» сразу разбила. – «Мсье Гуль, – сказала она, – это все так только кажется: для туристов. На самом деле, ораторы Гайд-Парка – маньяки, охваченные какой-нибудь самой нелепой, а подчас даже дикой идеей, которую они приходят сюда «проповедовать» – «Но их же слушают? Стало быть, это не нелепо?» – «Ах, никто их не слушает, люди, окружающие ораторов – преимущественно персонажи, заводящие в толпе «ненормальные знакомства». Так разбилась моя любовь к «свободе мысли и слова» в Гайд-Парке.

Были мы, конечно, и в Британском Музее, гуляли по берегу Темзы, заполненной разнообразными баржами, яхтами, кораблями. Были в старинном соборе Св. Павла. Только в Вестминстер почему-то не попали. Зато ездили в Оксфорд, Кембридж, Виндзор полюбоваться британской стариной колледжей и замка.

Разумеется, по приезде в Лондон мне надо было «одеться» соответственно с общением с такими людьми, как Жак Фейдер, сэр Александр (Корда), Марлен Дитрих, Роберт Донат и прочие звезды и полузвезды экрана. Миссис Литтль, как истая шотландка, повезла меня «только в Скотч-Хауз». Там я и приобрел твидовые и нетвидовые костюмы, купил

соответственные «моему обществу» пальто и шляпу. Вообще, с 35 фунтами в неделю всё обстояло легко. Иногда, по делам фильма, с шофером-англичанином я ехал по Лондону в комфортабельном «казенном» автомобиле «Лондон Филмз Продакшен Компани», вспоминая, что несколько дней тому назад в Париже у меня не было денег даже на трамвай. А вот еду по Лондону «заправским буржуем».

Но приятные прогулки, поездки, завтраки, обеды с миссис Литтль были только по субботам и воскресеньям. Всю неделю я интересно работал в студиях Денама (Denham) в «Лондон Филмз Продакшен Компани» в т. н. «британском Голливуде на Темзе», который выстроил под Лондоном феноменальный делец Александр Корда на архимиллиарды знаменитой страховой компании «Пруденшел».

Каждое утро после чудесного английского брекфаста (крепкий чай с молоком, яйца, поджареный бекон, теплый хлеб, масло, мёд и прочие вкусности) я ждал у своего дома мистера Трендела. М-р Трендел оказался очень приятным господином. Истый англичанин, он называл себя «гражданином мира», ибо долго живал в Европе. Свободно владел французским, и поэтому он был приставлен к Жаку Фейдеру (говорившему по-английски плоховато). На съемках Трендел ни на шаг не отходил от своего патрона. За мной Трендел приезжал в крохотном красном автомобильчике для двоих и мы, выехав из столицы, неслись в потоке машин в Денам.

Часто на этом шоссе все машины перекрывал, будто по воздуху несшийся, черный, громадный, блестящий роллс-ройс. Это Марлен Дитрих на своей, привезенной из Америки машине, со своим же шофером (тоже во всем черном) мчалась в Денам на съемки «Knight without armor». За ее участие в этом фильме Корда должен был уплатить не менее не более, как 350 тысяч долларов. Гонорар неслыханный, но, по расска-

зам Трендела, сто тысяч долларов Корда так ей и не доплатил, что вполне было в нравах этого фильмового «тайкуна».

Трендел был очень разговорчивым, симпатичным человеком и отношения у нас установились дружеские. Он постоянно рассказывал мне всякие истории о том, как умен, ловок и деловит Александр Корда, бедный венгерский еврей по фамилии Кельнер, ставший мировым фильмовым воротилой. Теперь он «дружил» и с Уинстоном Черчиллем, у которого, зная заранее, что не будет «крутить» такой фильм, все-таки купил права на «Лайф оф Мальборо» и, нуждавшийся тогда в деньгах, Черчилль «тайно» даже писал соответственный скрипт за десять тысяч долларов. Дружил Корда и с Уэллсом, сына которого взял в Денам художником, помощником Меерсона; и с лордом Бивербруком, и с Робертом Шервудом, не говоря уж о фильмовых «звездах»: Лоуренс Оливье, Чарлз Лоутон, Ральф Ричардсон, Вивьен Хейг, Мерль Оберон и другие. Так никому неведомый Александр Кельнер стал не только легендарным фильмовым «тайкуном», знаменитым Александром Кордой, но был возведен и в рыцарское достоинство со званием «сэра»: сэр Александр.

В Denham

Свою работу в Денам я начал со знакомства с Жаком Фейдером (Feyder), только что прогремевшим постановками – «Ле гран Жё» и «Кермесе Эроик». Я сразу увидел, что Фейдер – симпатичный человек (настоящая фамилия его – Фредерикс, по рождению он был бельгиец). Я как-то спросил его: «А вы знаете, что при русском царском дворе был некий Фредерикс? Даже министр двора...». Фейдер рассмеялся: «Знаю, знаю, говорят, большой был осел...». Фейдер был артист до мозга костей. По виду – страшно худ, бледен, очень живой, говорил, сопровождая сказанное чрезвычайно характерными жестами. Встретил он меня радостно, предупредив,

что у меня будет много работы, потому что он не хочет, чтоб его «высмеяли в Польше». В Польше тогда шли европейские фильмы и поляки, конечно, поняли бы и высмеяли всякую русскую «развесистую клюкву». А «Knight without armor» – был из русской жизни, из времен революции. Я клятвенно обещал, что полякам «его фильм высмеять не удастся», за это ручаюсь.

Рассказал Фейдер, как произошло мое «чудо» – приглашение в «технические советники». Известная французская драматическая артистка, долго выступавшая в Комеди Франсэз, Франсуаз Розе, жена Фейдера, выслала мужу из Парижа несколько «нужных для его фильма книг». И среди них был мой «Азеф» по-французски, изданный у Галлимара под заглавием «Lanceurs de bombes» («Бомбометатели»). Но по недосмотру издательства на титульном листе было напечатано «перевод с немецкого». Помню, я поехал тогда к Галлимару, чтоб «устроить скандал», требуя перепечатать титульный лист. Но милейший Брис Паррэн, тогдашний директор издательства, свободно говоривший по-русски (женатый на русской – Челпановой, дочери известного московского профессора), уломал меня всякими «вескими» доводами. Перевод на французский Н. Гутермана был очень хорош, и Фейдер, прочтя книгу, как он говорил, «залпом», пошел тут же с «Азефом» к Меерсону, сказав: «Лазарь, вот этого немца я обязательно хочу достать как «техникал адвайзора». Взяв книгу, Меерсон залился смехом (по рассказу Фейдера): «Да это же вовсе не немец, а русский, мой друг, которого мы немедленно можем вызвать телеграммой». «Я был в восторге! – говорил Фейдер, – и мы, с согласия Корды, послали вам телеграмму». Это и была телеграмма в 52 слова с требованием «не соглашаться меньше, чем на 50 фунтов в неделю».

В первый же день Фейдер повел меня «представиться» Александру Корде. Корда произвел выгодное впечатление.

Очень высокий, худой, умное, «неординарное» лицо, дорого-небрежно одетый, прекрасно говорил по-французски. Сказал мне все «нужные аншантэ», выразив уверенность, что я буду прекрасным «техническим советником». Мы долго не задерживали миллионера-тайкуна, который, как говорил мне Фейдер, на постановку «Knight without armor» получил не более не менее как 3 миллиона фунтов стерлингов. Цифра по тем временам астрономическая. И мне, конечно, нужно было настаивать на 50 фунтах в неделю, которые я без сомнения и получил бы, ибо эти миллионы (как я увидел за шесть месяцев работы), расхищались как попало.

Фильм «Knight without armor» ставили по роману английского писателя Джемса Хилтона. Сюжет из времен русской революции. Была в нем, конечно, и «графиня Александра» (Марлен Дитрих) и ее отец, министр внутренних дел, на которого покушаются террористы (копия с убийства Плеве из романа «Азеф»). Но министр (по ходу сценария) был только ранен. Лошади же были убиты. Откуда-то достали четырех кляч и убили для съемок. Этих кляч мне было жаль.

Меерсону было раздолье: он строил и дворянскую усадьбу по фотографии знаменитого именья Юсуповых «Архангельское»; и русский уездный городок; и русскую железнодорожную станцию. Все это влетало в большую копеечку, но на миллионы «Пруденшэл» можно было порезвиться. На съемках – сцены переигрывались десятки раз. И на это никто не обращал внимания.

Я был должен следить за правильностью костюмов отдельных актеров и революционной толпы, громящей именье «графини Александры». Для большевицкого комиссара Олечка прислала экстренно из Парижа выкройку «толстовки», так как Фейдер обязательно хотел обрядить именно в нее большевика-комиссара. В те годы (1936) люди не носили бород и бакенбардов, ходили бритые, и студийные парикмахе-

ры пришли в замешательство с «русскими» бородами и усами. Для сего я достал книгу портретов членов четырех русских Государственных Дум. Теперь парикмахеры были в полном восторге, преображая строгость английских лиц русскими бородами, усами, а иногда и бакенбардами. Для форм Белой Армии я экстренно выписал из Парижа от моего друга-однополчанина (корниловца) Димы Возовика его превосходный альбом фотографий Белой армии. Ему, конечно, за это хорошо заплатили. И как только я раскрыл альбом перед Фейдером он, увидев первым генерала Врангеля в черкеске, тут же ткнул в него пальцем, сказав: «Непременно хочу, чтоб было вот это! Что это такое?». Я объяснил, и черкески были сшиты. Понравилась Фейдеру и корниловская форма – черная с белым кантом и шевроном на рукаве «череп и кости». Я работал с увлечением. Фейдеру моя работа нравилась, он чувствовал, что теперь его уж никак не «высмеют в Польше». И от парикмахеров я переходил к студийным портным, через Трендела объясняя, что тут изображено на фотографиях. Портные понимали с полуслова. Часть грабящих имение «графини Александры» я одел в матросскую форму с надписью на околышах «Аврора». Вообще всё шло гладко и интересно. С Фейдером мы очень подружились.

С Марлен Дитрих я познакомился в первые же дни, в студийном ресторане за завтраком. Фейдер представил меня Марлен. Надо отдать справедливость: первая женщина в мире, надевшая мужские штаны, была интересна. Она была одета элегантно: в какую-то полумужскую куртку цвета «беж» и в такие же заглаженные складкой штаны. В разговоре (свободно говорила по-французски) была проста особой простотой знаменитости. С ней сидела русская девушка, эмигрантка Тамара Матуль, которую я знал по Парижу. Отец ее был московский купец (немецкого происхождения). Я встречал их у общих знакомых (тоже бывших московских купцов Ильвов-

ских). Я поздоровался и с Тамарой. Сказали какие-то незначительные слова. Тамара – бледная, с большими темными глазами, производила странное впечатление. Начала она в Париже с кордебалета, но дело не шло, пока не встретила Марлен, которая к ней глубоко привязалась и взяла под свою опеку. Вскоре Тамара вышла замуж за первого «законного» мужа Марлен – за Руди Зибера. Газеты писали об «интимном квартете»: – Марлен, Тамара, Руди и фон Штернберг. Но длительно такой супербогемной жизни Тамара, вероятно, выдержать не могла. Она сошла с ума и скончалась в доме для умалишенных.

На Рождество Марлен сделала подарки всем сотрудникам фильма, от Фейдера (дорожный несессер) до последнего рабочего студии. Я получил прекрасный бумажник светлой свиной кожи, который служил мне долгие годы. К костюмам Марлен меня не подпускали, Фейдер выписал из Парижа своего приятеля художника Бенда, но, увы, русских сарафанов и прочего он, естественно, не знал и Марлен часто отказывалась от сшитых по его рисунку нарядов. Но знаменитые ноги Марлен я все-таки видел не раз. Это было в студии, в сцене, изображавшей Марлен в первый день, когда она «перебежала» к белым. Фейдер зачем-то вызвал меня (для какой-то точности). Марлен, по ходу действия, должна была мыть ноги. В фильме за 3 миллиона фунтов и с гонораром Марлен в 350.000 долларов надо же было (и не раз, а много раз!) показать ее «знаменитые ноги», до которых кинозритель был так охоч. Скажу по правде, в натуре «знаменитые ноги» меня несколько разочаровали: да, они были прекрасны, стройные, длинные, прямые, но ступня – большая, немецкая. И потому всегда надевалась обувь на очень высоком каблуке, чтобы скрыть величину ступни. Это было не так легко.

А как в разговоре со мной ругался Фейдер, когда выяснилось, что Марлен запрещала снимать ее в профиль (профиль был нехорош), нефотогеничен, как говорится. И когда лицо

Марлен попадало на пленку в профиль, это немедленно вырезалось. Снимать было можно только «ан труа кар» или «анфас». Конечно, режиссеру это было трудновато и в разговоре со мной Фейдер чертыхался и ругался самыми «камброновскими» словами.

Столь же претендателен был и партнер Марлен – молодой англичанин Роберт Донат, которого неизвестно почему выдвигал Корда. Как-то он вызвал меня для примерки русского полушубка. Перед зеркалом он пробовал его надевать и так и сяк: и открыто, и полуоткрыто, и застегнутым. Глядя на него я думал: «ну, настоящая баба!» А снимать Доната тоже полагалось только при каких-то определенных поворотах головы. Остальное вырезалось. Но ведь все так называемое «искусство кино» – тут-то за шесть месяцев я убедился в этом воочию – с подлинным искусством если и имеет, то самую отдаленную общность. В большинстве это чистейший «кич», почти всегда полухалтура или просто халтура для одурения «массового кинозрителя», с подыгрыванием под его вкусы. Исключения единичны.

Подлинный художник, Фейдер, разумеется, понимал это еще лучше меня, но... 3 миллиона фунтов – сила притягательная, а он тянул из них весьма большую толику. Сам говорил, что во Франции «скрутил» бы этот фильм в два месяца. А тут «крутил», слава Богу, – целых шесть!

При студиях в Денам было два ресторана. Один – для высших персон и дорогой, другой – общий кафетерий. Я ел и там и сям. Как-то Меерсон позвал меня позавтракать со знаменитым Чарльзом Лоутоном (Lauthon), прославившимся всемирно и прославившим Корду в фильме «Частная жизнь Генриха 8-го». Лоутон, по-моему, был гениальный актер и собеседник очень интересный. По-французски говорил, как подлинный парижанин. Меерсон сказал, что в молодости Лоутон целый год играл в «Комэди Франсэз». Грузный,

обрюзгший, некрасивый, толстый, рыжеватый, с неправильными чертами лица, он ел и пил много и без умолку рассказывал всякие смешные и интересные вещи. О его интимной жизни говорили всевозможные свинства, вероятно, так это и было. Мне особенно нравился Лоутон в роли Генриха 8-го, когда он ест курицу руками. Это было сделано артистически и запомнилось.

У Стивена Грэма

Через несколько дней я был у Стивена Грэма (Stephen Graham), редактора-издателя моего «Азефа» по-английски[27], и в разговоре упомянул о фильме «Генрих 8», Грэм с омерзением меня перебил: «Это – гнусная и вульгарная карикатура Корды и его компании на нашу британскую историю». Я тут же прекратил всякий разговор на эту тему, поняв, что я, как русский, не почувствовал той «развесистой клюквы», которую не чувствуют (и любят!) иностранцы в фильмах на русские темы. Грэм был известный автор исторических исследований и романов. Писал он и на русские темы, написал книги о Петре I и об Иоанне Грозном. По-русски он говорил почти свободно, с легким акцентом. Было ему лет за 50. По типу – истый англосакс: очень высокий, худой, как будто небрежно, но хорошо одет. Жил на 60 Фрис-стрит, Сохо Сквэр. Пригласил он меня завтракать и ели мы курицу, которую он сам зажарил в камине на вертеле, в своей старой квартире, заваленной книгами и увешанной картинами. До этого мы переписывались. Личное знакомство было приятно.

---

[27] Roman Goul; General BO. Translated by L. Zarine. Edited by Stephen Graham. London Ernest Benn Lmt. 1930 (p. 322). Тот же текст вышел в Америке: Provocateur. Historical Novel of the Russian Terror. Edited with an introduction by Stephen Graham. Harcourt, Brace and Company. New York 1931 (p. 312). На американском экземпляре Стивен Грэм написал: «Roman Goul with considerable admiration for his style and his work».

Кстати, вспоминаю. Через 10 лет (после войны) я приехал в Лондон уже как турист и решил узнать жив ли Стивен Грэм. Развернул телефонную книгу: тот же телефон, тот же адрес. Позвонил. Услышал голос Грэма «Хэлло!». Назвал себя, и он тут же пригласил меня к себе опять на завтрак. Но когда в условленный час я подошел к его дому, я был поражен: угол дома, как бритвой, был отсечен. Но квартира Грэма каким-то чудом была не тронута. Грэм был тот же, только больше седины. Он познакомил меня со своей секретаршей-сербкой. В русской речи Грэма появилось много сербизмов. Как только я вошел в его старинный кабинет с камином, я спросил – бомбой ли разбита другая часть его дома? Грэм подтвердил. И тут же поразил меня, как громом. Медленно расставляя слова, он сказал: «Какая жалость, что Гитлер не победил». Как громом, потому что я ненавидел Гитлера и, как все в Европе, был рад его разгрому. У меня мелькнуло: вот наверное единственный во всем разбомбленном Лондоне англичанин, не радующийся своей победе. Заметив мою «остолбенелость», Грэм сказал: «Жалость, потому что Сталин хуже и опаснее Гитлера». Я не нашелся, что ответить. Но сейчас – в 1984 году (когда Сталин – Хрущев – Брежнев – Андропов – Черненко) поставили мир на край страшной ядерной гибели – слова Грэма представляются провиденциальными. Говорят, у американского генерала Патона в конце Второй мировой войны была правильная мысль – после нацистского Берлина покончить и с тоталитарной Москвой. Но куда тут! Вокруг больного Рузвельта поднялось такое кликушество и кудахтанье либералов, прессы, радио, что об этом и думать было нечего. Наоборот, в презренной и политически глупонедальновидной Ялте «дяде Джо» отдали на пытку три прибалтийских государства, Польшу, Восточную Германию, а позднее – Венгрию и Чехословакию. Рузвельт даже пробовал

рекомендовать представителю Норвегии Трюгве Ли – «уступить Сталину какой-то там кусочек норвежской земли», который так хотелось приобрести «дяде Джо». Но даже левый Трюгве Ли этим возмутился. И «кусочек» остался неуступленным.

Рассказы Трендела

А сейчас я возвращаюсь к нашим утренним поездкам в Денам с Тренделом на веселеньком красном автомобильчике. Трендел молчалив не был, всегда рассказывал что-нибудь интересное, остроумное. Как-то рассказал об остроумии Уинстона Черчилля. На каком-то дипломатическом рауте, когда гости откушали, – начались танцы. В модном танце пошел по залу и лидер лейбористов Бевин (A. Bevan). Бевин был некрасив, толст и, вероятно, неловок в танцевании. И какая-то дипломатическая дама обратилась к Черчиллю: – «Скажите, сэр Уинстон, как называется этот танец, что танцует мистер Бевин?» – «Лэйбор мувмент», – без раздумья ответил Черчиль.

Когда я рассказал Тренделу, что миссис Литтль показала мне в Челси дом, на котором была мемориальная доска: «В этом доме жил известный драматург и острослов Оскар Уайльд», – Трендел удивился – «В Челси? Да я там живу десятки лет в двух шагах, и никогда не замечал никакой доски. Уверен, что и из соседей никто о ней не знает. Мы, англичане, народ спортивный и на «мемориалы» мало обращаем внимания. – Потом, помолчав, спросил: – А вы читали в «Candide» воспоминания какого-то его приятеля о жизни Уайльда в Париже, там было много занятного». – «Нет». – «Я расскажу вам, что помню».

«Известно, что жизнь Уайльда в Париже была нищенская. Пьесы его не шли. Многие его сторонились. И дойдя до пол-

ного отчаянья, Уайльд решил кончить жизнь самоубийством. Но как? Ночью броситься в Сену с Моста Мирабо. Ночь. Отчаявшийся Уайльд идет уже по плохо освещенному мосту, но на средине его ему почудилась какая-то фигура, стоявшая у самого парапета. Уайльд подошел к человеку, участливо спросил: «Etes vous aussi un désespéré?»– «Non, monsieur, – сказала фигура, –je suis un coiffeur». Неожиданный ответ сорвал всё отчаяние Уайльда».

Вспоминая Мост Мирабо, недалеко от которого мы жили, в его полуночной темноте и тишине, мне всегда приходит на память стихотворение Гийома Аполлинэра (Костровицкого):

Sous le Pont Mirabeau
Coule la Seine
Et mes amours...

Другой рассказ Трендела из «Candide». Жил Уайльд недалеко от церкви Сан-Жермэн-дэ-Прэ, на улице дэ Бо з'Ар в паршивеньком отеле, на котором все-таки – для рекламы, наверное, – теперь была прибита дощечка: «Здесь жил известный английский драматург Оскар Уайльд». Я это знал, ибо рядом было «Литературное Агентство» Марка Слонима: эсэр, самый молодой член Учредительного Собрания (от Одессы), литературный критик, впоследствии профессор русской литературы в Америке, Слоним был настоящий делец. И вел свои дела прекрасно. Он продавал русские книги для переводов на иностранные языки. Продал изд-ву Бержэ-Левро мою книгу о Вождях Красной Армии, «Тухачевского» – изд-ву Мальфэр, в Испанию продал «Азефа» изд-ву Zevs Editorial, Madrid, в Швецию «Вождей Красной армии» из-ву Siderstrom. И когда я пришел получать присланный аванс за испанского «Азефа» – 250 франков (ничего кроме «авансов» иностранные изд-ва и не платили, т. н. «роялти» оставались только в договорах), у Слонима я столкнулся с

Н. А. Бердяевым, тоже пришедшим получать аванс от испанцев за свою замечательную «Философию неравенства». Но его аванс был всего в 200 франков. Так что, когда я вошел в нашу «квартиру», радостный, что у меня в кармане 250 франков, я, смеясь, сказал Олечке: «Знаешь, Испания ценит меня гораздо выше Бердяева! Я его перешиб на целых 50 франков!»

Еще рассказал Трендел о том, как навестивший Уайльда в Париже какой-то его друг подарил ему золотой луидор. Для нищего Уайльда это было целое состояние. Но на грех в тот же день почтальон принес Уайльду заказное письмо. И взяв его, Уайльд по привычке начал шарить в карманах мелочь, чтобы дать на чай. Увы, в карманах ничего, кроме золотого луидора не было. И Уайльд дал луидор «на чай» обомлевшему почтальону, поразившемуся, вероятно, щедростью богатого барина. Уайльд же, как и до луидора, остался нищим, но «джентльменом».

Рассказал Трендел и о сыне Уайльда – Вивьене. Сидел Трендел с компанией в Сохо во французском ресторане. За соседним столом – Вивьен с компанией. Вдруг в дверь входит пожилой человек, делает несколько шагов в их сторону, но, увидев Вивьена, круто поворачивается к двери, чтоб быстро уйти.

– Эй, ты, старикашка! – закричал Вивьен, – куда ж ты уходишь?! Иди к нам, сюда! Ведь если б ты не предал моего отца, ты бы мог быть моей матерью!

Это, оказывается, был престарелый лорд Дуглас, друг Уайльда, во время процесса ведший себя не по-джентльменски.

Когда я во время поездки как-то рассказал Тренделу об удивившем меня джентльменстве среднего англичанина (про человека, нашедшего мне нужный адрес и об аптекаре, пославшем меня к своему конкуренту), Трендел в особый восторг не пришел, сказав: – «Да, это здесь бывает, бывает. Но есть и другое, вот моя подруга, с которой я живу уже 20 лет,

до сих пор не может забыть, как в детстве и юности отец бил ее башмаком по голове... отец был сапожник... И это не единичный случай. Среди англичан есть люди весьма мрачные и жестокие. Вы заходили когда-нибудь в pub'ы?» – «Заходил, – ответил я, – и в сравнении с парижскими бистро и немецкими пивными был поражен, что в них „пьют молча“». – «Да, да верно, это вот и есть те самые, которые бьют детей «башмаком по голове».

Моя работа

Так, в разговорах, мы и приезжали в Денам. Трендел шел к Фейдеру. Я по своим делам «советника». Однажды мое «советничество» было совершенно непредвиденным. Меерсон сказал, меня разыскивает композитор Миклош Рожэс (Miklos Rozsas), пишущий для «Рыцаря без доспехов» музыку. И, действительно, в студию Меерсона пришел этот Миклош Рожэс, впоследствии сделавший, кажется, карьеру в Голливуде. Это был скромный молодой человек, как и Корда, венгерский еврей, приятного вида, застенчивый. Он объяснил мне, в чем дело. Он должен из русских мелодий сделать музыку, подходящую для фильма, но мелодий этих он не знает. Рожэс говорил по-французски и мы могли хорошо сговориться.

– «Мсье Гуль, – говорил он, – можете ли вы мне напеть подходящие к сюжету фильма мелодии?». – «Напеть мне трудновато, – ответил я, – но если здесь есть где-нибудь пианино, я наиграю вам эти мелодии, нот я не знаю, играю по слуху». Рожэс обрадовался, говоря, что для него это даже лучше и мы пошли в какую-то комнату, где был рояль.

Я предложил ему, во-первых, для сцен с министром внутренних дел (и вообще для начала фильма) – гимн «Боже царя храни». Сыграл ему кое-как. И Рожэс тут же записал мелодию на нотной бумаге. Для революции я предложил рево-

люционную песню «Смело, товарищи, в ногу» (ему тоже понравилось). Но, как главную мелодию фильма я предложил «Эх, яблочко, куда котишься». Это ему особенно понравилось. Он был в восторге. И я был удивлен, как каждую мелодию по слуху он тут же заменял превосходной аранжировкой, будто перед ним лежали ноты. Из «Яблочка» он сделал всевозможные вариации и решил провести эту мелодию сквозь весь фильм. Играя свои аранжировки и вариации, Рожэс показал себя в полном блеске музыкального дара. Тут же он записал всё на нотной бумаге. И за все «напевы» нещадно благодарил, говоря, как я его выручил. Эта музыка и прошла в фильме.

В тот день меня рвали – то тот, то другой. Фейдер настиг меня с большой фотографией, где были русские дореволюционные городовые. – «Тут все понятно, но что *это* такое?» – тыкал он пальцем в башлыки. Я объяснил, что в Западной Европе этого не носят, нет нужды. А в России носят башлыки от холода. – «Так вот я их обязательно хочу иметь!» – «Чтоб не высмеяли в Польше? – пошутил я. – Хорошо, я их вам сделаю». И в тот же день пошло экстренное письмо Олечке в Париж и в ответ она (тоже экстренно!) прислала полный рисунок башлыка и выкройку. Фейдер был удовлетворен. И в сцене покушения террористов на министра внутренних дел городовые у нас фигурировали в башлыках, точь в точь «как в натуре».

После этого меня настиг Меерсон. Ему надо было сделать внутренность крестьянской избы, которой он никогда не видал. Я ему все рассказал: появилась на рисунке и печь с полатями, и божница с иконами, и лавки, и стол. Но вот «зыбку» Меерсон долго не мог понять, а я уверял, что для колорита старой крестьянской избы «зыбка» необходима. И «зыбка» родилась, на подвесочках, покачиваясь из стороны в сторону, как с ребенком.

За завтраком Фейдер был особенно весел: вечером приезжала на два дня Франсуаз Розе. Это был крепкий, хороший брак, у них было трое детей, о которых Фейдер как-то сказал: «Я не хочу, чтоб они стали актерами, пусть будут директорами банков, какими-нибудь чиновниками в министерстве иностранных дел...» Потом, помолчав и улыбнувшись, Фейдер спросил: «А знаете, что Франсуаз делает первым делом, когда приезжает ко мне в Лондон?» – «Нет, что?» – «Прежде всего, – улыбаясь, говорил Фейдер, – она дает мне две пощечины...» – «Почему?» – удивился я. – «Да потому, – сказал он, смеясь, – что она же знает, что в ее отсутствие я обязательно сделаю какие-нибудь «глупости с женщинами»...

Как режиссер, как «показывальщик» актеру, что и *как* нужно играть, Фейдер был исключителен. Помню самую простую сцену: горничная должна пройти по ресторанной комнате, заполненной «белыми офицерами». Какая-то маленькая актриса, игравшая горничную, взяла и прошла. И вдруг Фейдер пришел в бешенство. – «Да разве так горничная проходит через комнату, переполненную молодыми мужчинами?!» – кричал он. Бедная актриса растерялась: ну, прошла и прошла. – «Вот я сейчас вам покажу, как горничная должна пройти!» И худой Фейдер прошел по залу, «как горничная», подвиливая задом, кокетливо глядя по сторонам, выпятив грудь. Это было настолько сногсшибательно артистично и психологически верно, что все присутствующие разразились овацией. И бедную актрисенку-горничную Фейдер заставил пройти так четыре-пять раз, пока она не «восчувствовала» эту бессловесную роль.

Помню, как на плато в перерывах съемок пришел к Марлен, приехавший из Европы, Жозеф фон Штернберг, ее первый режиссер и, кажется, бывший муж. Разговаривая с ним на плато, Марлен почему-то то и дело целовала ему руки, что, по-моему, было странновато. Правда, Марлен была обя-

зана Штернбергу всей карьерой. Он «сделал» Марлен. Если б не «Голубой Ангел» мирового имени, вероятно бы не было.

«Ich bin von Kopf bis Fuss
Auf Liebe angestellt
Das ist mein Welt...
Und weiter gar nichts...»

«Голубой Ангел» я отношу к тем немногим подлинно художественным фильмам, которые можно смотреть и сейчас. Там и Марлен и Яннингс – на большой высоте. И вся дальнейшая артистическая карьера Марлен была основана, конечно, на «Голубом Ангеле». Потому, вероятно, разговаривая о чем-то, она и целовала то и дело руки невзрачного, черненького, лысого человечка – Штернберга.

То, что без режиссера, без его «показа» Марлен ничего сыграть не могла, подтвердилось и в «Рыцаре без доспехов». Большая, талантливая драматическая актриса Франсуаз Розе каждые две недели приезжала из Парижа навестить Фе дера. Она присутствовала и на съемках. И издевалась над Марлен, как могла: – «ужас», – говорила она и делала глупое лицо с вытаращенными глазами; «счастье» – то же лицо с вытаращенными глазами; «раздумье» – то же лицо; «радость» – то же лицо с вытаращенными глазами. Франсуаз Розе была женщиной властного, сильного характера и как-то Фейдер сообщил мне «по секрету», что Франсуаз строго-настрого запретила «режиссировать» Марлен, «показывать», «помогать» ей. «Пусть играет сама, как умеет».

Фейдер был человек мягкий, вполне под башмаком жены. Приказ Франсуазы Фейдер решил выполнять, – ничего не «показывать» Марлен, пусть играет, как умеет. Но Марлен такой подлинной артисткой, как Франсуаз Розе, не была. Марлен требовала «руководства» и «показа». И когда Фейдер (будто незаметно для других) перестал «показывать», Марлен

сразу это почувствовала и «онемела». Кончилось дело небольшим скандалом. Она пошла к Корде и пожаловалась на Фейдера, что он совершенно «не руководит» и ей трудно так играть. Корда вызвал Фейдера, говорил с ним. Дело уладилось. Вопреки «приказу свирепой Франсуаз», Фейдер стал опять «показывать» и «помогать» Марлен. И все вошло в обычную колею.

Иногда после работы Трендел не мог везти меня на автомобильчике. И тогда нас (человек десять) везли в автобусе до железнодорожной станции Денам. Почти всегда мы приезжали в последнюю минуту, купить билеты не было уже времени. И мы садились (вполне легально) в поезд без билетов. В первый раз я спросил одного, говорившего по-французски: «Ну, а как же мы без билетов поедем?» – «Ничего, за билеты мы заплатим в Лондоне». И действительно, в Лондоне мы подходили к кассе, кассир спрашивал: «Откуда вы приехали?». Мы отвечали – «Денам», и платили сколько надо. Если бы такое доверие к человеку завели в континентальной Европе, железные дороги, вероятно бы, разорились. Это было английское джентльменство: джентльмен не соврет.

Туманы

В Лондоне я мечтал увидеть две его «опоэтизированные» достопримечательности – черный «fog» и желтый «fog»: знаменитые лондонские туманы. Теперь, говорят, их больше нет, уничтожили какими-то «очистителями». Но я их увидел во всей красе и силе. В эти туманы Трендел, конечно, за мной не приезжал, не мог. Я сам ехал на автобусе и на поезде. А туманы были такие (и желтый и черный), что если вы на улице поднимали перед глазами руку, то ее не видели. Впереди автобусов шли кондукторы, освещая дорогу какими-то сильнейшими фонарями. И автобусы двигались за ними

черепашьим шагом. И все же эти знаменитые «фоги» стоило увидеть. В них была своя прелесть.

М. И. Будберг

Когда я как-то был в студии Меерсона и мы пошли с ним в ресторан завтракать, в проходной студии его помощника художника Уэллса (сына Герберта, молодого человека, приезжавшего ежедневно со свежей гвоздикой в петлице пиджака) я столкнулся с женщиной, которая меня поразила. Обычно говорится: «я бы ее не узнал». Может быть на улице я бы ее и не узнал, но тут лицом к лицу (с моей острой памятью на лица) я пораженно узнал ее сразу. Это была Мария Игнатьевна Будберг, с которой мы ужинали вместе с А. Н. Толстым в Берлине. Но какая перемена! Предо мной стояла женщина, невероятно располневшая, одетая не в хорошее пальто, а в какой-то «салоп» («какая-то солопница», мелькнуло у меня). У нее, вероятно, была тоже хорошая память на лица, она сразу узнала меня, сказав: «Какими судьбами?» Я объяснил «какими», разглядывая ее. М. И. от природы была некрасива, но в те берлинские времена у нее было худое, породистое лицо. Теперь предо мной стояла некрасивая, «размордевшая» женщина в годах. Тонкие черты лица исчезли, глаза уменьшились, а странная одежда придавала ей простоватый вид.

После моих объяснений, что я тут делаю, она сказала: «Приезжайте как-нибудь к нам, буду очень рада», на клочке бумаги написала адрес и телефон: 81 Cadogan Square, тел. Slo-66-27. Я поблагодарил: «С удовольствием, Мария Игнатьевна!», но беря записку, я твердо знал, что никогда к ней не поеду. И она, вероятно, писала только «для приличия». От Б. И. Николаевского о М. И. Будберг я слышал слишком много неприятного и пакостного. Это была дама «ni foi ni loi». По мнению некоторых, писавших о ней, она была и «загадоч-

ной», и «железной», и «умницей», и «красавицей», и «блестящим собеседником». Я знал о ней все, что есть в мемуарной литературе, когда писал «Дзержинского». Например, о воспоминаниях чекиста Якова Петерса, писавшего (по документам), что в Первую мировую войну у нее в петербургском салоне было «гнездо немецких шпионов». Знал много о деле Локкарта, английского разведчика, сошедшегося с «Мурой» во время революции и арестованного вместе с ней ВЧК. О допросах ее самим Яковом Петерсом, в результате которых она вместе с Петерсом, «держась рука за руку» (какая интимность светской дамы и чекиста!) появились у арестованного Локкарта. И, оказывается, Мура через Петерса его освободила. Но *чем?* Какой ценой? В учреждении Петерса «даром» ничего не делается. За все надо *платить,* тут «шуточек» нет. О цене хотя и неприятно, но не так уж трудно догадаться. Помню, как характеризовал М. И. Будберг Толстой – «авантюристка чистой воды!» И это было верно. Но авантюризм ее бывал «и с кровью».

Б. И. Николаевский был очень хорош с М. Горьким (сейчас часть их переписки, ранняя, опубликована в сборнике «Берлин 1921–1923», ИМКА-Пресс, 1984). Мне Б. И. часто говорил: – «злой гений Горького, это Будберг. Она все время толкает его возвратиться в СССР». Почему же Будберг была этим «толкачом»? Были ли у нее не порваны связи с Петерсом? А за Петерсом же – Сталин! Конечно, Горькому и самому хотелось въехать в СССР некой «мировой пролетарской ведеттой», загребать баснословные «длинные рубли» за собрание своих сочинений, прослыть «зачинателем социалистического реализма». Все это так. Но он знал и Сталина. И вернуться в СССР ему было не просто. И он, решив возвращаться, все-таки на Западе оставил свои «Дневники», доверив их Будберг. Но именно этих-то «Дневников» и добивался Сталин. И в 1936-м году, как говорил мне Николаевский, эта

«авантюристка чистой воды» лично повезла в СССР доверенные ей Горьким его «Дневники». Говорят, на границе ее ждал особый вагон (какой «комфорт» в пролетарском государстве!), вот до чего эти «Дневники» стало быть были нужны товарищу Сталину. И он их получил в собственные руки. Вскоре после прочтения «Дневников» Сталин «в подарок» за них послал Горькому какие-то «кремлевские бонбон». Горький любил сладости. От них, от этих «бонбон», изготовленных «специалистами» Кремля, Горький и отдал Богу душу. Чекистов-исполнителей – Г. Ягоду и П. П. Крючкова Сталин расстрелял. Будберг уехала заграницу. Сталин расстрелял и Я. Петерса. Концы в воду. А в советских газетах и журналах появились страшные сообщения: – «Горький был чудовищно умерщвлен бандой фашистских предателей и шпионов» (См. М. Горький. Материалы и исследования под редакцией В. А. Десницкого. Москва. 1941). На том и кончилась одна из историй «авантюристки чистой воды».

За завтраком я спросил Меерсона, что тут делает Будберг? «По-моему, ничего, – ответил он, – но формально Корда дал ей место «чтицы» скриптов; очевидно, она нужна ему и как жена Уэллса, и как баронесса для светских связей». (Отметим, что «баронессой» Будберг была «липовой». Она фиктивно вышла замуж за барона Николая Будберга, какого-то «прожигателя жизни», только для того, чтобы выехать из Эстонии /став эстонской гражданкой/, где ее подозревали в шпионаже в пользу СССР).

Под занавес жизни эта «загадочная», «железная» кончила совсем плохо. В каком-то лондонском универсальном магазине она «купила» что-то, но «забыла» заплатить. Детективы в таких магазинах – «ребята практикованные» – никогда не останавливают эдаких «покупателей». Они дают им выйти на улицу и уже на улице берут «с поличным». Эта покупка «загадочной баронессы», секретарши Горького и Уэллса, попала

в скандальную хронику газет. И карьера «железной женщины» кончилась.

Ничего ни «железного», ни «загадочного» в этой пошлой авантюристке не было. Имя таким – миллион. Она попросту всю свою жизнь жила уркаганской философией: «умри ты сегодня, а я завтра...» или, выражаясь более элегантно – «жить, чтобы выжить». Но ведь это «философия» любой проститутки, которая ложится в постель с первым встречным-поперечным именно потому, чтобы «жить, чтобы выжить»; всякий грабитель или растратчик грабит и крадет не для удовольствия, а для того, чтобы «жить чтобы выжить». И, конечно, всякий человек, ставший стукачом КГБ, доносит для того, чтобы «жить, чтобы выжить». В сущности, это типичная УГОЛОВНАЯ психология. Больше г-жу М. И. Будберг я не встречал.

Эдуард VIII

Под конец моей жизни в Англии я внезапно узнал англичан политически. В 1936 году скончался король Георг V-й и по закону о престолонаследии трон переходил к принцу Уэльскому, под именем Эдуарда VIII-го. Англичан охватило какое-то, нам непонятное, радостное возбуждение: король Эдуард VIII! Мгновенно витрины магазинов наполнились разнообразными «сувенирами» с изображением короля Эдуарда VIII-го. Недалеко от меня в посудной лавке все окна были заставлены – тарелками, чашками, блюдцами, блюдами, вазами и все – с изображением Эдуарда VIII.

Но биография принца Уэльского была широко и дурно известна: кутежи, пьянства, дебоширства. Газеты не скупились на описание «экстравагантностей»: будто в Праге принц в нетрезвом состоянии перебил все фонари на какой-то улице. Это еще туда-сюда. Но стало известно, что король Эдуард VIII состоит в любовной связи с американкой простого

происхождения, к тому же дважды разведенной – миссис Симпсон.

И вот тут вокруг трона закипела борьба (м. б. редкая в истории Великобритании). Эту борьбу против Эдуарда VIII возглавил сильный человек, премьер-министр Великобритании Стэнли Болдуин (Stanley Baldwin), опытный политик, консерватор, человек мудрый и волевой. Его поддержал архиепископ Кентерберийский и подавляющая часть консерваторов. У Болдуина были сильные козыри. Помимо всего прочего, из некоторых высказываний принца Уэльского газеты делали выводы, что он сочувствует фашизму, бывшему тогда поветрием в континентальной Европе. Принц Уэльский спускался в шахты английских горняков, чего члены династии не делали, и произнес там речь, которую консерваторы расценили, как «склонность» к фашизму. И наконец стало известно, что принц Уэльский в Европе будто бы встречался с Гитлером. Это был уже козырь чрезвычайный, чтоб заставить Эдуарда VIII отречься от трона.

Но если судить о настроении простого народа по рабочим наших студий, ко всему этому «букету» у них не было никакого отрицательного отношения. Рабочие были *за короля* – и только! У нас в перерыв работ в кафетерии происходили бурные сборища. Помню, как один молодой рабочий, придя в раж, кричал: «Мы любим нашего короля! Мы хотим нашего короля! Нам нужен наш король!». Им не было никакого дела до миссис Симпсон (скорее наоборот), до кутежей и даже до свидания с Гитлером. «Это *наш* король! Мы любим его!» – кричал неистово этот молодой рабочий. И все с ним были согласны.

Скажу честно, слушая все эти высказывания рабочих, я завидовал англичанам. Я увидел воочию, как им, англичанам, действительно *дорог и нужен король*. Они были подлинные монархисты. И не разбираясь в тонкостях политики, хотят

своего законного короля. Мне была завидна эта английская, органическая, естественная, глубокая привязанность к своей истории, к своей монархии. В этом была большая сила и воля. И я невольно вспоминал о чувстве нигилизма и анархизма, вымахнувшем в России в начале революции, когда в бараках 140 Запасного полка в Пензе солдаты (народ, крестьяне!) срывали со стен портреты царя и царицы, и в каком-то диком (дичайшем!) исступлении и остервенении топтали их сапогами до тех пор, пока не оставалось ни клочка. Я никогда не был «записным монархистом». У нас в семье жил дух демократизма и реформизма, но вырвавшаяся наружу (во всем народе!) нигилистическая и анархическая ненависть к монархии была мне супротивна, она *потрясла меня*. Вместе с ненавистью, с топтанием портретов вырвалась ненависть и ко всякому «чинопочитанию». В этом всенародном нигилизме и анархизме я почувствовал «всегосударственную опасность». Конечно, в этом прежде всего была вина самой трехсотлетней династии, не сумевшей привить народу к себе ни доверия, ни любви, ни традиции. Была вина и церкви, которая (за малыми исключениями, жила «вне народа»). Виновен был и бессмысленный террор народников, эсэров. Всё ж больше всего виновны были те, кто держали в руках власть. И глупо «подмораживали Россию» на свою же голову.

«Гражданин мира», богемьен Трендел был тоже за Эдуарда VIII. Но совсем из других предпосылок. Во время одной поездки он сказал: «Главный козырь против Эдуарда VIII, это – миссис Симпсон. Но что же делать, если она единственная женщина в мире, с которой он может спать?!». Такой поддержки Эдуарда VIII со стороны «гражданина мира» было маловато.

Волнение народа кончилось быстро и неожиданно. В декабре 1936 года Эдуард VIII выступил по радио с обращением к нации, объявив о своем отречении и о том, что с сего дня он

будет только герцог Виндзорский, а трон переходит к брату короля, вступающему на престол под именем Георга VI-го. Во всей Англии воцарилось спокойствие и удовлетворение: на троне – законный монарх!

Вот тут-то я и бросился в посудную лавку и накупил для Олечки – тарелки, чашки, блюдца, блюдо – все с изображением короля Эдуарда VIII-го. Теперь они раскупались нарасхват, уже как «сувениры», которые скоро станут редкостью.

В декабре 1936 года Георг VI стал королем Великобритании, а в начале 1937 года я из Лондона уехал в Париж. Должен откровенно признаться – Лондон, конечно, чудный город, но жить там, увы, я бы не мог: не мог потому, что – скучища смертная. И как за последнее время я затосковал по анархическому Парижу, по толчее неврастенического Монпарнаса, по всему свободному укладу парижской жизни. Пусть я не француз (и быть им не могу и не хочу!), но я почувствовал себя, увы, человеком «опарижаненным».

Перед отъездом я сердечно простился с Жаком Фейдером, давшим мне две свои фотографии с несколько преувеличенно лестными надписями. Вместе с ним пошли к Александру Корде. Сэр Александр был чрезвычайно мил, сказав «Vous avez fait un joli travail». Простился с Марлен Дитрих, получив от нее на память фотографию с ее автографом. Простился с Тренделем, Меерсоном. И с чековой книжкой в кармане, на которой было около 900 фунтов (скопленных для покупки фермы для семьи) с Виктория Стэйшен тронулся поездом в Саутхэмптон.

В Париже

На Gare St. Lazare меня встретила Олечка, слегка пополневшая, порозовевшая (после нищеты-то!), в чудесном верблюжьем пальто, которое я переслал, вместе с другими вещами, через Мэри, из Лондона, и в какой-то сногсшиба-

тельной, широкополой, фетровой темно-зеленой шляпе. Мы расцеловались. Я спросил, смеясь, что за роскошная шляпа? «От Диора, очень дорогая, но, правда, хорошая?» (Олечка любила дорогие, хорошие вещи). «Очень хорошая».

Пока мы ехали в такси, Олечка рассказала, что всю семью поместила в отель «Электрик», в двух комнатах, недалеко от нас. Рассказала, что мама, войдя в нашу «замечательную» квартиру, заплакала: – «Боже мой, я знала, что вы живете бедно, но чтобы вы *так* жили, не могла себе представить!». Олечка успокоила ее, что «чудеса», слава Богу, пришли и «нищета» кончилась и Рома везет деньги на ферму и на новую квартиру.

Я, конечно, был рад встрече с семьей после почти четырех лет разлуки. У мамы был усталый вид, жена брата была в порядке. Племянник Миша подрос, ему уже 11 лет. Но кто меня озадачил, так это брат. Не знаю, как и почему, но он впал (именно «впал») в какой-то неистовый и агрессивный баптизм. При мне он был церковно религиозен, читал Франка, Булгакова, Бердяева и вдруг... баптизм. Но какой! По характеру своему он был человек «цельный», бескомпромиссный. И не только сам стал баптистом, но душевно требовал, хотел, чтоб мы все пошли за ним по «верной» дороге: – Библия и опрощение. Наш первый разговор был не вполне приятен, ибо я не выразил никакого рвения к баптизму. А у Сережи были два настояния: сейчас же сесть на землю, пахать, бороновать и опрощение жизни во всем: в быте, одежде, жилище. И – Библия, только Библия! И чтобы не он один, а вся семья превратилась в баптистов-опрощенцев. При упорном характере брата я понял, что «тут дело на лад не пойдет». Я сказал ему сразу, что его баптизм уважаю, как всякую искреннюю веру, но чтоб меня и Олечку он оставил жить так, как мы хотим.

Когда я распаковывал чемоданы и Сережа увидел мои костюмы, вещи для мамы, Олечки, его жены, он взорвался: «К

чему ты накупил все эти тряпки?! Нам деньги на ферму нужны, а ты истратил столько на тряпки!» Я успокоил его, что без этих «тряпок» я не смог бы заработать на ферму, что деньги на ферму я скопил и привез, а «тряпки» будут мне и Олечке нужны в дальнейшем. Олечка предложила всей семьей поехать осмотреть достопримечательности Парижа. Мама с удовольствием согласилась, в свое время с мужем она бывала в Париже и любила его. Но Сережа наотрез отказался: – «Никакой Париж мне не нужен и неинтересен!» Он хочет скорей ехать в Лот-и-Гаронн, чтобы сесть на землю. Через несколько дней мы с Сережей выехали в Лот-и-Гаронн «садиться на землю».

«Пети Комон»

Так называлась ферма, на которой мы сели. Petit Caumont крохотная ферма, принадлежала русскому эмигранту Кайдашу, бывшему унтер-офицеру царской, а потом белой армии. У Кайдаша была жена, называвшаяся трогательно – Ирочка. Она была недурна собой, много моложе мужа и подвергалась заушениям и даже избиениям, так что вмешивались соседи. Ферма эта была у самого Нерака, бывшей столицы знаменитого «Le Vert Galant» (Henry IV).

Нерак – маленький, но очаровательный городок. Стоит он на реке Баиз (Baïse), протекающей с одной стороны мимо старого городского парка, а с другой – мимо маленьких домиков с садами. Через Баиз перекинут старинный мост. По преданию, в Баиз утонула дочь пастуха Флоретт, приглянувшаяся Генриху IV, но скоро ее бросившему. И в парке до сих пор стоит памятник покончившей самоубийством, плачущей Флоретт. А на холме – замок самого Henry IV. Замок был бы прекрасен, если б его не «реставрировали» крайне грубо белесым цементом. Тем не менее издали замок хорош. Под

холмом большой старинный дом Сюлли, знаменитого министра финансов короля, но ничем этот дом не примечателен.

Найти ферму (купить или арендовать) вы должны здесь через специальных «agent d'affaire» (комиссионеров). С таковым – вертким французиком, никогда не снимавшим с головы берет, ни дома, ни на улице, ни в жару, ни в холод, – меня познакомил еще в мой первый приезд сюда единственный русский города Нерака – Monsieur de Sellhem (в переводе на русский значит фон Зельгейм). «Agent d'affaire» назывался Mr. Desplat (Десплл, по здешнему произношению). Фон Зельгейм был в годах, бывший офицер гвардии, женившийся на состоятельной и благородной нераческе, внезапно скончавшейся и оставившей ему просторный двухэтажный дом и какие-то сбережения. Так что жил он, не работая, как хотел. И помогал русским во всяких французских делах. Был он хороший, порядочный человек, он и свел меня с мсье Деспля.

Я известил мсье Деспля о нашем приезде. И прямо с вокзала мы пришли к нему, благо жил он в двух шагах. Все эти «комиссионеры» уже по роду своих занятий («всучить», «продать») очень любезные люди. Начали мы разговоры о ферме, причем Сережа сразу спросил: продал ли Кайдаш свою ферму? – «Нет, не продал, люди находят, что она мала и потому малодоходна». Но как это ни странно, Сережу вовсе не интересовала «доходность», он был совершенно не «делец», до смешного. Жить на земле, пахать, сеять, бороновать, молотить, а дальнейшее ему было «все равно». Это было, конечно, «барство шиворот-навыворот». Продажей полученного с фермы должен был заниматься я: пшеница, вино, телята, купить корову. Сережа даже не спрашивал, дорого ли, дешево ли. Ему нужна была – Библия, жена, и работа на земле, по которой он очень любил ходить босой и ничего больше.

Так что мы сразу и поехали в «Petit Caumont», она была километра полтора-два от Нерака, что, конечно, было удоб-

но, ибо ни автомобиля, ни лошади у нас не было. Приехали. Кайдаш, коренастый, здоровенный, лет 55-ти, с довольно неприятным лицом, постарался встретить нас «как умел любезно», даже угостил вином собственного производства (у него был небольшой, но хороший виноградник).

Ферма была маленькая: гектара два с половиной пахоты, причем часть (полгектара) лежала в целине. Вокруг дома (т. е. того, что называлось домом) нечто вроде сада с фиговыми и фруктовыми деревьями. Вода – собственный источник, заросший ивняком; вода эта была ледяная, наредкость вкусная, чистая. Дом? Вот дом подгулял. Был хороший двухэтажный каменный дом (на самой границе фермы), но сгорел до основания, стояли только одни кирпичные стены, которые Кайдаш уже продал соседу, итальянцу Романо. А то, что долженствовало быть домом, где Кайдаш жил с Ирочкой – длинное белое, увитое виноградником помещение из двух комнат. В самой большой пол был земляной, «глинобитный», босиком ходить было холодно. В другой пол – наполовину деревянный, наполовину асбестовый. Из этой комнаты была дверь в сарай, где стоял громадный чан для своего домашнего виноделия, какие-то инструменты, дальше – коровник на двух рабочих коров. Дороги (проезда) прямо к ферме не было, надо было ехать через соседей по полевой дороге. За фермой (не знаю кому принадлежащий) лес.

Посмотреть на все это и уехать в Париж было приятно. Но чтобы остаться тут «насовсем», надо было быть Сережей. К тому же было ясно, что эта маленькая ферма семью не прокормит. И тем не менее Сережа (говоря мне по-русски, когда не было вблизи Кайдаша) в эту ферму «вцепился». «Больше мне ничего не надо! – говорил он, – давай купим!». Удобство было одно, я мог сразу заплатить Кайдашу всю сумму, которую он хотел (с двумя рабочими коровами, плугом и пр.). – «Ну, что ж, – сказал я, – если ты хочешь - ку-

пим!». И купили к удовольствию Сережи, Десипля, Кайдаша (ему трудно было продать такую маленькую и неудобную ферму). Я к этой покупке восторга никакого не испытывал. Но кто знает свою судьбу? Эта ферма во время войны спасла меня от ареста нацистами и неминуемой смерти, ибо в войну немцы искали меня за книгу «Ораниенбург» и в Париже, и даже в Эр-э-Луар (у Блиновых, где мы живали). А Лот-и-Гаронн оказался в «свободной» зоне Франции. И тут дотянуться до меня было трудно. Тем более, что мы с Олечкой вскоре ушли рабочими на стекольную фабрику в Вианн, а потом все четверо стали сельскохозяйственными батраками (métayers).

Итак, Сережа с удовольствием, жена его (без большого удовольствия) переехали в «Petit Caumont». Маленький племянник, когда вошел в свою (с матерью) глинобитную комнату, со страшным испугом спросил мать: «и тут мы будем жить?». Да – тут. Так решил опрощенец-баптист Сережа. Но племянник тоже не знал своей судьбы: теперь он богатый француз, человек с высшим образованием, профессор, владелец замка «La Sevelotte», у него и дети французы и внуки французы. И живет он, дай Бог всякому.

В Париже мы переменили квартиру на приличную, двухкомнатную на 253 рю Лекурб. Мама осталась до лета с нами. А летом 1937 года мы все уехали в «местоимение» – в «Petit Caumont», в «Château de la misère», как шутливо называл нашу ферму, заходивший к нам, фон Зельгейм.

За работой

Вдали синеватым сахаром блестит хребет Пиренеев. На тяжелом крутосклоне я пашу на паре бланжевых коров. Небо еще не нагрелось, воздух звучен, как в концертном зале, отовсюду слышны долетающие, однообразные понукания пахарей. В матерчатых занавесках на мордах (чтоб не кусали

мухи), в проволочных намордниках (чтоб не хватали траву) коровы мои, выгнув спины и медленно переставляя ноги, волокут плуг, отваливающий блесткие пласты суглинка, а по борозде, сзади меня, гомозятся куры.

Это небо не наше. Это небо с полотен французских импрессионистов. Такого розовато-голубоватого, и с желтью, и с празеленью, неба в России не бывало. На воспользовавшихся моей задумчивостью, затихающих коров я кричу: «Ха, Верми! Ха, Верро!»; и коровы вновь натягивают плужную цепь, ускоряя движение. До чего умны эти гасконские коровы, ими управляешь голосом. Я задумался о том, о чем, собственно, никогда не надо думать: о прошлом.

После теплых дождей пашется хорошо. Я пашу крутосклон второй раз; теперь плуг идет уж легко, почти не приходится придерживать ручку, я лишь медленно двигаюсь за коровами и разговариваю сам с собой. В это утро я вспомнил, как подростком в своем пензенском имении тосковал по трудовой жизни. «Ну, вот она и есть. Правда, с запозданием на двадцать пять лет, но пришла именно она, мускульная, трудовая, крестьянская жизнь». Под широкополой соломенной шляпой я улыбаюсь тому, что это утро, пашня, коровы в русском переводе именно и значат: «Ну, тащися, сивка, пашней десятинной, выбелим железо о сырую землю!». Только на этом гасконском крутосклоне мне кажется теперь, что тогдашняя тоска мелкопоместного пензенского барича была зряшней. Ну, разумеется, ну, конечно, и в ней, как и во всей катакомбной философии Толстого, жила какая-то пленительная социальная правда; но сказочная, а потому вредная людям. Этот кающийся нерв русской интеллигенции революцией с кровью вырван из русской жизни. «Аррэ, Верми, ха, Верро, орэ сай...», по-гасконски кричу я, перевертывая плуг. Тяжело переступая, коровы неуклюже крутятся и снова, натянув цепь, медленно волокут его.

За работой я часто мысленно разговариваю с Львом Толстым. Мне раньше всегда казалось, что он, как никто, умел чувствовать и любить землю. Но став крестьянином, я понимаю что Толстой чувствовал и любил ее сверху, по-барски. Крестьянин любить земли не может. Он, если хотите, любит ее, но так, как корова любит траву, которую ест, как лошадь любит дорогу, по которой бежит. То есть, живет землей. Став сам мужиком, я хорошо теперь знаю эту человеческую особь. До чего он, мужик, глух, нем, жесток, первобытен, неблагостен и всегда хитер, как хитры окружающие его животные, и нечестен, как нечестна с ним природа. Мужик должен быть таковым, ибо таковы силы земли, иначе мужику с землей и не сжиться, и не справиться. Он с рождения знает неблагостность своей земли. Мужик всегда сумеречен, суеверен и никогда не может быть истинно религиозен, оставляя это пастухам, поэтам, бродягам.

Небо надо мной уже другое, яро-лазоревое, с ослепительно тающим солнцем. Овода и слепни облаком вьются над спинами коров. Солнце почти что отвесное. Я знаю: скоро полдень. На краю поля, зайдя головами в тень кустов, коровы мои не хотят поворачиваться. Я даю им отдохнуть. Эта гасконская глина тяжела: если нет дождя, она клёкнет, становясь камнем, если польют дожди, она разойдется месивом и пахать нельзя. Это не пензенский чернозем, который паши, когда хочешь. Здесь надо еще уметь выбрать время пахоты. Но русская революция заставила меня вздирать именно эту французскую глину, и я ее вздираю. Причём иногда даже сам себя спрашиваю: а не выиграл ли я на всероссийской революционной лотерее? Кто из нас, русских, спасся от всесокрушающей революции? Большевики, что, окружая Ленина, зачали октябрь, в большинстве расстреляны в подвалах своей же чеки. Рабочие? Те, что верили в «кто был ничем, тот станет всем», вот уже больше двадцати лет ведут рабью жизнь

египетских феллахов. Мужики, солдаты, что с войны, из окопов бросились делить землю? Революция давно их лишила земли, превратив в полунищих государственных батраков. Интеллигенты? Свободомечтатели? В революцию их погибло множество, а те, что остались, влачат тяжкую жизнь несвободы. Так что в предгорьях Гаскони моя судьба совсем не худшая. Повернув коров и перекинув плуг, я спрашиваю себя: но разве я не тоскую, что выброшен из России? И идя за коровами, с предельной искренностью отвечаю: в моей скитальческой жизни я всегда чувствовал облегчающее душу удовлетворение, что живу именно вне России. Почему? Да потому, что родина без свободы для меня не родина, а свобода без родины, хоть и очень тяжела, но всё-таки остается свободой. «Ха, Верми! Ха, Верро», – подгоняю я моих затихающих коров.

Нетерпеливо отмахиваясь хвостами и ногами от оводов, ощутив ослабленность ремней ярма, коровы сбрасывают его с голов и смешной рысью, как неумеющие бегать женщины, трусят в стойло к охапкам маиса. А я иду в свое крестьянское жилье, которое каждому художнику захотелось бы написать. Старый крестьянский дом из дикого камня; стены увиты виноградом, от купороса ярко-голубым, голубоваты даже камни, легшие фоном винограда, а виноград перерезали розовые, желтые, вытянувшиеся до крыши мальвы. У порога пунцовым огнем цветет гранатовое дерево. В этом многовековом доме прохладно в жар и сыро в зиму, греет только камин в полстены.

У нас в красном углу – икона, копия Св. Троицы Андрея Рублева, на стене дешевая автотипия: А. С. Пушкин, с портрета Тропинина. Александр Сергеевич глядит на свисающие с балок пучки укропа, связки лука, чеснока, на всё бедное убранство комнаты.

Старчески сгорбившаяся, с широкогрустными глазами, словно ставшими еще шире и темнее, мать на этой ферме больше всех беспокоится: уродится ли маис, взойдут ли арбузы и дыни, встанет ли полегшая после бури пшеница, оправится ли неладно отелившаяся корова? Она любит и этот, наверное уже последний, кусок французской земли. И здесь все ее дни, как всегда, в материнском беспокойстве за утлый корабль нашей уплывающей жизни. Иногда невзначай глянув на нее, я с большим напряжением заставляю себя представить, что это была она же там, в Пензе, в зеленой гостиной, игравшая вечерами Шопена и Моцарта, связавшая в моей памяти тот свой молодой облик с убегающими, ускользающими звуками «rondo alla turca».

Сам-шесть, мы садимся за стол, обед весь свой: овощи с огорода, хлеб своего зерна, молоко своей коровы, вино своего виноградника, яйца своих кур, всё что дали труд, земля, животные. По земляному полу комнаты ходят цыплята, утята; выгнув спину, у ножки стола вьется кот; тут же рыжая овчарка, помощница в пастьбе, и я считаю, что если мы и не в интеллигентном, то в очень приятном обществе. За обедом наши разговоры однообразны и для постороннего совершенно скучны; это всё заботы хозяйства: появившиеся на картошке дорифоры, на винограде оидиум, плохие всходы кормов, запор у теленка, базарные цены на цыплят и всякие соседские несложные сплетни и новости.

Иван Никитич

Первым косцом идет брат, вторым Иван Никитич, третьим я, а моя жена и жена брата вяжут снопы, кладут их в крестцы и от крестцов желтое поле как бы приподнимается. Так мы работаем до полдня. А в полдень, обедая в тени фигового дерева, Иван Никитич, отирая потную сморщенную, словно замшевую шею и вместо русского кваска отпивая из

бутылки «пикет», рассказывает, как смолоду служил в урядниках в Сальских степях и какие видывал там священные калмыцкие праздники. Иван Никитич донской казак, бывший атаман своей станицы, живет по соседству, на ферме, в развалинах древнего католического аббатства; земля у него неудобная, безводная, скалистая. Казаку пошел седьмой десяток и он, как перст один, ковыряется в этих скалах, а ночь напролет спит с горящей лампой, ибо как только потушит, то в развалинах, говорит, поднимается такая шамата, такая шамата, что тут же зажигает лампу и шамата тогда, со светом, исчезает.

В революцию Иван Никитич потерял трех сыновей, двух в Белой армии и одного в Красной, девочка-малолетка умерла без него, а о жене он так ничего и не знает. За годы странствований чего только Иван Никитич не перевидал: Турцию, Болгарию, Румынию, Германию, Корсику, север Франции, Гасконь, но лучше Тихого Дона для него нет страны, и он очень любит вспоминать донские степи, где гонял табуны долгогривых дончаков, где осенями с станичниками охотился на дроф, увозя битую дичь телегами, а когда ездили на рыбалку, то неводом захватывали столько рыбы, что и вытащить бывало не под силу. Иван Никитич помнит еще стародавние времена, когда казаки еще не садили картошку, помнит как земля была еще неделеная и по весне казаки выезжали всей станицей в степь и каждый сколько хотел, столько для себя и запахивал.

– Да рази французам такое снилось?! – улыбаясь в седые усы, с искренним сожалением говорит Иван Никитич, – да у нас же везде простор, поэтому наш брат тут в тесноте по заграницам-то и пропадает, иээх... – Иван Никитич глубоко и грустно вздыхает. – Вот работал я в Эльзасе, был там у нас один русский, Полем звать, то есть Павел, значит, так такой чудной был, ни с кем, бывало, слова не говорил, как есть, ни

по-русски, ни по-хранцузски, ни по-немецки; ты к нему, Поль, мол, сколько время? а он улыбнется, покажет часы и всё. Ему скажут, Поль, подай, мол, вилы, он ногой их швырнет и вся недолга. А завтракать завсегда отойдет к сторонке, сядет один и ест. И не старый, годов сорок, не боле. Говорили про него, будто гвардии-офицер был, а как приехал заграницу, будто зарок дал ничего не говорить, пока не вернется к себе в Россию. И молчит. А работать примется, за мое почтенье, только как бы немой.

Я плохо слушаю, я вспоминаю классическую толстовскую косьбу Левина с мужиками; тоже «барская была косьба», – думаю я.

– Дддддааа, – глядя в гасконское небо, лежа на траве, заложив руки за голову, вздыхает Иван Никитич, – сызмальства привычный я к степи, у нас осенями дрофы кады по-над степью летят, ну, верьте, хмарой небо застят и шум такой, что твои еропланы...

Брат кончил отбивать косу, поднялся; встали и мы с Иваном Никитичем, заходим за край поля и снова в этот зной идем друг за дружкой с общим звенящим шуршаньем кос. Пот выступает на лбу, на скулах, стекает по лицу, солит губы, а в ушах стоит протяжный звон не то миллионного комариного пенья, не то это кровь звенит в ушах. Я стараюсь идти вровень с Иваном Никитичем, а у казака-старика силищи! И мне радостно от мерного взмаха кос, от здоровой усталости мышц, оттого, что с крутосклона рябит ушедшая цветная даль, оттого, что наша пшеница уродилась и мы, кажется, на ней заработаем.

На закате мы уходим с поля усталые. С возвышенности пестрят те же лоскутные одеяла полей, виноградников, лесов, дороги, обсаженные платанами. У тенистой реки тонет очертание древнего замка тамплиеров, он повис над обмелевшей рекой; в нем живут три семьи мужиков-итальянцев, ничего,

конечно, не смыслящих в музыкальной строгости пропорций строения, в летящей красоте замковых лестниц и галерей, в чем кто-то из строивших его тамплиеров понимал толк. Зато крепкие богатеи знают толк в откорме свиней, в отпое телят; денным и нощным трудом, сметкой, хищностью, ловкостью богатеют эти крестьяне и дай им Бог здоровья, хоть они и загадили видавшие виды, великолепные залы тамплиерского замка, а часть замковых стен даже развалили, сделав из камня совершенно замечательные свинарники.

– Вот живал я и в Париже, чтоб его намочило, – идя рядом со мной говорит Иван Никитич, – а нет, никак не выжил, камни одни и выйтить некуда. Я уж там, бывало, слободной минутой в Булонский лес ездил, только чтоб подошвами по земле походить.

Я молчу, я устал, в голове занозой сидит глупейшая стихотворная строка «так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук», и я никак ее не могу из себя вытащить.

– Вот вижу я вчерась сон, – продолжает, тихо идя, Иван Никитич, – будто как я посреди своей семьи, всё дети мои и будто они собираются обедать, да только толкутся, толкутся, а ничего у них не выходит. Я смотрю, смотрю, да и говорю им: «Да што ж вы? Сначала надо умыться, Богу помолиться, а потом уж об обеде думать, обед собирать». Ну, они меня как-вроде послушались, стали мы все на колени и начали «Отче наш» читать. Стою это я на коленках, обернулся назад, смотрю, мама моя стоит, а до этого ее тут не было. Стоит она в сереньком таком платьице своем и как у нее голова часто болела, платочком таким повязана. Я это говорю ей: «Да откелева ж вы, мамаша?». А она мне ничего не сказала, а я это упал перед ней, цалую ей руки и говорю: «Мама, да не могу я так больше жить!». И почему я ей так сказал, сам не знаю, вроде это как дети што ль меня не слушаются, а только она

положила мне руку на голову, да и говорит: «Нет, Ваня, ты еще можешь...».

Я молчу. Я, конечно, знаю, что даже на этой гасконской земле Ивану Никитичу легче, чем на парижском асфальте, но и здесь, разумеется, казаку не прижиться, он дерево непересадочное, оттого и тоскует. Есть пословица: без корня и полынь не растет. С тоненьким звоном кос, задевающих за ветви вязов, мы по лесной дороге подходим уже к ферме. Иван Никитич вздохнул, что-то пробормотал и начинает старческим дрожащим тенорком напевать:

«Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржёт, кого-то ждет».

– А на прошлой неделе вот опять сон снился и опять не знай к чему, – вдруг говорит Иван Никитич, – вижу будто вместо нашей станицы вроде как какие-то цементные домики понастроены, квадратные такие, без окон, без дверей, и вижу жену с сыном и хочу их догнать, а они всё уходят, а я им кричу: «Да, куда ж вы! Постойте! Марья!». А она не отвечает, идет. Потом дошла до одного такого цементного домика, а там как вроде дверь какая открылась, она с порога повернулась ко мне, махнула рукой, вроде как «не надо, мол, мне тебя», и взошла туда; подбегаю я к этому самому домику, а никакой двери найтить не могу».

Гарабос

Страдная пора здесь не жатва, а молотьба, когда по фермам ездит молотилка и соседи сходятся друг к другу на помочь. Гасконцы, веселый, солнечный народ, хохотуны, хвастуны, безалаберники, но всегда себе на уме. С соседями я хорош, хоть и замечаю, что эти кондовые потомственные мужики относятся ко мне чуть-чуть свысока, с еле замечае-

мой усмешкой. Это потому, что я человек не их круга, а себе равноценными все люди признают только людей своего круга. Так светские люди относятся к «parvenu», так же стадо рабочих коров относится к замешавшейся в нем молочной корове. Это вполне естественное, зоологическое чувство.

Из крестьян я сошелся ближе всего с Гарабосом. Может быть оттого, что он странноват. Над старым бобылем подсмеиваются соседи. Мне же он нравится из-за моей любви к хорошей породе. А Гарабос – столбовой гасконец, оставшийся здесь, как невыкорчевывающийся виноградный корень даже после того, как всю округу залили итальянцы. Лицо у него будто сшито из кусков коричневой замши, до того закоржавело складками, морщинами. Губы украшены грязными седыми усами, изо рта торчит единственный черный клык, а слезящиеся зеленые глазки всегда издевательски смеются; основной же чертой характера семидесятишестилетнего гасконца остается, конечно, веселость.

В закопченное жилье Гарабоса страшно войти, тут круглый год то тлеет, то пылает камин. Жена давно умерла, сыновья ушли в город. В ветхой разваливающейся усадьбе старик один. В часы отдыха, бросив в камин бревешко, он дремлет у огня, радуясь пламени, согревающему старческое тело; у огня лежит и его голодная коричневая сука.

На этой виноградно-пшеничной земле Гарабос родился и прожил жизнь, как прожили ее здесь прадеды и пращуры. Гарабос дремлет от выпитого вина, от теплоты огня, от старости. Жизнь в старике сделала полный круг и вот уже застывает; он скоро умрет и смерть его, может быть, никто даже и не увидит, кроме его худой голодной собаки.

В свежие утренники с усадьбы Гарабоса видны вечные Пиренеи, по ним старик предугадывает погоду, иногда дребезжаще поет с детства заученную песню: «Les montagnes des Pyrénées, vous êtes mon amour». Старик – философ. Ему всё

ясно. Как-то я заговорил о войне 1914 года, но он не поддержал разговора. «Это северным округам надо было воевать, – сказал старик, – а нам здесь воевать не с кем!». И это искренне, это то же крестьянское чувство враждебности к государству: «мы тульские, до нас не дойдут». Да другое представление было бы и противоестественно, ибо весь мир Гарабоса здесь, на восьми гектарах пшеницы и виноградника, с которых он никуда не сходит. Только раз, ребенком, отец возил его на ярмарку в окружной город и это единственное путешествие до сих пор старик вспоминает, как лежащее в бесконечности. Остальные его передвижения коротки и однообразны: отвести корову к соседскому быку, сходить на помочь, занять у соседей для клушки яиц, взять винную бочку. И лишь в субботу, с раннего утра, когда на ферму глядят далекие, за ночь словно отмытые, светящиеся Пиренеи, Гарабос собирается в самое большое путешествие. Он надевает тогда черную, гасконскую рубаху навыпуск, оставшуюся еще от времен, когда торговал скотом; маклаческая рубаха сразу же скрывает нечистоплотность костюма старика; шляпу он сменяет на широкий черный берет и, посасывая самодельную старую трубку тихо спускается на еженедельный базар ближайшего городка. Тут, на скотьем базаре, старик прицеҫнится к бычкам, которые, как фарфоровые, привязаны пестрым рядом; узнает цены на яйца, на кур; с своими сверстниками, такими же стариками, посасывающими такие же трубки, он нашутится остротами и поговорками, какими они острят вот уж шестьдесят лет; и если кто-нибудь угостит, то старик выпьет рюмку анисовой водки. А когда начнется разъезд, Гарабос той же тропкой поднимется домой, на гору, на ферму, чтоб на рассвете на паре белых волов, с черными, словно обугленными глазницами и такими же черными метелками хвостов, выехать пахать свое поле, на котором он

знает каждую ложбинку, ибо старым ручным плугом пашет его больше шестидесяти лет.

Раз, после базара, я помогал старику резать виноград. День стоял сентябрьский, виноградник был уже в утомленной желто-лазурно-красной листве. Вдруг, перестав резать и вынув изо рта стертую трубку, Гарабос сплюнул и, серьезно глядя на меня, проговорил:

– Ты знаешь, это только дураки ведь думают, что там, – он указал старым, закорузлым пальцем на нежно-осеннее небо, – ничего нет. А кто ж тогда этим всем управляет, а? – и, подмигнув слезящимися глазками, старик рассмеялся с хрипотцой.

Мы продолжали резать матово-чугунные, черные, переспелые гроздья, от сладкого сока которых слипались пальцы. Мне всегда трудно было распознать отношения Гарабоса с Богом, но сейчас я убедился, что эти отношения существуют, хотя они понятны, вероятно, только им двоим. Этот гасконский вольтерьянец всегда подсмеивался над аббатами, церковью, над Богом, но сегодня, в осеннем винограднике, его должно быть что-то волновало. Вскоре он опять заговорил, рассказывая, что ночью в прошлую пятницу у вдовы, соседки увидал в середине виноградника какое-то сияние, на следующую ночь опять, в воскресенье ночью то же самое, тогда он пошел к ней посоветовать, чтоб отслужила по мужу панихиду; и действительно, после панихиды ночное сияние в винограднике исчезло.

– Что же это такое было? – продолжая резать переспелые гроздья, спрашиваю я.

– Не знаю, что было, а вот было, – и зеленые глазки старика смеются, при этом он щелкает губами и произносит любимое «хок-йок!».

Трудно распознать душу этого старого гасконца.

Философия хлеба, постели, могилы у Гарабоса по-крестьянски жестока и ясна. Когда умер восьмидесятилетний сосед и я сказал об этом Гарабосу, он снял соломенную шляпу, неожиданно обнажив совершенно круглый безволосый череп, и произнес с сожалением: «Жаль». Потом, помолчав, добавил: «Ну, пахать-то он уж не мог, а вот мотыжить мог еще». Я понял чувство и мысль старика, что каждому нужно свое отпахать, отмотыжить, а потом идти в землю. Зато живя здесь, на земле, старик, как истый галл, страшно любит всякие плотские радости: красное вино, жирный кусок баранины, пахнущий овчиной сыр. После еды Гарабос желтым пальцем набивает обсосанную трубку горлодерущим табаком; а за едой он неизменно, со всей соленой откровенностью, балагурит о женской любви и сам первый заливисто хохочет, сотрясая высохшее, костлявое тело.

В склонах Гаскони Гарабос произрастает, как старый корень, дожидающийся естественного умирания.

Молотьба

На молотьбе всё ведется по исстари заведенным правилам: и угощенье, и работа. Подняв соломотряс к голубому небу, машина нетерпеливо ждет рабочих; засаленные машинисты отрывистыми свистками созывают их. В спадающих с костлявой поясницы, заплатанных широкими латками портках, с свисшими седогрязными усами, но тщательно выбритый, с вилами на плече Гарабос идет к нам на молотьбу первым. На помочи старик, конечно, уж только ловчится, приходя, чтоб задарма поесть кур, мяса, сыру, попить вина, кофе, арманьяку, потолковать, посудачить. Он издали уж кричит какие-то «патуасские» остроты, это значит, что от предвкушаемого пиршества старик в хорошем расположеньи духа.

За стариком сходятся человек двадцать соседей, французов, итальянцев; в гасконской рубахе, в соломенной шляпе пришел и Иван Никитич. Кругом смех, остроты, у южан сильно развита шишка жизнерадостности. Но вот паровичок застучал, все по местам и за шумом машины уже еле слышны выкрики голосов, а скирд начал мерно таять под вилами залезших на него мужиков, споро кидающих тяжелые снопы в подрагивающую пасть машины.

Дубовые столы уж приготовлены, накрыты скатертями, на них встали пузатые пятилитровые бутылки с красным и белым вином. Гасконцы идолопоклонники хорошей кухни. Окончив молотьбу и перетаскав к амбару мешки, соседи в очередь моют у ведра руки и с веселым говором садятся за столы. Церемония началась, как надо. Закуской подаются сардинки; за ними национальный наполеоновский суп с вермишелью, доев который каждый обязательно наливает в тарелку вина и, вкусно сполоснув, спивает. А хозяйки несут уже жирный кусок вареной говядины, ее каждый вдосталь запивает красным вином, уже из стакана; за мясом салат, за салатом разварные куры, за разварными жареные, золотистые; и как только жареные куры приносятся на стол, происходит всегдашний отказ гостей от чести их разнимать. Это – дело и честь старейшего. Золотая курица плывет вокруг дубовых столов от отказывающегося к отказывающемуся пока, наконец, не дойдет до Гарабоса. Старик, смеясь, и всегда с одними и теми же прибаутками крепкого полового свойства, не спеша, берет свой сработанный, но острейший нож и ловко начинает разнимать тело птицы. На его искусство глядят молодые, отпуская такие же остроты, сопровождаемые дружным хохотом здоровых, уже наедающихся тел. Солнце юга, его блеск, вино, мясо, чеснок, кофе – все тут землянее, кровянее, чувственней, чем у нас, северян. За дубовыми столами от простоты плотского веселья, от крепкоядения стоит всё уси-

ливающийся гомон голосов. Эти пиршества молотьбы мне всегда напоминают старые полотна Босха и Брейгеля. Полокоть засученные мозолистые руки, крепкие челюсти, проголодавшиеся желудки, ничем не сдерживаемый хохот, грубость острот, звуки еды, крики, икота. Даже пришедшие с хозяевами собаки, подхватывающие оброненные со столов куски, и те вкусно пахнут «Деревенским праздником» знаменитого фламандца. Подвыпившие и наевшиеся кидаются друг в друга хлебными шариками, сливовыми косточками, ударяют разговаривающих соседей головой об голову. Под общий хохот на лугу, у столов, парни повалили здоровенного малого и, стащив с него штаны, ищут со смехом, есть ли у него то, что бывает у всех. Крестьянское веселье несложно, это детское веселье. Может, оно и тяжеловато, но, в сущности, не всё ли равно, как веселятся люди, главное, чтоб веселились, а остальное – воздух, климат, кровь, нация, класс.

Наконец подается кофе, арманьяк, печенье, фрукты, сыр и на блюдах табак с папиросной бумагой для заверток. Этим должен заканчиваться каждый праздничный обед на молотьбе. Это всё обязательно. И после этого наполнение желудков окончено.

На поля, на луга, виноградники ниспадает тихая оливковая сумеречность. Вся помочь, покачиваясь, расходится по домам, чтоб назавтра так же собраться за столами у соседа. Я чувствую, что устал от работы, вина, мяса, арманьяка, кофе. У сарая сложены дышащие хлебным теплом мешки с пшеницей: годовой пот и труд. Вокруг дома пахнет хлебом и пролитым вином. На шоссе крякает спешащий автомобиль. В небе вызвездились первые звезды, они словно нетверды, вот-вот звездопадом просыпятся вниз. Звеня стаканами, тарелками, жена и мать убирают со столов, похожих на поле после побоища. И мягко из-за холма, как громадный искусственный лимон, выходит луна и заливает всё своим бледным све-

том, в котором резко заострился выросший после молотьбы омет соломы.

Вино лишает меня чувства действительности, мне всё кажется, что это и не молотьба, и не я, но какое-то театральное представление, освещенное громадной электрической луной-лампой.

Смерть матери

Выросшие до крыши розовые, белые, желтые мальвы обступили наш дом. Увивший стену виноград цвел, испуская сладкий запах, будто кто-то пролил у крыльца душистое вино. В переднем углу комнаты, под темным образом Христа мать лежала в гробу маленькая, пожелтевшая, с странно молодым лицом.

Сквозь окно виднелась качающаяся в ветре айва, желтеющая пшеница и высокое ровное небо. Перед смертью сознание матери не выдерживало напирающего хаоса пережитого. В жизнь на бедной гасконской ферме врывалось далекое, русское, война, революция. И с широко раскрытыми глазами мать произносила жуткую путаницу. Но потом, словно борясь с ринувшимся в сознание хаосом, она с отчаянием выговаривала: «Господи, да как же всё это было? Ведь я же путаю...». Я помогал ей выправить мысль. Закрывшись желтоватой, когда-то необычайно красивой рукой, она лежала детская. Взглядом страдающих глаз глядела на нас, своих детей, словно прося простить за причиняемое болезнью страдание. А когда ей становилось легче, пыталась расспрашивать о хозяйстве, сенокосе, о саде; сказала: «сливы в этом году много, если, Бог даст, встану, наварю вам варенья». Но вскоре с взглядом напряженно-ищущим, испуганно-безумным, стараясь приподняться на слабых руках, она тревожно произнесла: «А, знаешь, в этом году большевики, пожалуй, придут... в прошлом не пришли, а в этом придут...». Я понял, что это

вспыхнувшая жуть ожидания большевиков в Киеве, двадцать лет тому назад. Внезапно замолчав, мать откинулась на подушку и вскоре заснула. К ночи она страдающе проговорила: «Как это страшно, что человек так близок к безумью... один шаг и начинается безумье...». Я успокаивал ее.

Над домом теплое небо расписалось созвездиями, плыла ночь, ни ветра, ни собачьего лая, будто всё к чему-то прислушивается и вдруг от шороха и шепотов матери я вскочил, но я еще не понимал, что это *пришла смерть,* что сейчас начнется единственно-страшное человеку: телесные страдания перед уходом с земли. Верующая, всю свою жизнь она не боялась смерти, но всегда болезненно страшилась возможности телесного уродства и наступало именно это: мать лишалась души, речи, сознания.

Рассветало медленно и безжалостно. Сквозь окно качалась та же айва, пели те же птицы, желтели те же пшеничные склоны. Полупарализованной рукой мать показывала мне на ногу и на голову, объясняя этим, что понимает происшедшее с нею: от закупорки вены в ноге – закупорка в мозгу и полупаралич. Хлопоча у ее постели, я вспоминал, как двадцать пять лет назад, закаменев в своем горе, мать вот так же в Пензе хлопотала возле умирающего отца, и мне казалось, *что времени нет,* что это было вчера и вот ее самое теперь уж не отнять, не вырвать, расставание настает, надо прощаться.

Мать пытается перекреститься на темный лик Христа, но рука непослушна. Я беру эту бессильную руку с пальцами сжатыми крестным знамением и помогаю поднести ко лбу, груди, плечам. И вдруг, глядя на меня, мать тихо заплакала. Это были те большие, запрокинутые в вечность мгновенья, что переживаются только, когда смерть подходит вплотную и своим током, веянием крыл обдает до дрожи. Мать пытается говорить, но всё, что произносит, это уже не речь, а отчаянный поток человеческих звуков, и в нем различимо только

«Господи... Боже мой...». Словно она молится Богу и видя, что мы ее уже не можем понять, просит Бога, кричит к Нему, чтоб он помог ей досказать что-то самое главное, самое нужное, самое последнее, но у нее нет сил это выговорить.

Рассвело. За окном пели птицы. Остановив на мне потухающие глаза, мать неожиданно произнесла: «Умру». Это было последнее. Силы, уводящие ее из жизни, брали верх. Мы сидели в тишине, нам показалось, она может быть заснет, но, полуоткрыв глаза, она вдруг, с трудом приподняв еще непарализованную руку, сделала ею в направлении нас движение, словно прощалась с нами уже оттуда, с полпути, уходя навсегда.

Вздрагивая и стоная, она лежала в бессознании. Силы смерти уже несли ее всё стремительней по страшному переходу из жизни в нежизнь. Вокруг – полевая тишина, трепет деревьев, долетают понукания пахарей. И нет для смерти окружения лучше, чем цветущая земля. В этой полевой певучей тишине и провожать и умирать легче, тут земля нестрашна, с землей слипся, сжился.

Так же, как в отрочестве, в Пензе, когда умирал отец, в нашем доме стала жить смерть, и от ее присутствия лица всех стали иными, все заговорили шепотом, заходили тише, жизнь пошла оторванно от быта, смерть словно говорила: «смотрите, как всё это ни к чему и как всё это просто, вот я пришла и беру, и очень скоро возьму вас всех».

Боролась со смертью только земля, не позволяя себя забыть. С запада набежали фиолетовые дождевые тучи, сильно понес влажный ветер: будет дождь, надо свозить сено; корова пришла в охоту, ее надо вести к соседскому быку. И подчиняясь земле, мы работали и возвращались к лежавшей без сознания, умиравшей матери.

У матери закрыты глаза, в тишине она дышит всё чаще. Мы стоим у ее постели, сквозь окно я вижу, как в ветвях дере-

вьев прыгают и перекликаются маленькие оранжевогрудые птицы. Мать дышит, словно торопясь. Мать умирает, и в свои сорок лет я ощущаю, что остаюсь потерянным, словно соединявшая меня с миром пуповина будет сейчас перерезана. Вот мать глубоко переводит дыхание. И вдруг всё стихло. Это останавливается сердце. Бившееся шестьдесят пять лет, оно биться кончает, еще мгновенье и оно остановится. Остановилось? Нет еще. В тишину с пашни ворвался чей-то непонятный далекий крик. И еще один глубокий, всей грудью, вздох матери. И снова захлебывающееся, учащенное дыхание и опять одинокий длительный вздох будто сладко просыпающегося человека. За ним из этого мира – в иной мир страшная, влекущая тишина. Вот – запоздалый, всеотпускающий последний вздох и наступает совершенная тишина. В этом мире уже нет ее дыхания... Мать умерла...

Есть в уничтожении много страдания, но есть и необъяснимое, радостное. Вот ушла мать, и с страданием смешалась непонятная, противувольная, неопределимая, невозможная для высказывания радость. Что это? Радость возвращения? Радость покоя? Того, что зовется вечным упокоением? «Жизнь бесконечная»?

Из своего источника мы принесли воды, обмыли давшее нам жизнь маленькое тело, одели и уложили мать на прибранную постель, потом срезали незатейливые цветы, положили у тела и в сумраке прикрытых ставень в комнате настала пустота горя и тишина без дыхания.

Сосед привез гроб из свежих досок. Мы бережно переложили мать в него, на свое только что скошенное свежее сено; и сухонькая, она, чья жизнь сложилась трудным женским подвигом, легла, скрестив восковые руки.

Русский священник служит панихиду. Отрываясь от кадила, ладанный дым летит, своим запахом вызывая воспоминания детства в России; дым улетает в раскрытое окно. С свечой

в плоской руке, немигающе уставясь в пространство, стоит Иван Никитич, что-то шепчет, перебирая синими губами. Батюшка служит за священника, за дьякона и сам поет за хор, но чин православного отпевания так умиротворяюще прекрасен и глубинной мудростью смысла и радостно-страдающими напевами, что даже служба одинокого священника снимает животную боль, соблазны, лукавства, искушения, давая душе благость успокоения.

На рассвете сосед-итальянец, одевшийся в праздничный темный костюм, подводит к дому двуколку, запряженную красными молодыми коровами в белых попонах и пестрых занавесках на мордах. Он управляет ими движением вишневой трости. Это здешний обычай: покойника на кладбище везут соседи; и мы подчиняемся ему.

В скуфье, с серебряным крестом в руке, в черной метущей дорогу рясе, за двуколкой пошел русский священник, я, брат, наши жены и Иван Никитич. С возвышенности бесконечен вид лугов, полей, виноградников. Встречные крестьяне, снимая шляпы и береты, пропускают горькое сельское шествие, с любопытством глядя на шагающего вразвалку русского священника. Я вспоминаю пышные похороны отца с громогласием дьяконов, с священниками в парчевых ризах, с звучным хором, чужими и своими рысаками, извозчиками, роскошным катафалком, изобилием живых цветов, искусственных венков, и бедные крестьянские похороны матери, на сене, с немногими полевыми цветами, кажутся и легче и правильнее.

Кладбище заросло акацией, бузиной, сиренью, будто русское уездное кладбище. В ряду крестов – открытая яма, из нее тянет сырой холодок. Мы ставим гроб над ямой на два горбыля, под ними веревка. Француз-могильщик с любопытством рассматривает русского священника с длинными волосами и удивленно слушает непонятную службу. В груди

пустота и остро прорезывающее чувство бездомности. Сейчас тело матери уйдет в эту гасконскую землю. Как часто в предчувствии смерти мать говорила, что хотела бы умереть в России, где похоронен муж, дети, отец, мать, все родные. «Надгробное рыдание!». И, снижаясь, гроб опускается в могилу. На крышку упали комья глины. Я и брат закапываем мать, а над нами поют какие-то кладбищенские птицы, им хорошо, их тут никто не спугивает.

Наплывают свежие кучевые облака, сквозь солнце начинает сечь теплый, слепой, крупнокапельный дождик. Полями, мы молча возвращаемся на ферму, к дому, где крыша под одно прикрыла комнаты, сарай, коровник; только одно окно призакрыто ставнями, это комната матери, ставшая без нее странно пустой.

Я, торопясь, запрягаю коров, ехать свозить оставшееся в копнах сено.

– Иван Никитич! – кричит батюшка, – лезьте на телегу, а я подавать стану! – В широкополой шляпе, в русской белой рубашке, в штанах, подхваченных ремнем, он сильным размахом мечет сено. Казак еле успевает подхватывать. – Вот оно как по-сибирски-то! – улыбается русский батюшка, светлолицый, косая сажень в плечах.

Он – сибиряк, сын протоиерея, юрист, военный, эмигрант, фабричный рабочий и наконец, православный священник на юге Франции, подвижнически путешествующий и в зной, и в дождь, и в невылазную грязь по русским фермам Жиронды и Гаскони, везде служа, крестя детей, венчая молодых, исповедуя старых, соборуя больных, отпевая умерших.

С луга мы поднимаемся на изволок за поскрипывающим, покачивающимся возом.

– Где только я не побывал за этот год, – говорит священник, – недавно казакам служил всенощную прямо в лесу, да как хорошо было, составился хор, чудно пели, а погода была такая тихая, что в лесу со свечами стояли.

С подъема он оглядывается на пестреющую окрестность.

– Очень красиво, – говорит, – только нашей-то Сибири, конечно, не ровня. По сравнению с нашими-то просторами, это всё игрушки. Бывало, плывешь по Енисею домой из университета, что за красотища! С парохода, балуясь, кричим: «Хозяин дома?!». А эхо на весь Енисей несет: «Домааа!». И батюшка мягко улыбается воспоминанию. «А зимой, когда на лошадях ехали, – снега, просторы дикие. Везешь, бывало, с собой обязательный кулек замороженных щей... Да, наша сибирская-то мощь европейцам и во сне не приснится». – И вдруг батюшка смолкает, словно поняв, что Сибирь очень далека и не стоит бередить себя воспоминаниями.

На утро он торопится уйти еще до раскаленного жара. Высоченный, широкоплечий, в черной шляпе, с клеенчатым чемоданчиком, в котором уложены ряса, крест, скуфья, свечи, кадило, батюшка идет к другим русским людям на фермах Гаскони.

А я выезжаю пахать.

Так я и живу в Гаскони и только иногда, во сне, хожу в Россию. Недавно видел себя мальчиком, будто я и старый сельский учитель Непогодкин идем на охоте по болотным Лапотковым лугам. Я в высоких сапогах, они мне велики, я хлюпаю ими по болотцу, но вдруг всем телом вздрагиваю от внезапно фыркнувшего взлета чирков. Я сразу просыпаюсь: это трещит будильник, я в гасконской хате, с постели вижу, что земляной пол выкрошился, его надо набить; я – здешний мужик, это моя настоящая, не выдуманная жизнь и надо вставать задавать корм коровам.

Накинув пиджак, подрагивая от прохлады рассветающей ночи, в одних подштанниках, я иду в коровник. Заслышав меня, лежащие коровы с тяжелым крехтом поднимаются на колени, встают, от них пахнет приятным молочным теплом.

В полутемноте правая ловит шершавым длинным языком полу моего пиджака и жует ее. Я похлопываю старую умную корову по тяжелому свислому подгрудку и тихо разговариваю с ней на коровье-гасконском языке; потом я задаю им сена. И вдруг опять это ощущение нежно-изливающейся теплоты. Оно до того телесно ощутимо, что я даже приостанавливаюсь: «что это!?». И тут же отвечаю: «ах, это мама, опять». Я чувствую, будто она не исчезла, а где-то вот здесь, за моим плечом, *только совсем в иной жизни.* И наполненный этим мягко-согревающим внутренним светом, я ухожу из коровника.

После завтрака я выхожу на последний укос люцерны. Я работаю бездумно, но в это утро мне особенно хорошо: я люблю всё: и свою рыжую собаку «Моську», легшую неподалеку от меня, и сработанную ладную косу, под которой ровными рядами ложится трава, и щетку соседского мокрого жнива, и своих коров, и вспаханную дышащую землю, и свои начисто вымытые винные бочки, и деревья сада, согнувшиеся под урожаем яблоков, и высокое небо, и весь этот резкий воздух, которым я дышу и не надышусь.

Конечно, пословица верна, что мила та сторона, где пупок резан, и я, конечно, хотел бы сменить разлапые фиговые деревья на играющую под ветром березу, а южное опаловое небо на наши тяжелые ветхозаветные облака. Но во мне есть и другое русское чувство, по которому вся земля – наша, вся Божья. И с моих пяти десятин в это утро я радостно встречаю и благодарю весь мир, за косьбой вспоминая изумительную молитву сеятеля: «Боже, устрой и умножь, и возрасти на долю всякого человека, трудящегося и гладного, мимоидущего и посягающего...».

Конец второго тома

Содержание

Роман Борисович Гуль

Я унес Россию

Том II. Россия во Франции

Ответственный редактор *А. Иванова*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru